

Игорь Голомшток

«ЗАНЯТИЕ ДЛЯ СТАРОГО ГОРОДОВОГО»

МЕМУАРЫ • XXI ВЕК

Игорь
Голомшток
«Занятие
для старого
городового»

Мемуары пессимиста

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Игорь Голомшток

..... МЕМУАРЫ • XXI ВЕК

МЕМУАРЫ • XXI ВЕК •.....

**Игорь
Голомшток**

**Занятие
для старого
городового**

Мемуары пессимиста



Москва
АСТ

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г61

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

В книге использованы фотографии из личного архива ИГОРЯ ГОЛОМШТОКА, работы БОРИСА БИРГЕРА из личного архива НАТАЛИИ БИРГЕР, а также фотографии ИГОРЯ ПАЛЬМИНА и НИНЫ АЛОВЕРТ

Автор и издательство благодарят за предоставленные фотографии, а также за помощь при уточнении дат и фактов Ю.ВИШНЕВСКУЮ, В. ГОЛОМШТОКА, М. ПЛАВИНСКОГО, Л. БАЖАНОВА, А. АЛЕКОВСКОГО, О. ЗИНОВЬЕВУ, М. РОЗАНОВУ-СИНЯВСКУЮ

Голомшток, Игорь Наумович.

Г61 Занятие для старого городского : мемуары пессимиста / Игорь Голомшток. — Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. — 346 [6] с. : ил. — (Мемуары — XXI век).

ISBN 978-5-17-087111-7

«Мемуары пессимиста» – яркие, точные, провокативные размышления-воспоминания о жизни в Советском Союзе и в эмиграции, о людях и странах – написаны известным советским и английским искусствоведам, автором многих книг по истории искусства Игорем Голомштоком. В 1972-м он эмигрировал в Великобританию. Долгое время работал на Би-би-си и «Радио Свобода», преподавал в университетах Сент-Эндрюса, Эссекса, Оксфорда. Живет в Лондоне.

Синявский и Даниэль, Довлатов и Твардовский, Высоцкий и Галич, о. Александр Мень, Н.Я. Мандельштам, И.Г. Эренбург; диссиденты и эмигранты, художники и писатели, интеллектуалы и меценаты – «персонажи стучатся у меня в голову, требуют выпустить их на бумагу. Что с ними делать? Сидите смирно! Не толкайтесь! Выходите по одному».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-087111-7

- © Голомшток И.Н.
- © Бондаренко А.Л.
- © Биргер Н., репродуцирование картин Б.Г. Биргера
- © Фото Нины Аловерт
- © ООО «Издательство АСТ»

Оглавление

<i>Точка отсчета</i>	11
----------------------------	----

Часть первая

Россия

Глава 1. Арест отца (1934)	17
Глава 2. Колыма (1939–1943)	22
Глава 3. Москва (1943–1955)	34
Глава 4. Финансы и романсы (1940–1950-е).....	44
Глава 5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (1955–1963)	66
Глава 6. Всемирный фестиваль (1957) и художники	75
Глава 7. Синявские, Хлебный переулок, Север	88
Глава 8. Пляски вокруг Пикассо.....	98
Глава 9. Снова музей.....	110
Глава 10. ВНИИТЭ.....	117
Глава 11. Большие ожидания	125
Глава 12. Процесс Синявского и Даниэля и его последствия.....	133
Глава 13. Диссиденты	149
Глава 14. Штрихи к портретам	159
Глава 15. Спор о вере.....	184
Глава 16. Перед эмиграцией	190
Глава 17. Отъезд. Скачки с препятствиями	199

Часть вторая
Эмиграция

Глава 1. Лондон.....	213
Глава 2. Добрая старая Англия	221
Глава 3. Дела московские	228
Глава 4. Журнал «Континент».....	237
Глава 5. Мои университеты.....	245
Глава 6. Дело Энтони Бланта	256
Глава 7. “Радио Свобода”. Галич	260
Глава 8. Би-би-си	270
Глава 9. Америка.....	275
Глава 10. Встречи (штрихи к портретам).....	287
Глава 11. Второй процесс над Синявским.....	297
Глава 12. Политика против эстетики.....	314
Глава 14. Вопросы языка	323
Глава 15. Андрей Синявский. Последние годы	331
Глава 16. Перестройка.....	335
Глава 17. Дела семейные	341
<i>Вместо заключения. О пользе пессимизма.....</i>	<i>347</i>

*Вениамину Голомштоку
Флоре Гольдштейн
Юлии Вишневской*

Для тех, кто мыслит, мир — это комедия,
кто чувствует — трагедия.

ГОРАЦИО УОЛПОЛ

Разница между пессимистом и оптимистом.

Пессимист (*уныло*): “Умирать пора”.

Оптимист (*радостно*): “Давно пора!”

Точка отсчета

По безнадежности все попытки воскресить прошлое
похожи на старание постичь смысл жизни.

Иосиф Бродский

“Занятие для старого городского”, — говорила моя бабушка, имея в виду, конечно, не сочинение мемуаров, но попадая в точку. Сейчас, когда мне перевалило за восемьдесят, делать в этом изменившемся за последние двадцать лет мире мне особенно нечего, кроме как перебирать крупу своей памяти, отделяя крупичицы того, что может представлять интерес — для кого? для читателей, потомства, историков? — от имеющего значение только для меня самого, и, сидя за столом, заносить на бумагу тени прожитых лет, чем и занимаются многие мои сверстники, склонные, как и я, к бумагомаранию.

Я плохо помню свою биографию. Память нуждается в стабильности жизни, она привязана к месту, а у меня эти качества всегда были в дефиците. Так, в годы начального обучения мне пришлось сменить десять или одиннадцать школ: Калинин, Москва, Перловка, Малаховка, Расторгуево, еще что-то, потом Стан Хаттынах, Ягодное, Магадан, опять Москва... И далее — эмиграция: Лондон, Оксфорд, Сент-Эндрюс (Шотландия), Мюнхен, Париж, Калифорния, Кембридж (Массачусетс), Амстердам и многое другое. Неудивительно, что при таком жизненном калейдоскопе в памяти сохраняются только фрагменты, обрывки, кусочки прожитого. Отчасти поэтому я давно зарекся писать воспоминания. И не только поэтому.

В воспоминаниях Бродского прошлое — это процесс становления самосознания, формирования личности — его собственной и людей его поколения. Адекватно воскресить такой процесс трудно, если вообще возможно. Бродскому, впрочем, это удалось. Моя задача скромнее.

Мне повезло. В своей жизни я был знаком с рядом известных, во многих отношениях выдающихся людей, а также со многими не столь известными, но тоже яркими, неординарными личностями: А.Д. Синявский и М.В. Розанова, Ю.М. Даниэль и Л.И. Богораз, А.С. Есенин-Вольпин, А.М. Пятигорский, Р.Б. Климов, Ю.М. Овсянников, М.М. Этлис, Г.П. Щедровицкий, Г.Д. Костаки, А.А. Галич, В.Е. Максимов, В.Н. Войнович, А.М. Волконский, Б.П. Свешников, А.Т. Зверев, В.И. Яковлев, О.А. Кудряшов, Б.Г. Биргер... Со многими дружил. С другими общался, и каждый оставил свой след в моей жизни. О них-то я и хотел бы написать в первую очередь, хотя для этого надо обладать литературным талантом, превосходящим мои скромные способности.

Что же касается собственной моей личности, то тут мне представляется важным показать свое отношение к стране, в которой я жил, с ее политическим режимом, который, как мне представляется и сейчас, модифицируясь с ходом истории, принимая всё новые обозначения, сохранил свою первоначальную основу. Мое негативное отношение к этому режиму определилось очень рано в силу ряда обстоятельств, из коих три я принимаю за точки отсчета для формирования моего мировоззрения: арест в 1934 году отца, четырехлетнее (с 1939-го по 1943 год) пребывание на Колыме и процесс Синявского — Даниэля (1966 год).

С Синявскими меня связывала многолетняя дружба. Мы вместе путешествовали по русскому Северу, с Андреем написали небольшую книгу о творчестве Пикассо (она была издана в 1960 году). Для меня арест Синявского не был неожиданностью. Я знал, что он пишет и печатает свои литературные труды за границей под псевдонимом Абрам Терц, и несколько лет мы ждали неизбежной развязки этой истории. Синявского аресто-

вали в сентябре 1965 года. Потом начались допросы и обыски у меня дома и на работе. На процесс Синявского и Даниэля в феврале 1966 года меня привлекли в качестве свидетеля, и в результате было вынесено частное определение о привлечении меня к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. В мае этого же года меня судили и приговорили к полугоду принудительных работ. Меня отстранили от преподавания в МГУ, уволили с работы из Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, где я работал старшим научным сотрудником, набор моей большой книги о современном западном искусстве в издательстве “Искусство” был рассыпан, возможности работать, преподавать, печататься были отрезаны. Оставался один путь — в эмиграцию (правда, уехать из страны я мечтал сколько себя помню). Сорок три года я прожил в Советском Союзе и столько же — на Западе.

Часть I



Россия

Спаси мя Господи от искушения
и избави от литературщины.

МОЛИТВА АВТОРА

Глава 1

Арест отца (1934)

Я родился 11 января 1929 года в городе Калинин, в год Великого Перелома, когда Сталин переломал хребет российскому крестьянству и направил страну на путь коллективизации, индустриализации и террора. Первая книжка, попавшаяся в мои руки, была сочинением Аркадия Гайдара про Мальчиша-Кибальчиша с чьими-то цветными иллюстрациями. Содержания я не запомнил, но жуткие звероподобные рожи толстобрюхих буржуев на картинках, терзающих героического Мальчиша, орудия пыток, горящие печи, всполохи пламени — все это вызывало ощущение тяжелого кошмара. Впоследствии я видел такое только на изображениях ада у художников Северного Возрождения и на миниатюрах средневековых церковных книг. Очевидно, намерением авторов было привить детям чувство ненависти к врагам революции, меня же эта книга надолго отвратила от всякого чтения.

Когда мне было пять лет, мой отец, Наум Яковлевич Коджак, был арестован — “за антисоветскую пропаганду”, как было сказано в его деле.

Дальше — фрагменты, осколки из скудных рассказов близких, запавших в память.

Естественно, никакой антисоветской пропагандой отец не занимался. Его беда заключалась в том, что он родился в богатой караимской семье в Крыму. По словам моей бабушки, Коджаки находились в тесном родстве с Катьками — владельцами известной на всю Россию табачной фирмы “А. Катък и К°”. Паустовский в повести “Кара-Бугаз” пишет об этом семействе как о культуртрегерах, осваивающих район Прикаспия. Отец отца (мой дед) был габаем (т.е. караимским раввином) в караимской синагоге в Шанхае; очевидно, бежал туда после революции. Отец окончил институт горных инженеров в Варшаве, был музыкантом-любителем, собирал татарский музыкальный фольклор, переписывался с Глиэром; во время войны служил артиллерийским прапорщиком, потом присоединился (кажется, ненадолго) к Белой армии; во время бегства Врангеля из Крыма заболел тифом, был спрятан от красных друзьями или родственниками и остался в России. Было ли это по причине болезни или по его собственному желанию, для меня до сих пор остается загадкой.

Я почти не знаю свою родню со стороны отца. Коджак-Катюков (семья была большая) разбросало по белому свету: кого по эмиграциям, кого по глубинкам России, а кого, очевидно, и по лагерям.

Родственники со стороны матери были сибиряки. Скорее всего, они происходили от евреев-кантонистов, которым после службы в царской армии разрешалось селиться вне черты оседлости на окраинах России. Дед, Самуил Григорьевич, преферансист и выпивоха, работал коммивояжером от известной тогда чешской обувной фирмы “Батя”. По выходным у него дома в Томске собиралась компания для игры в преферанс и, как гласит семейное

предание, за игрой, под закусочку строганиной и пельменями спокойно выпивала четверть ведра водки. Народ был ассимилированный: на идиш мои родственники употребляли лишь несколько выражений, из которых мне запомнились “азохенвей”, “калтен коп” и “куш мир ин тохас”. Мама, Мэри Самуиловна, окончила медицинский факультет Томского университета и всю жизнь проработала в разных местах врачом-невропатологом. После революции по неизвестным мне причинам вся семья переселилась из Томска в Калинин.

Семья — мама, отец (до ареста), дед, его вторая жена (первая, мать матери, известная в Томске акушерка, умерла еще до приезда в Калинин) и я — занимала половину домика деревенского типа недалеко от сеного рынка, с крошечным садиком, казавшимся мне огромным, заросшим кустами малины и почему-то с надгробной плитой у стены. Лошади, телеги, коровы, куры на мостовой... мы, мальчишки, бегали смотреть на первый грузовик, появившийся на нашей улице. Вторую половину домика занимала старуха-нищенка. Она часто приходила к нам, и родители давали ей стаканчик крупы, хлеб, кусочки сахара... Однажды ее нашли задушенной в ее доме, а потом грузовики вывозили из него ковры, меха, хрусталь; драгоценности, очевидно, были похищены. Это было одно из первых впечатлений моего детства.

Когда мама отдавала меня в первый класс калининской школы, она записала сына под своей фамилией, опасаясь, что фамилия арестованного отца может мне повредить. Жене арестованного “врага народа” жить в городе, где тебя все знают, было, мягко говоря, неуютно. Очевидно, поэтому мы с мамой перебрались в Москву к бабушке Лине Григорьевне Невлер (родной сестре деда), в ее комнатку в коммунальной квартире в доме № 7 по проезду Серова (сей-

час Лубянский проезд). Лина Григорьевна была женщина боевая. Когда-то она работала фотографом на Камчатке, а вскоре после нашего к ней переселения устроилась на работу директором дома отдыха работников Министерства пищевой промышленности в Сочи. Вместе с ней мама отправила и меня.

Шел 1937 год, который для меня проходил под песню, звучавшую изо всех репродукторов; она начиналась словами “Ну как не запеть, если радость придет...” и заканчивалась цитатой из Сталина: “Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей”. Мне жить было действительно весело. Море, горы, солнце, огромный сад, где я прикармливал 16 (или 18?) кошек и двух бродячих собак. Важным для меня было знакомство с Андреем Ивановичем (фамилию не помню, а может быть, и не знал). Высокий, всегда аккуратно одетый, с небольшой бородкой, похожий на Чехова средних лет, он был врач, сослуживец моей мамы и, как я подозреваю, питал к ней нежные чувства. Он сразу же взял меня под свою опеку. Мы совершали длительные прогулки по горам, он учил меня составлять гербарии, различать минералы, показывал звезды и созвездия и называл их имена... После моего отъезда он покончил с собой, заплыв далеко в море. Почему? Не знаю. Шел тридцать седьмой год, и этим, думаю, все сказано.

После возвращения в Москву я обнаружил, что у меня появился отчим. Иосиф Львович Таубкин был комсомольско-партийным выдвиженцем из Сибири. Большой партийной карьеры он не сделал — работал мелким начальником, вроде замдиректора по хозяйственной части каких-то небольших заводиков.

Жить было негде. Мы снимали комнатухи в разных подмосковных поселках, переезжая с места на место, а я — из школы в школу. Отношения у мамы с отчимом были

тяжелые — размолвки, ссоры, ругань... После очередной ссоры мама, взяв меня с собой, уехала в Москву и завербовалась на два года врачом в систему Дальстроя. Там платили хорошие деньги, а главное, сохранялась прописка в Москве. Что такое Колыма, мама представляла себе смутно.

Летом 1939 года мы отправились во Владивосток. Вместе с нами в поезде ехал и Иосиф Львович; очевидно, за прошедшее время они успели помириться.

Глава 2 Колыма (1939–1943)

За последнюю чертою,
Лунным светом залитою,
Челюсть с фиксой золотою
Блещет вечной мерзлотою.

Иосиф Бродский. “Представление”

Колыма, Колыма, чудная планета,
Девять месяцев зима, остальное — лето.

Фольклор

От Москвы до Владивостока по железной дороге мы ехали двенадцать суток. Дальше еще трое суток плыли на пароходе “Феликс Дзержинский” до бухты Нагаева. Пароход был знаменитый: построенный где-то в начале века на верфях Глазго (так было написано на бронзовой табличке, вмонтированной в стену у капитанской каюты), его колоссальный трюм служил для перевозки в лагеря бесчисленных партий заключенных. В Магадане отчим получил назначение на работу в Северо-западное горнопромышленное

управление Дальстроя — начальником участка “Спортивный” прииска им. Водопьянова.

Семьсот километров на север в сторону реки Колымы. Ехали на грузовике — единственном тогда средстве передвижения на дальние расстояния в этих местах. По обе стороны трассы шли невысокие сопки, поросшие скудной растительностью лесотундры, между ними в лощинах торчали многометровые башни промприборов для промывки золота, к которым со всех сторон вели узкие деревянные настилы — как будто какой-то гигантский паук сплел между сопками свою паутину. По этим дорожкам сотни заключенных катили тачки с породой, опрокидывали их на движущуюся ленту транспортера, лента поднималась вверх и сбрасывала породу в большую воронку на вершине башни, где земля перемешивалась с водой, камни и щебенка оставались на решетках, размельченная земля вместе с водой скатывалась вниз по желобу, а золото, будучи тяжелее земли, оседало на его дне. Безлюдный пейзаж оживлялся рядами колючей проволоки со смотровыми вышками, окружающими лагерь. И так на протяжении всего пути.

* * *

Стан Хатыннах — центр раскинувшегося на много километров прииска им. Водопьянова, куда мы прибыли в конце лета тридцать девятого года, — представлял собой конгломерат деревянных домишек и барачков, в которых жили вольнонаемные работники прииска и их семьи. Участок “Спортивный” с его тремя промприборами, где начальствовал отчим, находился в пяти километрах от поселка.

А вокруг — первозданная, не тронутая человеком природа: сопки, поросшие стлаником, этим северным кедром,

раскинувшим по земле ветви с небольшими шишками, полными маленьких, но очень вкусных кедровых орешков. Весной, когда стаивали снега, сопки обретали розоватый оттенок от целых полей пережившей зиму брусники. И частая деталь этого идиллического пейзажа: понурая лошадка, к оглоблям привязан и волочится по земле завернутый в красное одеяло продолговатый предмет, и сбоку сторбленная фигура сопровождающего возницы. Это с сопки свозили трупы бежавших по весне и замерзших во время зимы заключенных.

Для нас, мальчишек, здесь было раздолье. Зимой, когда мороз достигал 50 градусов по Цельсию, занятия в школе отменялись, и тогда мы получали полную свободу. Катались на лыжах, в многометровых сугробах устраивали пещеры и даже отапливали их бумагой и сеном. Помню, однажды температура упала до 69 градусов, но воздух был сух, ярко светило солнце, и мы играли в снежки, только надо было все время растирать лицо снегом, чтобы избежать обморожений.

Летом главным нашим занятием было золотоискательство. Золота было много. Когда дожди смывали с завалинок слой земли, под ним желтели золотые чешуйки, и такие же чешуйки блестели в дождевых лужах. Мы искали золото в расщелинах сланца, под камнями, разрыхля комья земли. Однажды я нашел самородок с мой мизинец весом в 30 грамм. Но главным способом была промывка на лотках. Это были такие корытца со скошенным в обе стороны дном и с желобком посередине. В лоток насыпалась порода, скребком ее перемешивали с водой, удаляли камни и щебень, а когда оставался лишь слой песка, осторожно смывали его, и в желобке оставались частицы золота. Удивительно, какой непонятной, мистической силой золото притягивает к себе человека! Как-то взорвали породу, и в яме от

взрыва обнаружилась золотая жила. Люди со всех сторон бросились к яме и, толкая друг друга, стали выковыривать из земли кусочки металла. Зачем, спрашивается? Золото надлежало сдавать в золотую кассу, где нам платили за грамм, если не ошибаюсь, по рублю (заключенным — по десять копеек). Но деньги здесь имели чисто символическое значение — купить на них нельзя было ничего.

Магазинов не было. Все необходимое для жизни — продукты, одежда, мыло, папиросы — выдавалось даже не по карточкам, а по каким-то спискам. Из продуктов — сушеная картошка, какие-то крупы, мороженые яблоки (перед употреблением их надо было опускать в холодную воду, и тогда они покрывались коркой льда), очень редко мясо — конина, оленина, медвежатина... Недосток витаминов возмещался обязательным приемом отвратительного хвойного настоя, который мне казался хуже касторки. Настой якобы спасал от цинги. И это когда витаминов кругом было навалом: брусника, морошка, черника, орешки, грибы... Но никто почему-то этим не интересовался.

Я был, по сути, беспризорный. Отчим большую часть времени проводил на “Спортивном”, мама работала в лагерьной поликлинике, и им было не до меня. Отчиму по положению полагался дневальный, т.е. домашняя прислуга, отбиравшаяся из заключенных с уголовной статьей. Они-то и были моими если не прямыми, то косвенными воспитателями. Школа ничему хорошему научить не могла.

Первым был татарин Усеин, фальшивомонетчик. Правда, сам он фальшивые банкноты не изготавливал, а занимался только их сбытом, за что и схлопотал 10 лет лагерей. С ним мы жили душа в душу. Но однажды мама, вернувшись с работы, обнаружила страшную картину: в комнате стоял мороз, я лежал с высокой температурой, Усеин хралел на полу, а из-под стола торчали чьи-то ноги. Это

Усеин нашел спрятанную отчимом бутылку спирта, позвал приятелей и устроил пир. Я, очевидно, крепко спал и ничего не заметил. За такую провинность бедняга был изгнан обратно в лагерный барак.

Второй был Костя — красивый молодой парень, скромный до застенчивости, вышивавший салфеточки и даривший их маме в знак обожания. Вся его семья — отец, мать, братья — были расстреляны: банда грабила машины с товарами на алтайских дорогах. Сам Костя по малолетству (ему тогда не было шестнадцати) получил 10 лет. В сороковом году срок его кончился, и мы расстались с ним как с близким родственником.

И был еще Борис. Это был пахан, блатарь, очевидно, из ссученных, потому что настоящий вор в законе не унился бы работой на начальничка. Он носил шелковые рубашки и пользовался непререкаемым авторитетом у блатных. Когда он уходил и в доме никого не оставалось, он просто приставлял к двери метлу, и ни один вор не осмеливался близко подойти к нашему дому.

Таковы были быт и нравы тех мест.

Осенью 1941 года договорные сроки у мамы с отчимом заканчивались. Чтобы не прерывать мою учебу, было решено к началу учебного года отправить меня в Москву вместе с одной нашей знакомой, которая тоже туда возвращалась.

Где-то в середине июня мы приехали в Магадан, а через несколько дней началась война. По дурной инерции решили продолжать путь. Но по прибытии во Владивосток оказалось, что железнодорожные билеты на Москву уже не продают. Не оставалось ничего другого, как возвращаться обратно.

В ожидании обратного парохода я провел во Владивостоке несколько дней. По сравнению с Хатыннахом и Ма-

гаданом город показался мне европейской столицей. Я бегал по магазинам, покупал на шальные деньги какие-то значки, перья для ручек, градусники, из которых мы извлекали ртуть, и прочую мелочь, дефицитную на Колыме. Возвращался на том же пароходе “Феликс Дзержинский” в каюте первого класса. В Магадане устроился в бараке транзитного городка, договорился с шофером грузовика об обратном путешествии, был очень горд своей самостоятельностью и разочарован, когда увидел взволнованную маму, которая нашла меня после долгой беготни по баракам. Возвращались мы вдвоем, но уже не в Хатынгах, а на новое место.

* * *

За это время Иосиф Львович (мой отчим) получил новое назначение — начальником прииска Чекай. Это был только что основанный прииск на месте недавно обнаруженного богатого месторождения золота. Он был расположен в 25 километрах от трассы, так что добраться до него можно было зимой только на санях, а летом, когда почву размывало дождями, — на тракторе или верхом на лошади. Прииск был небольшой: тысяча пять заключенных и примерно сто вольнонаемных, включая охрану (по моим тогдашним очень приблизительным подсчетам). И опять — сопки, вышки, колючая проволока...

Я пишу только о том, что не провалилось окончательно сквозь дырявое решето памяти куда-то в никуда, а застряло где-то между дыр и теперь возникает в сознании расплывчатым фантомом когда-то увиденного.

Бабушкин. Огромный, излучающий добродушие человек, бывший летчик, сидевший по какой-то уголовщине,

а после освобождения принятый в лагерную охрану. Он одним духом выпивал кружку денатурата, брал меня на руки, подбрасывал к потолку, и я захлебывался от восторга. Много лет спустя, когда уже умерла мама, у меня родился сын и с отчимом наладились какие-то отношения, Иосиф Львович рассказал мне про Бабушкина: он был оперисполнитель, т.е. расстрельщик, палач.

Некрасов. Начальник лагерной охраны. Он рассказывал, как, крепко поддав, по ночам для развлечения вваливался с приятелями в барак, поднимал с нар какого-нибудь не нравящегося ему зэка, выводил наружу и жестоко избивал. Я слышал этот его рассказ, притворившись спящим, когда в нашей комнате за столом выпивала компания сослуживцев отчима.

Никакой школы здесь, естественно, не предполагалось, и к началу учебы мы с Виталием Кандинским — единственным на прииске мальчишкой моего возраста — отправились верхом до трассы, а дальше на грузовике в поселок Ягодное — центр Северо-Западного горнопромышленного управления.

Школа-интернат была здесь городского типа. Сюда присылали детей из тех поселков огромной территории Управления, где школы отсутствовали. Состав учеников был смешанным. Здесь жили и обучались дети как вольнонаемных, вроде меня с Кандинским, так и заключенных-уголовников, чьи семьи решили поселиться неподалеку от своих бывших кормильцев. Последние и определяли общую атмосферу, царившую в школе: порядок жизни строился по законам уголовного лагеря. В нашем дортуаре, где спало примерно двадцать мальчишек, был свой пахан — здоровенный переросток, около которого суетились несколько приближенных — “тискали романы” и оказывали разные услуги, вплоть до постельных.

Наши воспитатели были тоже из прибалтийских, отсидевших свои сроки.

Преподавательский состав школы был, наверное, высокого класса — кандидаты, доктора наук, доценты из бывших политических заключенных. Но школа меня не интересовала, и учился я из рук вон плохо. Очевидно, я не понимал: какое отношение вся эта школьная премудрость имела к той лежащей за гранью человеческой культуры действительности, частью которой оказались и я, и мама, и отчим... Зачем мне все эти арифметики, грамматики, истории? Литературы?

Читал я мало. Ни библиотек, ни книжных магазинов, да и тов. Гайдар со своим Кибальчишом отбил у меня охоту к чтению. Как-то попались мне в руки “Три мушкетера” Дюма и очень мне не понравились. В содружестве этих лихих головорезов как-то просвечивали уже знакомые мне законы блатного мира: те же строгие моральные установки, обязательные для членов банды, то же самодовольно-презрительное отношение ко всем остальным (к фраерам), то же благоговение перед паханами (Людовиками), то же пренебрежение к жизни людей, которых можно насаживать на шпаги, как цыплят на вертела.

Кто-то подсунул мне Тургенева — “Вешние воды”, кажется. И опять — полное недоумение. Природа, быт, люди — все это было совершенно не похоже на то, что лежало перед моими глазами. Но главное — язык: он показался мне сухим, вычурным и неестественным. Так люди не говорят. Вокруг все изъяснялось ненормативной лексикой, мы, дети, разговаривали на полублатной фене, и в воздухе висел мат. Это казалось нормальной человеческой речью; без мата она потеряла бы эмоциональную остроту и выразительность. (Уже в Москве, в школе, в разговоре с одноклассниками я как-то ввернул похабщину; мои цивилизованные себе-

седники посмотрели на меня удивленно. Я покраснел и потом несколько лет не мог произнести нецензурного слова.)

Вероятно, я несколько модернизирую, перенося на прошлое результаты более поздней саморефлексии. Но в культурном вакууме тогдашнего моего сознания не находилось никаких аналогий с прочитываемым, ему просто не за что было зацепиться.

Мое пребывание в интернате длилось немного меньше года. За это время в жизни моей семьи произошел еще один поворот.

Прииск Чекай, основанный, как я уже упоминал, на месте богатого месторождения, за первый год работы по добыче золота вышел на первое место то ли по Управлению, то ли по всей Колыме. В следующем году золотые запасы исчерпались и добыча резко сократилась. По правилам времени следовало отыскать виновного: отчима сняли с работы, и дело его направилось в судебные органы.

Итак, весной сорок второго года за мной в Ягодное приехали мама и отчим, погрузили на грузовик скудные мои пожитки, и по той же трассе мы отправились в Магадан. По дороге я выбросил в придорожный кювет свой школьный дневник.

* * *

Столица Колымского края тогда представляла собой большой поселок, застроенный главным образом двухэтажными деревянными бараками. Главная прямая улица (кажется, единственная) упиралась в сопку, у склона которой нас и поселили в одном из таких барачков. Здесь, на этом проспекте, сосредотачивалась культурно-административная жизнь города: солидные каменные здания различных учреждений,

школа, больница, особняки высшего колымского начальства... Здесь же находился и магазинчик, где продавались без карточек крабы, морские бычки с головами в две трети туловища, какая-то мелкая рыбешка. Рыба плюс американский белый кукурузный хлеб были серьезным подспорьем к скудным продуктовым пайкам. До войны в маленьком магаданском зоопарке обитали два белых медведя; потом их мясо распределялось по карточкам. В общем, такого голода, как потом в Москве, тут не было.

Жизнь моя в Магадане мало чем отличалась от предыдущей. Школа меня по-прежнему не интересовала. Летом при первой возможности я бежал к морю, благо оно находилось, наверное, где-то в километре от города. Нигде больше я не видел таких километровых отливов, оставлявших целые озера, лагуны воды, в которой сустились маленькие крабы, шевелились морские звезды, сновала рыбешка, шевелили щупальцами медузы... От зимы, проведенной в Магадане, кроме нудных уроков в школе и катания по сопкам на лыжах, в памяти не сохранилось ничего интересного.

В городе пошаливала освободившаяся из лагерей уголовщина.

Однажды, возвращаясь с субботника (или воскресника), после того как всей школой мы собирали кормовой турнепс с колхозного поля, я увидел в конце улицы дымок. Пожар, интересно! Я помчался вперед, и передо мной открылась картина печальная: дым шел из нашего окна на втором этаже. Это, как позже выяснилось, блатные проиграли в карты соседнюю квартиру и, предварительно очистив, подожгли. А заодно сгорела и наша.

На следующий день в школе меня вызвали к доске. Ответить на вопросы по домашнему заданию я, естественно, не мог.

— Дневник!

— Он сгорел, — гордо ответил я.

— Голомшток! Выйди из класса! — заорала учителька, сочтя мой ответ оскорблением.

Я вышел и чуть не заплакал от обиды: ведь дневник действительно сгорел.

Но больше всего я скорбел о моих сгоревших иностранных марках. Я собирал их и приклеивал к страницам какой-то старой, ненужной книги. Коллекция была скудная. Но сами места их отправления — Великобритания, Франция, США, какие-то Колумбия, Тува, Перу, Либерия, Конго — были для меня манящими знаками иного мира — загадочного, странного, непонятного, но, во всяком случае, непохожего на тот, в котором мне пришлось пребывать и вырваться из которого я интуитивно жаждал с самого детства.

Печальный эпизод с пожаром сыграл для нас и свою положительную роль. С начала войны все договорные сроки работы на Колыме были отменены, и вырваться отсюда было возможно только с особого разрешения. Пожар, при котором сгорело все наше имущество, дал повод просить разрешение на возвращение в Москву. К этому времени судебное разбирательство преступления отчима как-то рассосалось само собой, нового назначения он не получил, да и селить нас, очевидно, было некуда. Короче говоря, разрешение было дано.

Летом 1943 года мы распрощались с Колымой, и эта “чудная планета, где девять месяцев зима, а остальное — лето”, осталась позади.

* * *

При всей скудости полученного мною здесь образования опыт Колымы был, я думаю, первой и важной стадией фор-

мирования моего характера, моих привязанностей и антипатий, моего мировоззрения, т.е. личности. Не буду описывать всех виденных мной страшных сторон колымской действительности: она и без меня достаточно описана. Когда уже в Москве в шестидесятых годах известный литературовед Леонид Ефимович Пинский, сам бывший лагерник, дал мне прочитать четыре машинописных тома “Колымских рассказов” Варлама Шаламова, составленных Пинским вместе с их автором, я читал их, почти не отрываясь, целые сутки. Те же места, где проходили лагерные годы Варлама Тихоновича (Северо-Западное горнопромышленное управление, Ягодное, Сучан, Серпантинка...), те же пейзажи, даже имена лагерных начальников, с детства застрявшие в ушах, — кого-то из них я даже имел честь лицезреть воочию. Я видел много, чего в нежном возрасте видеть не рекомендуется: как травили собаками беглецов, как вохровец на моих глазах застрелил чем-то ему не понравившегося заключенного, как вели на расстрел легендарного лагерного убийцу Фомина*... Конечно, в детском моем сознании все это не складывалось в цельную картину, не открывало подлинной сути происходившего, но оседало в памяти. Его политическую основу, внутреннюю связь со всем, что происходило в стране, я осознал уже в Москве.

Фомин за ряд убийств намотал на себя такой срок, что терять ему уже было нечего: при отсутствии смертной казни он мог убивать и дальше. Закон о смертной казни на Колыме то отменялся, то снова вводился. На политических этот закон не распространялся — их расстреливали независимо от его наличия или отсутствия.

Глава 3

Москва (1943–1946)

Из Магадана до Владивостока мы плыли на американском пароходе “Степан Разин”, переданном Советскому Союзу по ленд-лизу, потом поездом до Москвы. Станции, полустанки... дикие толпы людей: женщины, дети, инвалиды войны, безногие, безрукие, штурмующие поезда и безжалостно сбрасываемые с подножек вагонов проводниками, — все это хорошо знакомо путешествовавшему по российским железным дорогам во время войны.

В пути я тяжело заболел, так что мы были вынуждены остановиться в Свердловске. И здесь я встретился с отцом — во второй раз после его освобождения.

За свою “антисоветскую деятельность” отец в 1934 году был осужден на пять лет лагерей — времена тогда были еще, по выражению Ахматовой, вегетарианские. Отбывал он свой срок на строительстве Восточно-Сибирской железной дороги где-то недалеко от границы с Китаем. Освободился в 1938-м и по дороге в Калинин заехал повидать-

ся к нам на Лубянку. О чем мы говорили тогда, я не помню, но навсегда запомнил слова и даже мотив песни, которую он мне спел:

Мы работать не умеем понемножку,
Потихонечку любить не можем мы,
Потому сдаем досрочно мы дорогу
И себя на усмотрение страны.

Подозреваю, что сам он ее и сочинил (кажется, во время заключения он играл в лагерном оркестре).

Отец до сих пор остается для меня загадкой. Что побуждало этого образованного интеллигента старого разлива, а ныне политического заключенного, сдавать себя “на усмотрение страны” и петь своему сыну (если не сочинять) бодрячески-патриотические песни о самоотверженном труде заключенных в лагерях? Думаю, что страх, страх за свое происхождение, прошлое, страх перед гигантской государственной машиной уничтожения, противостоять которой было бессмысленно. Страх заставлял его еще до ареста не высовываться, а потом, когда немцы подходили к Калинин у и он бежал оттуда в Свердловск, занимать тут незаметную должность счетовода банно-прачечного треста. Я помню, как незадолго до ареста отец сжигал в нашей печке целую кучу банкнот царского времени. Я плакал и просил отдать мне эти красивые пестрые бумажки, но ничего не получил. Очевидно, так же он выжигал из себя свое непролетарское происхождение и весьма в этом преуспел.

Наша встреча в Свердловске прошла без особой теплоты. Я его почти не помнил, да и у него отцовские чувства сильно поувяли за это время. И мы расстались, чтобы еще раз встретиться только через двадцать девять лет.

* * *

Летом сорок третьего года мы прибыли в голодную Москву, только что избавившуюся от бомбежек. Опять поселились у бабушки Лины Григорьевны в ее комнатке в проезде Серова. Через несколько месяцев отчим в чине майора был направлен в Германию на демонтаж немецких заводов и исчез до конца войны, связавшись там с какой-то бабой. В шестнадцатиметровой комнатухе с маленьким закутком, где помещалась только бабушкина кровать, в разное время проживало до семи человек: мама, отчим, дочь отчима Вера, мой двоюродный брат Лева, которого родители прислали из Грозного учиться в Нефтяном институте, я, бабушка и дед Самуил Григорьевич. По утрам дед открывал газету “Правда”, видел на первой странице письма трудящихся тов. Сталину, произносил сакральную фразу — “чужих писем не читаю” и демонстративно переворачивал страницу. (Я до сих пор не могу открыть чужое письмо, даже если оно адресовано моей жене.) Я спал на чемоданах, выдвигаемых из-под бабушкиной кровати, а после смерти деда — на снятой крышке дивана, а Левка внутри, или наоборот.

Осенью сорок третьего я поступил в восьмой класс 312-й московской средней школы. Публика была здесь поинтереснее, чем на Кольме, и я сразу же подружился с двумя своими одноклассниками — Юркой Коганом и Юркой Артемьевым. Может быть, с этой дружбы и началось мое восхождение от примитива к *Homo Sapiens*.

Среди нас троих наиболее продвинутым интеллектуально был Юра Коган. Он жил в соседнем с моим доме № 5 над бывшей квартирой Маяковского (сейчас там музей великого поэта). Коган серьезно интересовался современной историей, политикой, штудировал книги по исто-

рии дипломатии и намеревался избрать для себя карьеру дипломата (увы! уже в то время стало известно, что в Институт международных отношений евреев не принимают). Он уже что-то знал о положении в стране, рассказывал нам о коллективизации и голоде в Поволжье начала тридцатых годов, о политических процессах тридцать седьмого года, о личности тов. Сталина и о многом другом (откуда он черпал такие сведения, я не знаю). Для него все эти кошмары представляли скорее абстрактный, чисто научный интерес. Для меня это накладывалось на мой колымский опыт, находило в нем эмоциональное подтверждение и как-то связывалось одно с другим в некую общую панораму советской действительности. Может быть, кому-то это покажется неправдоподобным, желанием показать свою исключительность, но это факт: уже в школьные годы я возненавидел Сталина, всю его камарилью, комсомол, коммунистическую партию и советскую власть в целом.

Артемьев жил тоже неподалеку. Отец его был арестован в тридцать седьмом году, сгинул в лагерях, и Юра обитал с матерью на Кировской в номере бывшей гостиницы “Лиссабон”, превращенной в гигантскую коммунальную квартиру. Мешковатый, флегматичный, склонный к полноте, он походил на типичного русского молодого помещика из романов Тургенева (“волос бесцветных клин, а вместо рожи — блин”, — описывал я его в одном из стихотворных посланий, которыми мы с ним время от времени обменивались). Часто во время урока из окна можно было видеть, как Артемьев, не торопясь, идет по двору к школе, а на негодование учительницы он только покаянно кивал головой и отправлялся к своей парте.

Нас сближала и наша общая любовь к музыке. Мы с Юркой на последние гроши покупали пластинки и проигрывали их у меня на электрическом моторчике, вставленном

в коробку от старого патефона, служившую нам одновременно и пепельницей. Пластинки шипели, моторчик кряхтел, но и впоследствии я редко получал такое острое переживание музыки. У Артемьева отношение к музыке имело еще и научный характер. Он познакомился с Михаилом Марутаевым, тогда студентом композиторского факультета Консерватории, и они вместе разрабатывали какую-то мне совершенно непонятную теорию композиции: Марутаев брал аккорд, потом они вычисляли, что должно последовать дальше, звучал второй аккорд... К моему огромному удивлению, что-то музыкальное у них получалось.

Артемьев и Коган были на год старше меня. В сорок четвертом году наступал срок их призыва в армию, и, чтобы избежать такой неприятности, они поступили в школу рабочей молодежи, намереваясь за один год окончить два последних класса и поступить в институт, что тогда давало отсрочку от военной службы. Последующие события внесли существенные коррективы в наши отношения.

Где-то в марте или в апреле 1945-го рано утром в коридоре нашей коммуналки раздался телефонный звонок. Звонил Артемьев. Предложил прогуляться. Ничего необычного в этом не было, но что-то — то ли в его голосе, то ли во времени, слишком раннем для звонка, — меня насторожило.

Несколько часов мы бродили по Москве — мимо Китайской стены, по набережным, дошли до Сокола. И он рассказывал.

Накануне его вызвали на Дзержинку и предложили сотрудничать, т.е. стучать на друзей, в частности на меня. Юра корчил из себя простачка, сомневался, приводил аргументы... Его подвели к окну, показали стоявшие во дворе машины и сказали, что, если он не согласится, они сейчас поедут и всех заберут. “Что это ты, русский парень, с евре-

ями связался?» — говорил ему кагэбэшный чин. Он был вынужден согласиться.

И на следующий же день рассказал об этом мне!

Чтобы хотя бы впоследствии оторваться от такого рода сотрудничества, Артемьев поступил на геологоразведочный факультет МГУ, хотя больше всего его тянуло к философии, и по окончании большую часть года проводил в экспедициях вдалеке от недреманного ока тайной полиции. Я никогда не спрашивал Юру о характере его деятельности, но сам он время от времени информировал меня о своих отчетах по моему поводу: «Голомшток высказывал сомнение в истинности марксовой теории прибавочной стоимости... Голомшток восхищается «Золотым теленком» Ильфа и Петрова...» — всё в таком роде. С точки зрения властей, это было признаком неблагонадежности, но за это не сажали. Очевидно, где-то в верхах какие-то чины ставили галочку в списках против моей фамилии как лица, находящегося под верным наблюдением. Я не занимался антисоветской деятельностью, не состоял в тайных молодежных обществах и кружках. Только болтал слишком много. И за мной следили. Наша дворничиха Марфуша, с которой у бабушки были наилучшие отношения, говорила, что к ней приходили, спрашивали, с кем я общаюсь, кто посещает наш дом и не слышала ли она от меня чего-нибудь антисоветского. Кто-то из пациентов мамы тоже предупреждал ее об опасности моего положения. И я убежден: если бы не Юрка, сидеть бы мне в лагере многие годы.

Почти 10 лет я жил под страхом ареста. Почти 10 лет Артемьев находился под тяжелым стрессом от своей деятельности, которую презирал и ненавидел, — только в 1954 или 1955 году он смог заявить кагэбэшникам, что по тем или иным причинам не может продолжать дальше сотрудничество с органами. Я, кажется, переболел, перестал бо-

яться. Юрий Иванович умер, когда ему еще не было пятидесяти, — сердце у него оказалось слабое.

Юру Когана тоже вызывали и тоже заставили сотрудничать. Но ему была предложена иная сфера деятельности. В школе рабочей молодежи, где учились оба Юрки, проходили обучение дети некоторых известных иностранных коммунистов (сын Андерсена-Нексё, в частности). Коган по живости характера свел с ними знакомство, и теперь ему вменялось в обязанность следить за этой категорией лиц. С тех пор он исчез с моего горизонта; больше мы с ним не виделись. Очевидно, он не хотел втягивать меня в сферу своих наблюдений.

* * *

Как и на Колыме, учился я плохо. Технические дисциплины — физика, математика и прочие — меня не интересовали, литература и история в их школьном казенном изложении не вызывали ничего, кроме скуки и отвращения. Даже Пушкина я оценил уже после школы. На уроках читал под партой Достоевского, Леонида Андреева, Андрея Белого, о которых если и упоминалось в учебниках, то только в примечаниях и только как о писателях реакционных. За два последних года меня три раза исключали из школы за тихие успехи и громкое поведение. Что касается успехов, то так оно и было — перебивался с двойки на тройку, но поведение?! Я был тихим ребенком, но почему-то вызывал ненависть учителей.

Как-то на уроке химии я, никого не трогая, читал под партой Достоевского, пока кто-то не запустил в меня галошей (наш класс был довольно буйным). Я спокойно поднял ее с пола, положил на парту и хотел уже продолжить

чтение, когда наша химичка, обернувшись от доски, где писала какие-то формулы, увидела эту злополучную галошу на моей парте. Она помчалась к директору и доложила, что Голомшток бесчинствует. Меня исключили из школы. Во второй раз меня исключили при аналогичных обстоятельствах. На большой перемене, как обычно, дежурный внес в класс поднос с положенным нам завтраком (какие-то бутерброды или печенье — я не помню); ребята бросились на него и устроили кучу-малу. У учительницы, в этот момент вошедшей в класс, зарябило в глазах, и единственное, что четко отпечаталось на сетчатке ее глаза, была моя фигура, стоящая в стороне и никакого участия в свалке не принимающая. И опять — директор... мое буйство... исключение. В третий раз дело было серьезнее. Нашу школу послали помогать колхозу убирать урожай. В бараке, где мы жили, кто-то что-то у кого-то украл, и, кажется, сам этот кто-то указал на меня. Я был возмущен до глубины души, плюнул, сел на поезд и уехал домой, т.е. самовольно ушел с боевого поста. И если бы бабушке, у которой были хорошие отношения с нашим завучем, не удавалось улаживать эти конфликты, я едва ли дотянул бы до аттестата зрелости.

Как-то подошел ко мне наш комсомольский деятель. “Двойки есть?” — “Есть”. — “Исправишь?” — “Не знаю”. — “Ну ничего, пиши заявление”. Мог ли я в 1944 году сказать, что в гробу я видел ваш комсомол? Некоторые могли. Я не решился.

* * *

Я окончил среднюю школу в 1946 году. В перспективе маячило: либо институт, либо армия. С советской армией я познакомился во время школьных военных сборов летом

1944 и 1945 годов, и она показалась мне не лучше лагеря. Нас, 15-летних мальчишек, дрессировали как взрослых солдат. Ночные многокилометровые переходы с полной солдатской выкладкой, рытье окопов, ползание по-пластунски по лужам и грязи, — все это выходило за пределы моих физических возможностей. Но хуже, чем физическая нагрузка и вечный голод, была человеческая атмосфера. Во время кормежек голодная орава врывается в столовую, чтобы занять места поближе к котлу и урвать лучшие порции. Я обычно входил последним, и мне доставались какие-то ошметки, а иногда и вообще ничего не доставалось. И если бы не скудные передачи из дома, я бы не выдержал. Однажды кто-то из нашего отряда потерял, или у него украли, винтовку. “Иди укради в соседнем отделении”, — посоветовал бедняге сержант. В настоящей армии за потерю оружия полагались трибунал и расстрел. Все это сильно напоминало мне Колыму.

Поступление в институт оказалось делом непростым. Антисемитизм тогда еще не достиг своей кульминации, но уже набирал силу, особенно в учебных заведениях. По отцу я был караимом, и это обстоятельство могло бы избавить меня от многих последующих неприятностей. Но когда пришло время получать паспорт, мой возраст определяли по зубам, ибо документы о моем рождении вместе со всеми архивами города Калинина были сожжены перед отступлением Красной Армии. В анкете в графе “национальность родителей” отца я записал евреем. Сейчас мне трудно объяснить, зачем я это сделал. В книге Анатолия Кузнецова “Бабий Яр” приводится следующий эпизод: когда киевских евреев вели к месту уничтожения, караимы, всю ночь молившиеся в своей синагоге, утром вышли и присоединились к колонне обреченных. Может быть, отказ от еврейства казался мне тогда предательством по от-

ношению к моей матери и к народу, к которому сам я, хотя и наполовину, принадлежал.

Итак, начались мои хождения по приемным комиссиям. На искусствоведческом отделении филологического факультета МГУ документов у меня просто не приняли, сказав, что в этом году поступать могут только медалисты и участники войны (что было враньем). На географическом факультете меня к вступительным экзаменам допустили. Несмотря на мое фантастическое невежество, в школе я умел сдавать экзамены. Как-то по физике мне попался вопрос о законах электричества, о чем я понятия не имел, но я бойко начал излагать теорию теплорода, и, не успев закончить историческую часть и перейти к прямому ответу на вопрос, был прерван и удостоен положительной оценки. И здесь я успешно сдал историю, географию, что-то еще; оставалась литература — предмет, в котором я чувствовал себя уверенно. Я вполне разумно отвечал на вопросы, но на каждое мое высказывание экзаменатор (некто Сорокин, как сейчас помню) неодобрительно качал головой. Под конец он попросил прочитать наизусть по-немецки стихотворение Гейне, почему-то единственное из произведений зарубежных писателей, попавшее в школьную программу. Я начал — *Auf die Berge will ich...*, — но на середине запнулся. Сорокин удовлетворенно ухмыльнулся и поставил мне тройку.

Оставалось несколько дней до окончания приема в высшие учебные заведения. Мне посоветовали подать заявление в Финансовый институт. Практически туда принимали всех. Так я оказался вынужденным осваивать профессию, глубоко чуждую всем моим наклонностям и стремлениям.

Глава 4

Финансы и романсы

(1940–1950-е)

Финансовый институт на Церковной Горке был тогда самым задрипанным заведением, куда поступали главным образом абитуриенты из глубокой провинции (сейчас, говорят, это один из самых престижных и элитарных институтов в Москве). Но преподавательский состав был достаточно квалифицированным. Здесь находили приют многие ученые с нерусскими фамилиями, которым доступ в более почтенные заведения был закрыт. Среди них были интересные люди. Так, денежное обращение преподавал Рубинштейн, ставший впоследствии известным московским коллекционером. Войсковому хозяйству нас обучал майор Невлер. Однажды на уроке я читал “Жизнь Иисуса” Ренана. Незаметно подошел Невлер, взял книгу, прочитал название, дал нам какое-то задание и погрузился в чтение. После занятия вернул книгу, не сказав ни слова.

Основы марксизма-ленинизма вел некто Агушевич, который красочно описывал нам атмосферу первых пар-

тийных съездов: “И вот на трибуну поднимается Аксельрод...” — торжественно возглашал он с явной симпатией к этому меньшевику. На втором курсе перед началом занятий на общем собрании нам объявили, что Агушевич оказался врагом народа. Интересно, что из среды самых простых моих сокурсников, присутствующих на собрании, раздались голоса, требующие объяснить, в чем проявлялась враждебная деятельность Агушевича. К счастью, дело замяли.

Финансовые дисциплины меня не заинтересовали. В институте я продолжал заниматься тем же, чем и в школе: на лекциях читал художественную литературу, пытался самостоятельно освоить нотную грамоту (ничего из этого не получилось) и перебивался с двойки на тройку. Правда, однажды я умудрился получить повышенную (кажется, она тогда именовалась Сталинской) стипендию. В конце одного из семестров надо было сдать только два экзамена — политэкономию и гражданское право. Я не без любопытства проштудировал два тома “Капитала” Маркса, кое-что из Адама Смита и Давида Рикардо и на экзаменах получил две пятерки (большинство моих сокурсников срезались).

Унылое однообразие институтской жизни плохо сохранилось в памяти. Единственным важным событием тех лет было знакомство с Ниной Марковной Казаровец — моей будущей женой. Мы учились на одном курсе, и я без памяти влюбился в нее. Тихая, незаметная, с русалочьей печалью бледно-голубых глаз, она казалась мне необыкновенно красивой. На занятиях физкультурой она легко проделывала все полагающиеся упражнения, я же был общим посмешищем — висел как мешок на перекладине и подтянуться не мог даже раз. Взаимностью я не пользовался, и только через пятнадцать лет мы стали жить вместе.

* * *

Чем дальше продвигалось мое образование, тем сильнее назревало во мне нежелание сделать финансы своей профессией, тем глубже погружался я в сферу своих настоящих интересов. Путь к музыке был закрыт в силу моей полной необразованности в этой области. Альтернативой было искусствоведение. Я начал нелегально посещать лекции в Университете и решил поступить на вечернее отделение искусствоведения. Но как это сделать? Извлечь свой аттестат зрелости из институтского отдела кадров, чтобы быть допущенным к вступительным экзаменам, не было никакой возможности. Единственное, что можно было сделать, — это получить второй аттестат. И тут мне помог Артемьев.

Его приятель Виктор Певзнер был личностью оригинальной: технарь до мозга костей, он был абсолютно глух ко всему, что не имело отношения к моторчикам, трансформаторам, приемникам... Когда ему предстояло сдавать на аттестат зрелости гуманитарные предметы, накануне он и Юрка заперлись в его комнате, и Певзнер соорудил хитроумную систему приемника-передатчика. Вокруг живота он обматывал проволоку, один конец с микрофончиком пропускал через рукав, другой прикреплял к миниатюрному приемничку, помещавшемуся в кармане, а Юрке вручал такой же миниатюрный передатчик. По утрам Артемьев, вооружившись учебниками, забирался на чердак школы, снизу Певзнер диктовал ему вопросы, а Артемьев сверху диктовал ему ответы. Певзнер обладал также целым набором печатей и штампов различных государственных учреждений, которые, наверное, сам же и изготавливал. Позже я по его экзаменационной карточке с моей фотографией сдавал за него письменное сочинение, литературу, исто-

рию в радиоинститут. А он изготовил мне справку со всеми подписями и печатями о том, что я окончил семь классов какой-то неизвестной мне школы.

В жизни моей начался настоящий *Sturm-und-Drang* период. За три месяца я сдал больше пятидесяти экзаменов: по всем предметам за 8-й, 9-й и 10-й классы, сложную сессию в институте, включая государственный экзамен по военному делу, экзамены на аттестат зрелости и пять вступительных экзаменов в университет. Осенью 1948 года я стал студентом первого курса вечернего отделения искусствоведения филологического факультета МГУ, а на следующий год закончил Финансовый институт и со званием советника финансовой службы третьего ранга (соответствующего армейскому званию младшего лейтенанта) был назначен на работу кредитным инспектором в Пролетарское отделение Мосгорбанка.

В банке мне было скучно, противно и страшновато. Развернутая еще ранее кампания против космополитизма в это время достигла своей кульминации в деле о еврейских врачах. Каждое утро замдиректора банка тов. Путинцева открывала газету и вслух прочитывала (специально для меня) о всё новых злодеяниях убийц в белых халатах. А по радио передавали цикл еврейских песен Шостаковича, и репродукторы орали женскими голосами: "...врачами, врачами стали наши сыновья — э-эх!" Очевидно, власти хотели несколько прикрыть Шостаковичем развернувшуюся в стране антисемитскую вакханалию. Я же воспринимал тогда этот цикл как злую пародию на происходящее.

Путинцева, не имея никакого образования, ненавидела нас — так называемых молодых специалистов (кроме меня работала и еще одна девушка с высшим образованием). А тут еще была введена обязательная форма для ра-

ботников разных отраслей государственной службы — для железнодорожников, юристов, инженеров... Финансистов обрядили в зеленые мундиры, и наши дамы стеснялись ходить в них в театры, потому что часто им задавали один и тот же вопрос: как пройти в туалет? — принимая их за театральную службу. Финансовым советникам (т.е. офицерскому составу) полагалось носить в петлицах в зависимости от ранга одну, две или три звездочки, младшим советникам (т.е. составу сержантскому) — шпалы или какие-то другие знаки отличия. (Я умудрился уклониться от ношения такой формы; к тому же ее надо было шить за свой счет.) Сержант Путинцева вынести такой несправедливости не могла, но, чувствуя себя уверенно (говорили, что она была любовницей какого-то высокого чина из Мосгорбанка), она вредила нам всеми доступными ей способами.

В сферу моих обязанностей входило кредитование капитального строительства районных организаций — бань, прачечных, треста озеленения, треста очистки и пр. Говорят, что, в отличие от теперешнего российского беспредела, при Сталине был порядок. Какое там! Я должен был посещать подведомственные мне учреждения и проверять на месте использование средств, отпущенных на строительство. Чего только я там не насмотрелся! Деньги отпущены на сооружение оранжерей. Где оранжереи? “А мы, — говорят мне, — их сожгли”. По платежным ведомостям обнаруживалось, что зарплата продолжала поступать лицам, сидящим в тюрьме... И т.д., и т.п., и пр. 31 декабря к нам вваливалось все районное начальство во главе с самим председателем и требовало, чтобы к двенадцати часам были завершены годовые отчеты так, чтобы план капиталовложений по району был выполнен на 101 %. Какие проценты! Дай Бог, чтобы по ряду хозяйств план был

выполнен хотя бы наполовину. Мои клиенты пытались всучить мне взятки, предлагали какие-то увеселительные прогулки на машинах... Я понял, что кого-то придется сажать и что, скорее всего, посаженным буду я. Надо было сматывать удочки, хотя еще не истекли два обязательных года работы, положенные молодому специалисту после окончания института.

Не буду описывать, как мне удалось вырваться из банка и не отправиться по распоряжению начальства на работу в места не столь отдаленные: мой мемуар и так становится похож на книгу жалоб (без предложений), бывшую в те времена неотъемлемой принадлежностью магазинов, бань, туалетов и прочих мест общественного пользования.

* * *

Мое унылое существование в качестве кредитного инспектора скрашивали занятия в университете. Лекции Б.Р. Виппера, Ю.Д. Колпинского, А.А. Губера, А.Г. Габричевского, музейная практика, поездки в Ленинград — все это выводило из неприглядной повседневности в чистую сферу культуры, к которой я стремился и о которой знал только понаслышке. Новая среда, знакомства, друзья... Состав студентов на вечернем отделении был смешанный. Медалистов тут было негусто (конечно, ввали в приемной комиссии, когда я два года назад пытался подать документы). Участники войны были здесь представлены тремя Сашами: Сашей Бердюгиным из военной прокуратуры, Сашей Боровым из СМЕРШа и Сашей Халтуриным из КГБ. Но были здесь и умные, образованные, интересные мальчики и девочки.

Уже на первом курсе я познакомился с Майей Розановой-Кругликовой, будущей Марьей (имя она потом поменяла в эмиграции) Васильевной Розановой-Синявской, и наша тесная дружба продолжается и по сей день. На факультете о ней ходила присказка: “Будьте розовы и кругленьки, как Розанова-Кругликова”. Живая, общительная, с острым умом и языком — за ней всегда вился хвост поклонников. На какой-то лекции мы оказались сидящими рядом, и вдруг она взяла из моих рук записную книжку и стала ее проглядывать. Мне это не понравилось, но такова была ее манера — при первом знакомстве бить собеседника, так сказать, мордой об стол и наблюдать, как он на это отреагирует. Но речь о ней еще впереди.

Искусствоведческое отделение находилось тогда при филологическом факультете (вскоре нас перевели на исторический). Обязательным предметом была латынь. Вел ее человек по фамилии Домбровский. На первом занятии он прочитал нам лекцию об академике Марре. На втором — опять о Марре. На третьем начал что-то объяснять про латинские глаголы. На четвертое занятие он не пришел и больше на факультете не появлялся. Мы недоумевали, но ларчик просто открывался: как раз в это время вышла книга тов. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”, где подвергались критике идеалистические теории академика Марра. Домбровский исчез, и латынь у нас отменили. Так я и остался по сей день лингвистически необразованным.

Случай с Домбровским был не единственным. По обвинению в космополитизме был изгнан из университета профессор Борис Робертович Виппер, отправлен в лагеря преподаватель прикладного искусства Василенко. Это только на нашем небольшом отделении. На исто-

рическом факультете дела заворачивались еще круче. Была разоблачена и отправлена в лагерь группа студентов-комсомольцев. По доносу Халтурина посадили Женю Федорова. Кого еще? Интересующимся лучше обратиться к солидной литературе по таким вопросам, чем к моей дырявой памяти.

* * *

На нашем вечернем отделении публика подобралась в основном великовозрастная. Михаилу Львовичу Либерману было лет пятьдесят. Я отношу его к ряду тех в высшей степени незаурядных людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться в течение жизни.

Михаил Львович был художник (ученик Петрова-Водкина), архитектор, реставратор, строитель, библиофил. Главным его *hobby* было тогда искусствоведение, что и привело его в университет. Он жил где-то недалеко от Колхозной площади, на первом этаже небольшого дома, спроектированного им самим, где устроил нечто вроде семинара по изучению истории искусств, на который приглашал студентов из нашей университетской группы и всех желающих. Его библиотека включала уникальное собрание изданий русских футуристов, которые он начал собирать в начале двадцатых, а позже обменивался книгами с Крученых — тоже страстным коллекционером, с которым дружил, и другими, еще живыми тогда авангардистами (после его смерти это собрание перешло по завещанию в Тургеневскую библиотеку). Михаил Львович собирал также репродукции произведений всего мирового искусства. Он фотографировал или вырезал их из старых книг и альбомов; он даже научил

меня расслаивать книжную страницу, если репродукции находились на двух ее сторонах. Это его собрание насчитывало тысячи, если не десятки тысяч единиц. Спал он два часа в сутки, говорил, что этого ему вполне хватало.

Ко времени нашего знакомства Либерман работал во Всесоюзных научно-исследовательских мастерских по реставрации архитектурных памятников, размещавшихся в помещении бывшего Высокопетровского монастыря на Петровке. Сюда он и пригласил меня на работу в свою бригаду — к моей величайшей радости.

Работа была интересная. Мы составляли исторические справки по церквям Москвы и Московской области, зарегистрированным как памятники архитектуры, для последующей их реставрации. Копались в церковных архивах, выуживали крупницы сведений из старых книг и справочников, ездили на осмотры; я даже научился разбирать церковнославянские письма документов XVI века. Платили нам сдельно, как в книжных издательствах, — за каждый печатный лист выписок и текстов исторических справок. Больших денег это не приносило, но на жизнь хватало. Здесь я проработал около двух лет.

9 марта 1953 года я, как обычно, шел на работу от Яузы, где тогда жил, к Высокопетровскому монастырю. Шел по Петровскому бульвару, а по тротуару густая толпа людей двигалась к Дому Союзов, чтобы попрощаться с любимым вождем. Подступы к центру Москвы были перекрыты, но меня по моему рабочему удостоверению пропустили. На работе меня ждал сюрприз: на стене объявлений висел приказ об увольнении по сокращению штатов нашей бригады в составе Либермана Михаила Львовича, Земцова Станислава Марковича и меня грешного. Что ж, этого надо было ожидать.

Я поднялся на восьмерик колокольни Высокопетровского монастыря — самую высокую точку Москвы. Отсюда было видно, как со всех концов города черные ленты толп, как щупальца спрута, стягивались к гробу Сталина.

Домой я возвращался по тому же бульвару. Была оттепель, от таявшего снега земля размокла, и на бульваре валялось неисчислимое количество галош; часть их была уже собрана в кучи, некоторые висели на ветвях деревьев, очевидно, повешенные кем-то сюда смеха ради. Как я догадался позже, это были галоши сотен людей, задавленных на Трубной площади.

Смерть Сталина меня не опечалила (“Собаке — собачья смерть!” — возгласил я, бравидуя перед двумя своими сокурсницами; их мое заявление не шокировало), но и особенной радости не принесла: перспективы открывались не менее, а может быть, еще более мрачные. За день до смерти воядя, 4 марта 1953 года, арестовали моего друга — Мирона Этлиса.

С Мироном я подружился еще в юношеском зале Ленинской библиотеки. В институты мы поступили одновременно: я — в Финансовый, он — в Третий Московский медицинский, который вскоре был переведен в Рязань. Помимо своих медицинских дел Мирон занимался тогда еще и тем, что он называл классификацией наук. Как я понимаю (а понимаю я мало), это было что-то вроде кибернетики, которая считалась тогда наукой идеалистической и буржуазной. В этом человеке был заложен такой энергетический заряд, что он (редкий среди нас случай) даже водку не пил — и без алкоголя всегда находился в состоянии постоянного творческого возбуждения. Каждую пятницу вечером он без билета (денег не было) садился в поезд, забирался под лавку, приезжал в Москву, в девять утра уже был в Ленинской библиотеке,

а в воскресенье вечером тем же способом возвращался в Рязань. В Институте он входил в студенческое научное общество (был председателем?), в прессе начали публиковаться его статьи, но...

Как-то за разговором приятель Мирона спросил его, верит ли он в дело врачей. “Нет”, — ответил Мирон. “Почему?” — спросил приятель. “Ну, если бы они были отравители, они знали бы, кого отравить”. “Кого?” — спросил приятель. “Этого, толстого”, — ответил Мирон, почему-то имея в виду Маленкова. Приятель оказался сексотом.

Где-то в первых числах апреля мне пришла повестка с вызовом в рязанское отделение КГБ. Я уже знал, что Мирон арестован, и ехал в Рязань, сильно подозревая, что обратно уже не вернусь.

В рязанском КГБ меня допрашивали целый день. Вопросы касались главным образом антисоветских взглядов Этлиса. Я, памятуя об опыте Артемьева, бормотал что-то вроде: да, он сомневался в марксистской теории прибавочной стоимости, да и сам я... А говорил ли он что-нибудь о своих террористических планах? Это предположение я отверг с негодованием. Мирон действительно ничего мне не говорил по той простой причине, что никаких террористических актов не планировал. Спрашивали и о других моих знакомых, в частности о Михаиле Львовиче Либермане; его искусствоведческий семинар тоже интересовал КГБ.

Но все это было как-то несерьезно. Атмосфера какой-то неуверенности и суеты висела в воздухе этого учреждения. Следовательно время от времени куда-то уходил, к нему забегали какие-то люди, чтобы переброситься несколькими непонятными мне фразами. Мне даже поесть принесли в середине дня, а к вечеру отпустили, выдав деньги на дорогу.

Они, эти кагэбэшники, уже знали то, чего я еще не знал: 3 апреля этого года было прекращено “дело врачей”, с которым пересекалось и “дело Мирона”. Я мог вздохнуть с облегчением: пронесло во второй раз.

Этлisa судили в мае и приговорили к высшей мере. Сутки он провел в башне смертников рязанской тюрьмы, после чего ему объявили, что расстрел ему заменен на двадцать лет лагерей.

Свой срок Мирон отбывал в Карагандинских лагерях. Солженицын в своей книге “Двести лет вместе” в качестве примера того, как евреи в лагерях устраивались придурками на теплые места, приводит Этлisa, якобы работавшего в лагерной санчасти. Это умышленная ложь: Мирон находился на тяжелых работах. Правда, лагеря были уже не сталинскими, и ходили слухи о возможных реабилитациях и освобождениях. По вечерам Мирон забирался на верхние нары поближе к лампочке и штудировал медицинские учебники в надежде когда-нибудь окончить институт. Помог ему Его Величество Случай.

Начальник лагеря (или его заместитель) заболел фурункулезом, и никакие лекарства не могли избавить его от прыщей. Мирон еще в институте серьезно занимался гипнозом и предложил начальнику попробовать этот способ лечения. Опыт удался. Взамен Мирон получил право выхода за зону — право, которым пользовались некоторые категории заключенных (шоферы, подсобные рабочие и пр.). В первый же раз, выйдя после работы за ворота лагеря, он забрался в товарный вагон, утром приехал в Караганду, явился к начальнику Главного управления Карагандинских лагерей, представился как заключенный номер такой-то и, сославшись на существующую инструкцию, просил разрешить ему сдавать экзамены в медицинском институте. Начальник, гэбэшник уже новой формации —

с университетским значком на пиджаке, — удивился и велел принести инструкцию, в которой действительно говорилось, что заключенные в лагерях могут проходить профессиональное обучение. После долгих хождений по инстанциям разрешение было получено.

Когда в 1956 году Мирон Этлис по амнистии возвращался в Москву, он по дороге заехал в Караганду, чтобы получить диплом об окончании Карагандинского медицинского института.

* * *

Арест Этлиса, рязанский КГБ, безнадежность устройства на любую работу... Настроение было самое паршивое; мы с Артемьевым называли это почему-то “настроением желтого пиджака”. Было голодно, муторно, страшновато и все же весело — молодость брала свое.

Москва просыпалась от послевоенного голодного морока. Отменили систему продуктовых карточек, в магазинах по стенам башнями возвышались консервные банки с тресковой печенью, крабами (в хрущевские времена их как корова языком слизала), на прилавках предлагали себя вниманию публики не виданные раньше колбасы, стояли пузатые банки с красной и черной икрой, которая на копейки была дороже самой дешевой селедки, только копейки эти у большинства населения отсутствовали. На улице Горького действовал знаменитый тогда “Коктейль-холл”, где за пореформенный рубль (если таковой имелся) можно было взять коктейль “В полет”, бокал пунша и, беседуя с приятелями, тянуть его через соломинку до середины ночи. На пустой желудок этого хватало. Как я понимаю, “Коктейль-холл” был местом времяпрепровождения для

полуопальной тогда творческой интеллигенции. Здесь можно было встретить Михаила Светлова, Юрия Олешу; однажды полупьяный человек представился нам как известный когда-то историк Покровский (вполне возможно, что это и был Покровский). В годы борьбы против преклонения перед Западом “Коктейль-холл” был лишен своего иностранного звания и превратился просто в кафе, остряками же он был переименован на русский лад в “Ёрш-избу”. На месте нынешнего “Детского мира” в Театральном проезде была гостиница “Балчуг”, в подвальном этаже которой помещалась великолепная пивная, сохранившая традиции старых русских кабаков: посыпанный опилками пол, бочки вместо столов, где под пиво давали моченый горох, соленые черные сухарики, а иногда можно было получить и настоящего рака. Мы почему-то называли ее “Три негодяя”. И пивные ларьки присутствовали чуть ли не на каждом углу.

Я так много пишу о питейных заведениях, потому что все мои друзья-приятели тех лет были, по сути, как и я, бездомными, а пивные — это единственные места, где можно было встретиться, пообщаться, поговорить, ну и слегка выпить для поднятия настроения. Это было отдушиной — выходом из тусклого быта и ощущения безнадежности. И еще была музыка.

* * *

Весна 1953 года была для меня, пожалуй, самым мрачным периодом жизни. И не только для меня. На горизонте маячила зловещая фигура Лаврентия Павловича Берии, с именем которого связывались самые страшные преступления сталинского режима. Ходили слухи, что где-то на

запасных путях Казанского вокзала уже стоят составы для перевозки, а в Биробиджане строятся бараки для приема сотен тысяч высылаемых из Москвы евреев. Так власти намеревались спасти этих космополитов и потенциальных предателей от справедливой народной расправы. С другой стороны, по случаю смерти Сталина правительство объявило амнистию заключенным со сроками до пяти лет. Это означало свободу для уголовников — для политических таких мизерных сроков не существовало.

Это Клим Ворошилов и братишка Буденный
Даровали свободу, и их любит народ, —

распевали тогда по России. Москва наводнилась криминалом. Стало небезопасно ходить вечерами по темным переулкам, а в коммуналках, по рассказам очевидцев, творилось черт-те что. Например.

Большая московская коммунальная квартира. Населяют ее интеллигентные в основном старушки и некто дядя Вася — алкоголик и хулиган, терроризирующий жильцов. Однажды, напившись до бесчувствия, он поджег кухню и бегал с ножом по коридору, угрожая зарезать каждого, кто выйдет из своей комнаты. Наконец общими усилиями спровадили дядю Васю в милицию, и сел он за решетку.

И следующая сцена.

1953 год. Старушки на кухне каждая на своей конфорке или примусе готовят еду. Открывается дверь, появляется пьяненький дядя Вася и объявляет: “Ежовы рукавички в жопке, а дядя Вася — будьте любезны! Ваша неудачка”. Вставные челюсти падают в суп.

Густая атмосфера страха и мрачных предчувствий несколько разрядилась к лету 1953 года — после ареста Берии.

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия,
Остались от Берии
Только пух и перии.
Растет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча —

пели тогда в Москве. А вскоре и Вячеславу Михайловичу вместе с Климентом Ефремычем дали коленкой под зад. И наконец мне удалось устроиться на работу — в отдел передвижных выставок Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР.

Была тогда такая организация в Москве. Сюда поступали заказанные и купленные государством у членов Союза советских художников произведения, которые по качеству не подходили для музейных экспозиций (т.е. второй сорт). Из этих квадратных километров живописи, тысяч тонн бронзы и мрамора отбирались работы для передвижных выставок и направлялись в разные города Советского Союза. На должность экскурсовода таких передвижек меня и приняли где-то летом этого года. Здесь я проработал два года.

Первая моя поездка была в Астрахань, вторая — с выставкой дипломных работ студентов художественных вузов СССР — по маршруту Ленинград, Вильнюс, Таллин и Рига, и третья — по городам Сибири и Дальнего Востока. Последняя шла под эгидой Министерства культуры СССР и Политуправления Советской армии и планировалась для показа в Домах офицеров разных городов от Омска до Владивостока, включая Томск, Новосибирск, Читу, Ворошилов-Уссурийский, Хабаровск и Комсомольск-

на-Амуре. Я соблазнился, потому что в маршрут входили Порт-Артур и Дальний, находившиеся тогда на территории современного Китая — какая-никакая, но все-таки за-граница (увы! за время нашего путешествия эти города были переданы КНР). Обслуживали выставку двое: директор и экскурсовод (я).

От поездки, длившейся год, у меня осталось ощущение какого-то разнообразного однообразия. В городах, почти во всех, где нам пришлось побывать, помпезные здания сталинской архитектуры в центре и убогие домишки, дощатые тротуарчики, проложенные через непролазную грязь на окраинах, неприглядность убогой, полусонной, нетрезвой жизни.

Помимо картин и скульптур советских художников мы везли и огромную, высотой в пять метров, панораму “Сталинградская битва”, и везде надо было нанимать рабочих для ее монтажа и для развески экспонатов. Шли к нам почти исключительно бомжи и подонки — рвань, пьянь и уголовщина. Без водки они работать отказывались. В Чите перед самым открытием выставки они объявили, что, если директор немедленно не выдаст им деньги на выпивку, они не только не будут работать, но и оторвут ему яйца. Директор от страха прятался в номере, и мне самому приходилось на свои деньги покупать поллитру, пить и вести с ними душеспасительные беседы, подчас довольно интересные.

В Ворошилове-Уссурийском единственным солидным зданием с единственным на весь город рестораном при нем был Дом офицеров. Здесь я в первый и последний раз в жизни играл в преферанс. Мы занимали двухкомнатный номер, и по вечерам у нас собиралась офицерская компания. Играли по-крупному и до утра. На другой день я или директор шли на выставку, а кто-то из нас от-

сыпался. Я играл осторожно и, как правило, оставался при своих. За ужином в ресторане под звуки оркестра — скрипка, расстроенное вдрызг пианино и баян — начиналось бурное офицерское веселье. С нами по нашему маршруту передвигалась по гастролям группа лилипутов, и они были важной частью ресторанных забав. Лилипута Петю, ростом с пяти- или семилетнего ребенка, офицеры передавали из рук в руки, поили водкой, официантки со смехом прижимали его к грудям, Петя вырывался, царапался, кусался, а потом пьяный на четвереньках взбирался по лестнице в свой номер. Зрелище было впечатляющее.

Зато из кабины грузовиков, на которых меня возили читать лекции по воинским частям, фабрикам, колхозам, школам, открывалась удивительная природа Сибири и Дальнего Востока: первозданная, не тронутая человеком сибирская тайга, пейзажи Забайкалья, с такими широкими горизонтами, с таким буйным цветением и горением красок всего растущего, которых я не видел нигде и никогда. Лекции я читал в основном о русском и советском искусстве, сопровождая рассказ показом через проекционный фонарь картинок, что вызывало удивление и восторг публики.

В затхлую атмосферу тогдашней культурной жизни уже начали проникать легкие дуновения будущей оттепели, и в своих экскурсиях и лекциях я старался доводить до сознания слушателей идеи неортодоксального отношения к искусству. Гвоздем нашей выставки была картина Лактионова “Переезд на новую квартиру”: баба, с умилением обозревающая новую обстановку, и пионер с портретом Сталина в руках. На ее примере я объяснял вредность для искусства натурализма и лакировки действительности. Публика реагировала на это спокойно: солдатам, школьникам, рабочим и колхозникам, которых группами привоз-

или на выставку, эти идеи были до лампочки. Были только две категории посетителей, возмущавшихся крамолой моих речей, — учителя и подполковники. Учителя сами точно знали, что и как надо говорить о советском искусстве; подполковникам, ожидавшим нового чина, следовало проявлять идеологическую бдительность. В таких случаях я держал вырезку статьи из “Литературной газеты”, где картина Лактионова подвергалась легкой критике. Вот, говорил я, читайте. И перед грозной непререкаемостью печатного слова возмущение улетучивалось: черт его знает, может быть, товарищ из Москвы имеет новые указания на этот счет.

В свободное от поездок и экскурсий время я в основном пил с местными художниками. Но из человеческих встреч и разговоров не запомнилось ничего интересного. Кроме одного случая.

В Хабаровске мне в номер подселили молодого лейтенанта-подводника, азербайджанца, ни имени, ни фамилии которого я не помню. Он только что завершил плавание на подводной лодке подо льдами Северного морского пути от Мурманска до Чукотки. Чукотка была первым после многонедельного (или многомесячного?) плавания выходом подлодки на поверхность, и здесь морячки в полную силу возмещали столь затянувшееся безбабье. По его рассказу, когда какой-нибудь чукча видел приближающихся моряков, он просто падал в снег и кричал: “Я самец, я самец!” И теперь мой новый знакомый свой законный отпуск проводил в номере хабаровской убогой гостиницы. Такое времяпрепровождение для офицера с деньгами показалось мне несколько странным. Но, как он объяснил, он просто боялся поехать в Азербайджан, где у него были крупные неприятности с идеологическим начальством из-за Шамиля: он считал его борцом за освобождение своего

народа, а официально Шамиль считался буржуазным наймитом и предателем.

С этим образованным, начитанным лейтенантом мы провели почти месяц под одной крышей. По утрам обычно мы вместе шли на выставку, а по вечерам развлекались как могли. Водки тогда в Хабаровске достать было невозможно, продавались только коньяк и шампанское. Напиток из смеси этих двух ингредиентов мой приятель называл “срочным погружением”. Однажды часа в два ночи мы выкатились из какого-то ресторана и натолкнулись на трех слегка поддавших парней. Завязался разговор, и они представились как курсанты местного мореходного училища. “А, мозги вам там засирают”, — заявил лейтенант-подводник. “Почему засирают?” — обиделись курсанты. “Ну, кто первый построил подводную лодку?” — “Кто? Никонов”. — “Да она у него при первом испытании затонула. Американец Фултон построил. А паровоз?” — “Известно, Черепановы”. — “Какие Черепановы! Англичанин Стефенсон. А телефонный аппарат?” — “Попов”. — “Черта с два, Попов. Маркони, итальянец”. На физиономиях курсантов отразилось полное недоумение, и вдруг один из них распахнул бушлат, из внутренних карманов которого торчали бутылки водки: “Ребята, пошли!..” Мы долго раскланивались и извинялись, что не можем составить им компанию. Время было уже слегка послесталинское.

Хабаровск был предпоследним пунктом нашего маршрута. Предстоял еще Комсомольск-на-Амуре. На поезде я поехал туда, чтобы осмотреть предназначенное для выставки помещение. От вокзала в город ехал в переполненном автобусе. Была ранняя весна, гололедица, едущий навстречу самосвал занесло, и его железным бортом срезало заднюю часть нашего автобуса. Многих поцарапало осколками, а женщину, сидящую сзади у окна, сильно поранило.

Ее вынесли, и она лежала на снегу, истекая кровью. Я выбежал на середину дороги, пытаясь остановить машину, чтобы доставить раненую в больницу, но “москвичи” и “победы” с сидящими в них офицерами осторожно объезжали меня и двигались дальше. Я крыл их матом, но их офицерскую честь это не задевало.

Этот барачный город, сохранившийся еще со времен комсомольского энтузиазма, сразу же внушил мне глубокое отвращение. Бегло осмотрев выставочное помещение, я сказал, что высота его недостаточна для нашей панорамы и что разместить здесь выставку мы не можем.

На вокзале и в поезде, на котором я возвращался обратно, шныряли освободившиеся из лагерей уголовники, благо Колыма была не за горами. В переполненном вагоне какой-то хмырь согнал пожилую женщину, сел на ее место, забросил рюкзак на третью полку и отправился с компанией в ресторан. Я озверел, взобрался на его третью полку и уснул. Проснулся, потому что хмырь тряс меня за плечо и требовал, чтобы я освободил место. Со мной иногда случалось, что злоба застилала глаза и при хлипкости телосложения и робости характера я готов был вцепиться в горло противнику. “Хочешь, чтобы я тебе в зубы дал?” — неожиданно для самого себя процедил я сквозь зубы. К моему удивлению, хмырь отстал, сел на свое место, а потом долго ругал меня соседям. На хабаровском вокзале я ждал расправы, но пронесло.

В Хабаровске я узнал, что Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина после размещавшейся в нем в течение пяти лет выставки подарков тов. Сталина возобновляет свою работу выставкой картин Дрезденской галереи и что музею требуются экскурсоводы. Работать в музее было пределом моих желаний. Я позвонил управляющему нашей дирекцией Макарову и попро-

сил разрешения оставить выставку и приехать в Москву. Поколебавшись, он разрешение дал. Я возвращался с опасением большого скандала из-за брошенной мною выставки. Но Макаров оказался порядочным человеком: наш телефонный разговор он подтвердил.

Воспользовавшись годичным отсутствием, к комсомольской организации я снова прикрепляться не стал и выбросил свой комсомольский билет.

Глава 5
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина (1955–1963)

Среди москвичей выставка картин Дрезденской галереи произвела настоящий фурор. После двадцатых годов выставки зарубежного искусства вообще не устраивались в Советском Союзе. Государственный музей изобразительных искусств — единственное место в Москве, где можно было увидеть работы великих европейских мастеров, — в 1949 году был отдан целиком под выставку подарков тов. Сталину от трудящихся всего прогрессивного человечества. А теперь тут Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Вермеер, Эль Греко... Тысячные очереди к музею тянулись по Волхонке, заворачивали на соседнюю улицу, и люди простаивали всю ночь, чтобы утром попасть на выставку. Для обслуживания этих толп требовались экскурсоводы, и нас набирали в основном из студентов искусствоведческого отделения. У меня было преимущество:

два года работы на передвижных выставках. Так я попал в музей, где проработал с пятилетним перерывом двенадцать лет.

После восстановления постоянной экспозиции музейных собраний я работал экскурсоводом, но вскоре был назначен редактором сборников научных сообщений ГМИИ. Зарплаты у нас были самые мизерные, но я Бога молил, чтобы их не повысили: ходили слухи, что музею собирались дать статус научно-исследовательского института с соответствующим повышением окладов. В таком случае сюда ринулась бы толпа бюрократов и карьеристов и работать стало бы невозможно. А так в этот культурный отстойник собирался в основном народ приличный — молодые искусствоведы, преданные искусству и увлеченные своей работой, и старая ученая интеллигенция, отсиживающаяся в этой тихой заводи от “вихрей враждебных” сталинского времени.

Главным хранителем музея был тогда Андрей Александрович Губер. Одновременно на искусствоведческом отделении он читал курс лекций по истории культуры эпохи Возрождения и сам по манерам и осанке был похож на аристократа времен Лоренцо Медичи. Как-то я и две мои сокурсницы сдавали ему зачет, сидя за круглым столиком в какой-то университетской аудитории. Одна студентка путалась с ответами, а другая наступала ей на ногу под столом, давая понять, что та ошибается. Зачет мы сдали.

— Что же ты, я же тебе на ногу наступала!

— Ничего подобного.

На ногу под столом она наступала Губеру. Неизвестно, что думал Андрей Александрович об этом заигрывании, но и во время зачета, и после он сохранял абсолютную невозмутимость.

Михаил Яковлевич Либман был ученым секретарем. Он родился и учился в Риге, после присоединения Латвии к СССР был призван в Советскую армию и войну провел на фронте. Либман был уникальный фактолог и в атмосферу музея вносил дух западной ученой корректности, не очень свойственный советским учреждениям.

Отделом Древнего Востока заведовал тихий человек и ученый востоковед В.В. Павлов. В свое время он успел отсидеть за какие-то антисоветские прегрешения (очевидно, это было еще в ранние, вегетарианские времена), а после освобождения был спрятан доброжелателями в подвале музейного хранилища. В университете он вел курс по истории искусства Древнего Египта и почти каждое свое утверждение об особенностях древнеегипетской культуры завершал неизменной фразой: “А впрочем, как знать”. Студенты, как и сотрудники музея, дали ему ласковое прозвище Водя. Исключительно под этим именем я его и запомнил.

Секретарем партийной организации музея была Александра Андреевна Демская — заведующая архивом. Под ее эгидой находилась тогда переплетная мастерская — небольшая подвальная комната с ее единственным обитателем Лево́й Турчинским. Ле́ве со всей Москвы приносили для переплета книги и рукописи, и его комната была полна нелегальщины. Здесь от пола до потолка громоздились кипы книг зарубежных издательств, комплекты эмигрантских журналов, раритеты дореволюционных изданий, а главное — самиздат. Самиздатскую литературу Лева охотно давал на короткий срок своим друзьям для прочтения. У него я впервые прочитал машинописные тексты “Август Четырнадцатого” Солженицына, “Николай Николаевич” Юза Алешковского, “Москва — Петушки” Венюки Ерофеева и многое другое.

В архиве у Демской хранились документы основателя музея И.В. Цветаева и рукописи его дочери Марины. Нам удалось опубликовать в “Сборнике сообщений ГМИИ” статью Марины Цветаевой “Открытие музея”. Кажется, это была первая публикация ее работы после двадцатых годов.

После Демской партийным секретарем музея стала Ксения Егорова. В партию она вступила, чтобы иметь возможность работать в зарубежных музеях, архивах и библиотеках. Она работала в отделе Запада и была человеком универсальных знаний во всем, что касалось искусства и не только, за исключением окружающей ее жизни. Как-то пошли мы с ней пообедать в столовую при ресторане “Прага”, благо ресторан находился неподалеку от нашего музея. Как раз в это время в Москву приезжал крупный голландский искусствовед, и Ксения показывала ему Москву, водила по театрам и музеям. Накануне они были в театре на постановке “Бани” Маяковского. Я спросил Ксению, как она смогла перевести сложный текст, в котором к тому же было много ненормативных слов.

— Да я и сама их не понимаю, — громким, хорошо поставленным голосом произнесла Ксения в переполненном помещении столовой, — вот я вижу, на стене написано “Х..”, а что это такое, не знаю.

От смущения я чуть под стол не свалился.

Она была к тому же глубоко религиозным человеком, о чем я узнал гораздо позднее, — когда она приезжала к нам в Лондон и Амстердам, а в письмах советовала мне со всеми моими неприятностями идти к батюшке. Можно представить себе, что это был за партийный секретарь.

Не думаю, что будет преувеличением, если я скажу, что с конца пятидесятых годов музей превратился в один из немногих в Москве оазисов в душной атмосфере еще торже-

ствующей культуры сталинского соцреализма, на страже которого прочно стояла Академия художеств СССР. Это было единственное место в столице, где можно было увидеть не только произведения великих мастеров прошлого, но и небольшой кусочек западного искусства конца XIX — начала XX веков. Московский музей нового западного искусства был ликвидирован еще в 1948 году, и всё от импрессионизма и далее трактовалось тогда как признаки маразма и разложения западного буржуазного общества. Да и всё классическое зарубежное искусство меркло перед завоеваниями великих русских мастеров: Крамской живописными качествами далеко превосходил Веласкеса, по сравнению с социальным пафосом картин Федотова или Перова Хогарт представлялся пустым болтуном, Босх, Грюневальд, Тернер своим отходом от реалистических принципов изображения служили черным силам реакции, и всё развитие мирового искусства стимулировалось непримиримой борьбой прогрессивных и реакционных тенденций. Однако, что бы ни говорили идеологи от эстетики, в университете наши учителя волей или неволей прививали нам иное отношение к мировой художественной культуре. Да и материал говорил сам за себя. В экскурсиях мы на картинах Клода Моне, Сезанна, Ван Гога, раннего Пикассо старались доносить до сознания слушателей неортодоксальные взгляды на этот предмет.

Нам удалось убедить начальство в важности привлечения в музей молодежи и учреждения для этой цели Клуба юных искусствоведов для старшеклассников (сейчас КЮИ располагает отдельным зданием при музее с новейшим оборудованием, там идут занятия для школьников всех возрастов). В залах музея мы проводили уроки описания и анализа произведений, возили учеников по памятникам древнерусской архитектуры — в Новгород, Влади-

мир, — учили основам атрибутирования, т.е. определяли по репродукции время написания, школу и мастера картины.

Разрушались стереотипы сознания, у людей формировалось новое отношение не только к искусству, но и к режиму в целом.

* * *

Когда я был назначен редактором сборников научных сообщений ГМИИ, в музее еще работали ученые дамы старшего поколения, выпускницы дореволюционных гимназий, институтов благородных девиц, смолянки: Н.М. Лосева, И.А. Кузнецова, К.М. Малицкая, Т.А. Боровая. Получившие солидное образование, свободно владеющие языками, они отгораживались от непонятной им советской действительности каждая рамками своей специальности. Так заведующая отделом Запада, испанистка, милейшая Ксения Михайловна Малицкая обитала где-то в Испании XVI века. Ее главным врагом был Шарль де Костер, который в своем “Тиле Уленшпигеле” оболгал благороднейшего, с ее точки зрения, короля Филиппа Второго.

Заведующей отделом античного искусства была Нина Михайловна Лосева. Однажды она привела в античный зал музея свою старую няню, и та, увидев голых Аполлонов и Венер, произнесла: “Стыдись, Нина! Ведь ты же девица”.

Эти старорежимные старушки обладали многими научными и человеческими достоинствами, кроме одного — писали они плохо. Да и как могли они писать хорошо? Путь к широкой прессе был им закрыт, писание дневников и эпистолярное искусство, на которых смолоду оттачивался лите-

ратурный стиль, стало занятием небезопасным. Мне приходилось переписывать их ученые статьи чуть ли не целиком. Зато из их рассказов выплывали фрагменты еще не написанной, неофициальной истории музея, которой они были живыми свидетелями. К сожалению, лишь немного из их рассказов сохранилось в моей памяти.

Рассказы музейных старушек

Товарищ Новиков

После ареста в 1937-м директора музея на эту должность был назначен некто Новиков. По профессии он был маляр. Первое время он не выходил из директорского кабинета и оживлялся только тогда, когда в музее шел ремонт. Тогда он появлялся в залах и распоряжался насчет колеров, шпаклевки, покраски и других хитростей своей профессии. Потом он несколько осмелел и появился в библиотеке. “Почему все шкафы с книгами открыты?” — спросил товарищ Новиков у испуганных сотрудников. Ему объяснили: ученые, мол, тут, специалисты, работают, читают... “Ну что ж, — сказал директор, — откройте один шкаф, а когда прочитают, откройте другой”.

Работал тогда в музее некий иранский коммунист, бежавший из своей капиталистической родины в страну победившего социализма. Очевидно, девать его было некуда, и отправили его в наш отдел нумизматики, благо разбирать арабские надписи на монетах он умел. Имя и фамилия иранца были трудно произносимы, и по созвучию прозвали его в музее Хрыч Поганых. Дисциплина была тогда строгая, и на беднягу стали поступать жалобы: он опаздывает после обеденного перерыва и отлучается с ра-

боты в разное неположенное время. Тогда Хрыч Поганых написал оправдательную записку директору, в которой объяснял, что у него то ли неполадки с мочевым пузырем, то ли расстройство желудка, в силу чего он вынужден ходить в общественную уборную, потому что в мужском сортире музея ему дует. На что товарищ Новиков наложил резолюцию: “Разрешаю ходить в женскую уборную”.

Ноябрь 1941 года. Назначен день эвакуации музейных собраний. Наши старушки, тогда молодые еще особы, снимают картины, демонтируют скульптурные группы, заколачивают ящики... Дело остается только за распоряжением директора. Но в назначенный день он не появляется. Не появляется он и на второй, и на третий день, после чего обнаруживается, что товарищ Новиков уже эвакуирован как ценный кадр.

Абрам Эфрос и Андре Жид

В 1936 году приезжал в СССР прогрессивный (после этого реакционный) французский писатель Андре Жид. В качестве переводчика к нему был приставлен Абрам Эфрос — блестящий эссеист, критик и переводчик. Пришли они в наш музей, и у писателя заболел живот. Проводили его в туалет, свита ждала снаружи, и вдруг из уборной раздался дикий крик: “*Papier! Papier!*” (Бумагу! Бумагу!). В следующем году Эфроса арестовали и сослали. Не исключено, что необеспечение прогрессивного писателя подтирочной бумагой инкриминировалось ему как вредительство.

Музей нового западного искусства

И еще запомнился мне рассказ о том, как в 1947 году ликвидировался Музей нового западного искусства. Инициатором ликвидации выступала Академия художеств СССР.

Очевидно, ее руководство преследовало две цели: с одной стороны, уничтожить этот очаг буржуазного разложения в искусстве, а с другой, захватить для себя морозовский особняк на Кропоткинской, где размещался музей, куда Академия и въехала сразу же после его ликвидации. Была назначена встреча Хрущева с руководством Академии. Узнав об этом, Виктор Никитич Лазарев — единственный из советских искусствоведов действительный член Академии наук СССР — помчался на встречу, чтобы объяснить члену ЦК нецелесообразность закрытия музея. Он опоздал. Когда Лазарев пришел в музей, он увидел, что на парадной лестнице особняка президент Академии художеств Серов что-то говорит Хрущеву, показывая на огромное панно “Танец” Матисса, а Хрущев громко хохочет. Сделать было уже ничего нельзя.

Экспонаты ликвидированного музея были распределены между ГМИИ и Государственным Эрмитажем, и было дано указание составить списки всех экспонатов для продажи за границу. Виктор Никитич убеждал сотрудников музеев затягивать дело как можно дольше. И они тянули. После смерти Сталина продажа была отменена. Так крупнейшее собрание нового западного искусства (бывшие собрания Щукина и Морозова) было сохранено для России. Кроме одного экспоната.

Вскоре после войны в Москву с правительственным визитом приезжал крупный американский бизнесмен (имя его не помню). Когда его водили по залам Музея нового западного искусства, Молотов снял со стены понравившуюся бизнесмену картину Ван Гога “Ночное кафе” и вручил ему ее в качестве подарка. Сейчас эта картина украшает Художественную галерею Йельского университета (США).

Глава 6

Всемирный фестиваль (1957) и художники

В процессе переоценки ценностей немалую роль сыграл Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957 году в Москве. Для дальнейшей истории России его значение трудно переоценить. Фестиваль впервые дал возможность советской публике познакомиться с современным зарубежным искусством. До смерти Сталина такой возможности людям предоставлено не было. Музей нового западного искусства был ликвидирован еще в 1948-м, в университете лекции по истории зарубежного искусства кончались на импрессионизме, все музейные экспозиции (ГМИИ, Эрмитажа, Третьяковской галереи) обрывались на восьмидесятих годах XIX века, ибо далее следовали лишь реакция и разложение. Правда, существовали за рубежом прогрессивные художники-коммунисты вроде Андре Фужерона, Рокуэлла Кента, Диего Риверы, но и их искусство не отвечало жестким стандартам соцреализма. Теперь начиналось легкое шевеление в этой области —

Хрущев явно заигрывал с так называемыми прогрессивными зарубежными кругами. В Москву приезжали Диего Ривера и Альфаро Сикейрос, и хотя первый был троцкист, а второй — оголтелый сталинист, возглавлявший первое (неудавшееся) покушение на Троцкого, и оба были отнюдь не соцреалистами, в художественных кругах им был оказан воистину царский прием.

Из всего, что называлось тогда “прогрессивным современным искусством”, творчество мексиканских художников дальше всего отходило от канонов соцреализма. Очевидно поэтому я и Инга Каретникова, с которой мы вместе учились, а потом работали в музее, заинтересовались и начали заниматься мексиканским искусством. В соавторстве мы написали большую статью в сборник “Современное изобразительное искусство капиталистических стран” (Москва, 1961) и неожиданно стали (за неимением прочих) специалистами в этой области. На огромной выставке “Искусство Древней Мексики” 1963 года — первой, устроенной в Союзе на правительственном уровне, — мы уже участвовали в устройстве экспозиции, вели занятия с экскурсоводами, я редактировал перевод каталога, Инга проводила по выставке Микояна...

Я тоже вел кого-то из членов ЦК (то ли Кириленко, то ли Кириченко). В узком проходе между витрин я обернулся к высокому гостю, чтобы пропустить его вперед, и вдруг почувствовал, что меня приподняли в воздух, повернули лицом в нужном направлении и опустили на пол; за мной стоял охранник с каменным лицом. Я нарушил этикет.

Занятие современным западным искусством еще казалось тогда делом небезопасным. Мало кто из искусствоведов занимался ХХ веком, а кто занимался, очевидно, не хотел рисковать. Поэтому меня в числе других сотрудников

нашего музея командировали на работу в выставочных помещениях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фестиваль приоткрыл нам “окно в Европу”, и сквозь эту щель вместе со свежим воздухом свободы хлынул в Москву поток иностранцев. Меня разыскали в музее два молодых англичанина и сказали, что привезли мне подарок от моего старого друга Алика Дольберга, теперь проживающего в Лондоне. Мы вышли в Итальянский дворик, где было мало народа, и они вручили мне две книги: “Мрак в полдень” (в последнем русском переводе “Слепящая тьма”) Артура Кестлера и “Звериную ферму” (“Скотный двор”) Джорджа Оруэлла — книги по тому времени криминальные. Мы стояли и беседовали у “Давида” Микеланджело, а в двух шагах торчал некий гражданин в штатском и внимательно прислушивался к нашему разговору. Когда я замешкался в поисках ручки, чтобы обменяться адресами, он любезно предложил мне свою. Я настолько увлекся содержанием этих книг, что сразу же начал их переводить, а потом читал переводы довольно широкому кругу друзей. Через какое-то время ко мне пришли два мальчика и, сославшись на кого-то из моих друзей, попросили дать им рукопись перевода “Мрака в полдень” Кестлера для перепечатки. Через несколько дней они принесли мне перепечатанный на машинке экземпляр. В дальнейших перипетиях судьбы мой экземпляр исчез, но другие ходили по Москве. Много лет спустя великий архивист Гарик Суперфин обнаружил один из них в столице (теперь он хранится в архиве Научно-исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете).

Перед тем как допустить нас к работе на фестивальной выставке, нашу команду вызвали на инструктаж к директору Института истории и теории искусства Академии художеств СССР Ф. Калошину. Дело было серьезное. В трех

павильонах, сооруженных в московском Парке культуры им. Горького, размещалось искусство молодых художников из тридцати шести стран мира. И чего тут только не было: сюрреализм, экспрессионизм, формализм, абстракционизм... Надо было давать отпор... противостоять... объяснять агрессивность... империалистический характер всех этих направлений в искусстве. (Ситуация повторилась в следующем году на выставке современного польского искусства, развернутой в московском Манеже. Нас опять посылали туда в качестве консультантов, чтобы объяснять публике вредность так называемого формализма в искусстве. Тогда и возникло ходячее выражение — “искусствоведы в штатском”).

Я работал в Первом павильоне, в котором размещалось искусство стран от Аргентины до Израиля (впрочем, израильские художники так и не доехали до Парка культуры: ящики с их работами уже после закрытия фестиваля были обнаружены на складе какого-то российского вокзала), принимал участие в устройстве экспозиции, а потом консультировал, т.е. не столько противостоял, сколько в меру своих способностей объяснял публике принципы подхода к современному искусству. Публика слушала внимательно, и, хотя не всё понимала, какой-то переворот в мозгах у людей все-таки происходил. Я могу судить об этом по судьбе самого директора института Ф. Калошина.

Он был партийным выдвиженцем откуда-то из глубинки, защитил кандидатскую об эстетических взглядах Ленина или о чем-то в этом роде и свои статьи подписывал “Ф. Калошин, философ”. О его высказываниях ходили анекдоты (“в Англии случился кризис, и рабочие руки потеряли почву под своими ногами”). И его история тоже похожа на анекдот. Очевидно, этот бедняга искренне верил в советские эстетические штампы и в то, о чем сам писал. Переворот в его сознании произошел, когда он попал на

фестивальную выставку. Он потом рассказывал одной своей сотруднице (моей знакомой): ну, разложением здесь, может быть, и пахло, но империализм? американская агрессия? международный заговор против СССР? Вместо этого он видел холсты, покрытые цветовыми пятнами, деформированные фигуры, странные пейзажи... Никакой идеологии во всем этом он усмотреть не мог. Результат был печальный: Калошин возненавидел свою Академию, жаловался, что эти налбандяны, дейнеки, кукрыниксы, лауреаты готовы за государственный заказ глотку перегрызть друг другу. Вскоре он умер. На вид ему можно было дать лет пятьдесят.

Но больше всего были потрясены увиденным наши молодые художники. В одном из павильонов помещалась открытая мастерская, где иностранные гости могли на глазах у публики создавать свои шедевры. Один из них, Гарри Калман (или Колман; я потом ни в каких книгах и каталогах не встречал этого имени), явный последователь Джексона Поллока, расстилал на полу большой холст, ставил рядом ведра с красками и большой кистью набрызгивал на него эти краски. Эффект был сногшибательным! Другие демонстрировали иные, но тоже невиданные у нас творческие процессы.

Для наших начинающих художников все это было настоящим открытием. Новое отношение к объекту искусства — будь то материальная реальность или внутренний мир художника — новые методы воплощения такого отношения накладывались на их собственный опыт, на собственную реальность и придавали их работам своеобразный характер, отличающий их от работ западных мастеров и течений, от которых они отталкивались.

Так, Анатолий Зверев — один из самых талантливых художников его поколения, — ассимилировав идущий от

Джексона Поллока (или Гарри Калмана) метод спонтанного творчества, произвел на свет нечто, что я бы назвал фигуративным ташизмом — сочетание, казалось бы, несовместимое. Он набрызгивал краску на холст или на лист бумаги, кистью наносил, казалось бы, беспорядочные, хаотичные мазки — все это занимало у него несколько минут, и в результате получался вполне узнаваемый пейзаж или очень похожий на оригинал портрет.

Мы с ним подружились. Когда ему негде было ночевать, он со своей подругой Надей Румяной приходил в нашу семиметровую комнату и спал под столом. При всей его бродяжнической внешности было в нем нечто джентльменское. Он приходил в оборванном пальто, повязанный ветхим шарфом, но всегда доставал из кармана чистое полотенце и собственный стакан для водки. Как-то он одолжил у меня три рубля на бутылку, а потом при каждой встрече извинялся, что в данный момент не может отдать долг. “Да бросьте, Толя, забудьте!” — всякий раз говорил я ему. Наконец мы встретились у Бориса Петровича Свешникова, и опять он извинялся, а потом сказал: “Ну давайте я вас нарисую”. Он взял большой лист бумаги и угольным карандашом, не отрывая руки и ни разу не посмотрев на меня, не больше чем за полминуты сотворил удивительный по сходству и внутренней выразительности мой портрет. Ему не надо было смотреть на свои модели — их обобщенный образ уже существовал в его сознании (или в подсознании), и оставалось только перенести его на холст или бумагу. Иногда Зверев клал на пол несколько листов и в течение нескольких минут заполнял их краской. Конечно, такой метод (как и у Поллока или у Фрэнсиса Бэкона) не всегда приносил результаты.

Зверева поддерживал тогда Георгий Дионисович Костаки: каждую неделю Толя приносил ему свою продукцию

и получал некоторую сумму. Без этого он едва ли выжил. Много позже, уже в эмиграции, Костаки пригласил меня к себе в Афины, чтобы разобрать работы Зверева. У него были десятки, если не сотни его листов. Мы раскладывали их в стопки по качеству: блестящие, отличные, хорошие, средние. Самой тонкой была первая стопочка, самой большой — последняя.

С Володей Яковлевым я был знаком раньше. Он работал тогда фотографом в издательстве “Искусство”; по моей просьбе он фотографировал картинки для моего диплома. Володя уже тогда был полуслепым. Когда он приходил в музей, он рассматривал картины, буквально водя носом по их поверхности. Я часто встречал его на фестивальной выставке. Вскоре после этого он показал мне свои рисунки: некие кубистические разложения формы предметов. Я испугался: как может полуслепой заниматься анализом формы, что требует достаточно острого зрения? В дальнейшем я не заходил к нему, опасаясь показать свое отношение к такого вида творчеству. Однако Яковлев вскоре нашел себя: его яркие, фантастические цветы и птицы были как бы просветленно-лирическими эманациями одиночества художника.

Так же, каждый по-своему, преломляли западный опыт и художники, которых я знал, — Оскар Рабин, Дима Плавинский, Александр Харитонов... Можно с уверенностью сказать, что фестиваль 1957 года дал мощный толчок тому, что со временем получило наименование советского неофициального искусства.

С Борисом Петровичем Свешниковым — этим удивительным художником и человеком — я познакомился еще в конце пятидесятых годов. Как-то я зашел в нашу музейную реставрационную мастерскую и на столе у моей приятельницы Гали Ерховой увидел картину: вечер, городская площадь, телефонная будка, девочка... Вначале картина мне

показалась произведением кого-то из наших доморощенных сюрреалистов. Но вся сцена была проникнута настроением такого пронзительного одиночества, что у меня засосало под ложечкой.

Галя привела меня к Свешникову, и мы стали друзьями. Его творчество сформировалось задолго до фестиваля. В 1946 году семнадцатилетний студент Московского института прикладного и декоративного искусства Борис Свешников был арестован на улице, когда шел в соседнюю лавочку покупать керосин. Его приговорили к восьми годам лагерей за якобы участие в группе, якобы готовящей покушение на Сталина.

Два года он провел на самых тяжелых работах, после чего был списан как доходяга в лагерьный госпиталь. Друзья помогли ему устроиться ночным сторожем при каком-то заводике в лагере Ветлосян, где он и пробыл до конца срока. По ночам в своей каморке он рисовал.

Его сохранившиеся лагерные работы (больше ста рисунков и десятка два картин) являются уникальными не только для русского, но и для всемирного искусства XX века (таково мое глубокое убеждение). До своего ареста Свешников даже слова такого не слышал — сюрреализм. Но то, что в двадцатых годах создавалось в мансардах Парижа, он в сороковых увидел в реальности сталинских лагерей — ирреальность жизни, хрупкость существования человека на этой земле, банальность зла.*

После освобождения Борис Петрович с женой Олей и ее сыном жил на Усачевке в двухкомнатной квартирке, доставшейся ему после смерти его отца. Сдержанный, немногословный, как будто еще не совсем оттаявший после лаге-

См. об этом статью А. Синявского “Белый эпос”, опубликованную в сборнике “Аполлон” и мой альбом “Лагерные рисунки Бориса Свешникова”, изданный в 2000 году московским обществом “Мемориал”.

рей, он тем не менее был открыт людям, полон интереса ко всему новому, что происходило тогда в искусстве. Я как-то привел к нему Синявского, и мы — Зверев, Плавинский, Меньшутины — часто собирались за его гостеприимным столом, выпивали, разговаривали и — главное — смотрели его новые работы. То, что в них изображалось, было похоже на постапокалипсис: как будто свернулся свиток времени, и художник беспристрастно созерцал и фиксировал новые причудливые произрастания человеческой жизни.

Начинались времена выставок неофициального искусства. Когда художники-нонконформисты просили у него работы для выставок, он давал, но сам участия в новом движении не принимал. В нем еще гнезвился холод сталинских времен, и он понимал, что вторичной посадки не выдержит. Неофициальным искусством начинали интересоваться и коллекционеры. Одним из первых пришел к Свешникову Костаки и захотел купить одну его картину. Потом Георгий Дионисович пересказал мне состоявшийся у них разговор:

— Сколько вы хотите? — спросил Костаки.

— Ну, я не знаю.

— Тысячу рублей?

— Нет, за такие деньги я не продаю.

— Так сколько?

— Рублей двести–триста.

Они поторговались и сошлись на половине.

* * *

Как-то в начале шестидесятых Борис Петрович Свешников привел меня к удивительному, по его словам, художнику — к Олегу Кудряшову. Олег жил тогда в старом доме на

Басманной в комнате, окна которой выходили на большой московский двор. Часами он стоял у окна, наблюдая за его обитателями и воплощая увиденное в сотнях гротесковых рисунков. Каждая фигура-загогулина в его композициях имела для него свой характер и биографию, и, показывая свои рисунки, Олег выкрикивал с энтузиазмом что-то вроде: “Это дядя Вася — алкаш из двенадцатой квартиры, а это Петька, из тюрьги недавно выпущенный”. И параллельно он делал тогда абстрактные офорты-миниатюры. Он резал по цинковой доске, оставляя металлическую стружку, впечатывал ее в офорт, а потом раскрашивал бумагу акварелью. Вкрапленная цинковая стружка сообщала листу какое-то серебристое сияние, что в сочетании с мягкими наплывами краски придавало офорту удивительное изящество — как будто в тяжеловесную атмосферу Москвы вторгался легкий аромат французского рококо. Такие офорты он соединял в небольшие книжечки-раскладушки.

Художественное образование Кудряшова ограничивалось его посещением изостудии при Доме пионеров. Тем не менее уже к началу шестидесятых в узких художественных кругах Кудряшов завоевал репутацию одного из самых оригинальных по технике и серьезных московских графиков. Гравюрный кабинет нашего музея и Третьяковская галерея время от времени покупали у него две-три работы. Стараниями художников, понимавших его творческий потенциал, Кудряшова приняли в члены МОСХа. Но с точки зрения высокопоставленных бюрократов от искусства, Кудряшов занимался вредной чепухой. Ну что, собственно, подлинного и эстетически значимого можно найти в этих алкашах, инвалидах, темных старухах, прячущихся на задворках социалистической Москвы? И что означают его листы, на которых, кроме кругов и зигзагов, ничего не изображено?

Да и сам Кудряшов, несмотря на обретенный официальный статус, не мог, да и не хотел вписываться в творческую атмосферу Союза — ни в его старую соцреалистическую идеологию, ни в новые, так сказать, прогрессивные движения. Он оставался в стороне и от неофициальных художников, выходивших тогда из подполья и заявляющих о своем существовании выставками в частных квартирах и в некоторых внехудожественных учреждениях. Он оставался один, ощущая себя спокойно только наедине со своим творчеством, а от остального бежал как черт от ладана. Такая позиция обеспечивала абсолютную творческую независимость, но средств к существованию не давала никаких. Когда есть было нечего, Олег ложился на диван, чтобы сохранять силы для работы. Долго так продолжаться не могло. Летом 1974 года Олег с восьмилетним сыном и женой Диной отправился в эмиграцию по израильской визе, каковой был обязан еврейскому происхождению жены.

* * *

Где-то году в 1958-м я, к собственному удивлению, был назначен и. о. ученого секретаря нашего музея. Директором был тогда Александр Иванович Замошкин — искусствовед еще сталинского толка, занимавшийся раньше борьбой с формализмом в советском искусстве, но человек мягкий и осторожный. Больше всего он боялся каких-либо неприятностей для музея и для себя. В мои обязанности в числе всего прочего входило отвечать на письма, приходившие из зарубежных музеев, и, когда я приносил ему отпечатанный по-русски текст ответа, он внимательно прочитывал письмо, находил обязательно что-то неладное со знаками препинания, отсылал его для перепечатки, а потом клал

письмо в стол и никуда его не отправлял. Но, как я понимаю, он так же оставлял в столе и доносы на нас, не желая непредсказуемых результатов — времена были идеологически нестабильные. А доносов, очевидно, было предостаточно. Я читал лекции по современному зарубежному искусству от Общества по распространению политических и научных знаний в разных городах, и мои неортодоксальные высказывания вызывали у советских людей естественную реакцию. Наш начальник отдела кадров Николай Иванович Прохоров приходился (тесен мир!) дедом падчерице Галича Галке Шекрот, которая тоже работала в музее и с которой мы дружили; он вызывал нас в свой отдел и отечески предупреждал о грозящих нам неприятностях по этому поводу.

От скуки административных дел меня спасало постоянное общение с Б.Р. Виппером. Борис Робертович был научным руководителем моей дипломной работы по нидерландскому искусству XV века, которую я защитил в 1956 году, а в музее он занимал должность заместителя директора по научной части, и мы сидели в одном кабинете.

С 1924 по 1941 год Виппер жил и работал в Риге, и, в отличие от большинства наших ученых искусствоведов, перед ним были открыты двери крупнейших музеев мира: он видел в подлинниках то, о чем писал. Конечно, как и все, он был вынужден в своих трудах прибегать к обязательным штампам, вроде “борьба реалистических и нереалистических тенденций” в искусстве того или другого времени, ссылаться на классиков марксизма-ленинизма, но за всей этой идеологической шелухой скрывались блестящие анализы и поток оригинальных идей. Его занятия исключительно зарубежным искусством, естественно, повлекли за собой обвинения в космополитизме: в 1948 (или в 1949) году он был изгнан из университета, где был заведующим

кафедрой западного искусства. Но от более жестких репрессий его спасло положение его отца: академик Роберт Юльевич Виппер снискал особое расположение Сталина за свою книгу об Иване Грозном, в которой оправдывал жестокость царя его целью создания великого государства Российского (Сталину нравились такие аналогии). Борису Робертовичу часто приносили для определения картины, предлагаемые для закупки. В таких случаях он приглашал меня как бы для соучастия, а на самом деле преподавал мне урок атрибуции. Из этих уроков я усвоил раз и навсегда, что только видение вещи, только натренированный глаз искусствоведа придают ценность и смысл всему, о чем бы он ни писал, — будь то история, теория, социология искусства или художественная критика. Формальный, семиотический, структуралистский подходы к искусству, ставшие модными с шестидесятых годов, вызывали у меня недоверие.

Но здесь пора прервать ход воспоминаний о музее, ибо моя дальнейшая судьба определялась в основном внемузейными событиями.

Глава 7

Синявские, Хлебный переулок, Север

Вернувшись в 1955 году в Москву после годичной поездки с передвижными выставками, я обнаружил, что у моей старой приятельницы Майи Розановой-Кругликовой начался бурный роман с Андреем Донатовичем Синявским. Вскоре они поженились и Майя переехала к Андрею.

Они жили тогда у Синявского в доме № 9 в Хлебном переулке: комната в коммунальной квартире плюс подвальчик, который Андрей превратил в рабочий кабинет и куда скрывался от докучливых гостей. Сюда как-то привела меня Розанова, и я тут прижился.

Сначала мы с Синявским, если можно так выразиться, приючивались друг к другу. Ведь жили мы среди людей, в массе своей чужих, часто опасных, и только внутренним чутьем, по каким-то трудноуловимым признакам распознавали родственные души. Бродский пишет в своих воспоминаниях, что в его компании выбирали друзей по признаку — Фолкнер или Хемингуэй? Наше поколение в та-

ком отборе было вынуждено руководствоваться не только эстетическими, но и политическими признаками. В том и в другом у нас было много общего. Отец Синявского, бросив свое дворянство в огонь революции, вступил в партию кадетов, при советской власти сидел (как и мой отец), был сослан, и если бы нас спросили — Пикассо или Герасимов, Платонов или Бабаевский? — наши ответы бы совпали.

Синявский работал тогда научным сотрудником Института мировой литературы им. Горького и преподавал в театральном училище МХАТа. По вечерам в Хлебном собиралась веселая компания. Приходил с гитарой Володя Высоцкий, который учился тогда в училище, где преподавал хозяин дома, кто-то еще из его учеников, его старый друг и коллега Андрей Меньшутин с женой — добрейшей Лидией... Под водочку и скромный закусон распевались блатные песни.

Высоцкий, как я понимаю, тогда еще своих собственных песен не сочинял. Он пел старые лагерные — “Течет реченька...”, “Летит паровоз...”, но пел, так растягивая интонации, придавая трагическим ситуациям такой надрыв, что старые песни обретали совершенно новое звучание — звучание его собственных — будущих — песен. И еще удивительнее были его рассказы-импровизации — своего рода театр одного актера — о космонавтах, о трех медведях, которые “сидели на ветке золотой, один из них был маленький, другой качал ногой”, и этот, качающий ногой, был Владимир Ильич Ленин, а медведица — Надежда Константиновна Крупская. Это было так смешно, что от хохота у меня потом болели затылочные мышцы. Не знаю, сохранились ли записи этих импровизаций — я потом никогда их не слышал, но, если они пропали, это было бы большой потерей для театрального искусства.

Синявский, обычно замкнутый, скорее молчаливый в обществе, тут расслаблялся и с вдохновением распевал “Абрашка Терц схватил большие деньги...”. Имя “Абрам Терц” он взял в качестве псевдонима для своего подпольного творчества. Почему? — но об этом сам Синявский написал в своем романе “Спокойной ночи”.

Где-то в 1955 или 1956 году он начал читать свои подпольные сочинения — “Пхенц”, “Суд идет”, “Горол Любимов” и другие — очень узкому кругу друзей. Но о том, что он пересылает свои рукописи за рубеж, знали только Меньшутины, Даниэли и я. К чему это привело, хорошо известно, но об этом еще речь впереди.

* * *

Интересы Синявского выходили далеко за пределы его литературных исследований в институте. В их сферу входили церковный раскол XVI века, православные ереси, искусство русского и европейского авангарда, блатные песни — жанр, который он считал неотъемлемой частью народного фольклора и который в какой-то степени даже занял его место в советское время. Майя работала тогда в области архитектурной реставрации, в частности, принимала участие в реставрации храма Василия Блаженного, интересовалась народным прикладным искусством и древнерусской церковной архитектурой. Их интересы во многом совпадали, и это влекло их на Русский Север, тогда еще не затронутый советской цивилизацией.

Свое первое путешествие по реке Мезени Синявские совершили в 1957 году. На следующий год они пригласили с собой меня. В Москве мы приобрели лодочный мотор, в деревне где-то под Вологдой купили у рыбака старую

лодку и под трещание вечно глохшего мотора отправились вверх по течению Мезени.

В верховьях реки на сотни километров виднелись по берегам брошенные деревни: пустые добротные избы-пятистенки, полуразрушенные, изгаженные старые церкви... В некоторых таких храмах еще стояли древние разрозненные иконостасы, а части их и настенные иконы валялись на полу, покрытые толстым слоем птичьего помета. Майя очищала их от грязи и навоза, проводила ваткой со скипидаром по их черным поверхностям, и под ними часто проглядывало письмо XVI–XVII веков.

В низовьях реки в деревнях еще обитала часть их прежнего населения, но и тут — пустые избы, церкви со сбитыми крестами, разрушенными куполами, сквозь которые дожди и снега, в зависимости от времени года, поливали и засыпали сохранившиеся в них доски с иконописью. Местное население использовало их для хозяйственных нужд. Иконами забивали дыры, на них рубили капусту, ими прикрывали бочки с соленьями (наш друг Коля Кишилов, работавший реставратором в Третьяковской галерее и в более поздние времена отправляющийся в экспедиции за иконами, в одной из деревень увидел окно, забитое иконой лицевой стороной наружу — под ее глухой черной поверхностью обнаружился “Спас” XIII века: сейчас эта икона украшает зал древнерусской живописи Третьяковки). Но старшее поколение, в основном старушки, относилось к иконам более бережно. Так однажды Синявские в одной избе увидели икону древнего письма и предложили ее купить. “Нет, — сказала хозяйка, — если для храма, то я так отдам”. “Не для храма”, — сказал Андрей, и мы удалились несолоно хлебавши.

В те времена еще не наступил иконный Клондайк, настоящие разбой и грабеж на виртуальном пространстве

Древней Руси. Не могу удержаться, чтобы не отклониться в сторону, не забежать вперед и не поведать в связи с этим о печальной истории музея в Каргополе.

Это было в начале шестидесятых годов. Во время одного из наших путешествий по Северу (уже без Синявских) мы заехали в город Каргополь. На центральной площади в бывшем городском соборе размещался краеведческий музей. Тут были собраны предметы народного искусства из мест, бывших до революции центрами художественных промыслов Севера: прялки, шитье, кружева, расписные подносы и туески, иконы... Более богатого собрания народного прикладного искусства я больше не встречал. Директором был коренастый мужичок лет пятидесяти (звали его, кажется, Николай Иванович). Мы зашли к нему в кабинет посоветоваться о нашем дальнейшем маршруте. Во время разговора вошли двое мальчишек, очевидно, из юных следопытов: “Николай Иванович, мы иконы принесли”. Две большие доски из иконостаса XVII века. “Положите под шкаф”, — сказал директор, не обернувшись.

Декабрь 1965 года: организованный А. Есениным-Вольпиным митинг на площади Пушкина под лозунгами “Уважайте Советскую Конституцию” и “Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем”. Мы решили на время увезти совершенно издерганную Синявскую в Каргополь от допросов, от КГБ, от шума, поднятого процессом, чтобы она немного пришла в себя. Поехали вчетвером: Майя, я и наши старые друзья Глеб Поспелов и его жена Маша Реформатская. Естественно, прежде всего мы пошли в музей. То, что мы тут увидели, было похоже на страшный сон. Никакого искусства тут не было. Один зал был отведен фотографиям каргопольского хора, получившего какую-то премию, в другом экспонировались зуб мамонта, чучело зайца, еще какие-то предметы местной флоры и фауны и т.

д. Розанова со свойственной ей любознательностью помчалась к директору узнать, что случилось. Новая директриса растерялась: “Ничего не знаю. Идите в отдел культуры горкома”. Мы отправились в горком, благо он находился рядом — на другой стороне площади. Начальник отдела культуры тов. Носова встретила нас враждебно: “Какие иконы? Ничего не было. Что вам надо и кто вы такие?” На эти вопросы Глеб достал из кармана красную книжечку, на обложке которой было начертано золотыми буквами: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР (Глеб работал в Научно-исследовательском институте истории искусств при этом министерстве). При виде такого документа тов. Носова сникла: “Товарищи... Да, вышла неприятная история...” История вырисовывалась поистине удивительная.

Бывший директор был человек скромный. Ну, выпивал немного, зато детей отправил учиться в Ленинград, надо было их содержать, а зарплата была мизерная. И Николай Иванович (будем называть его так) начал распродавать экспонаты музея. Сначала поштучно, а потом оптом: из Москвы приезжали, загружали машины и увозили работы — кто для своих коллекций, а кто для продажи. Самое поразительное в этой истории заключается в том, что деньги от продажи музея не покрывали его достаточно скромных нужд. Но кроме директорства он был еще председателем охотничьего общества, которое строило в лесу какие-то домики для охотников. И вот на махинациях с этими домиками он и попался. Разбазаривание музейных коллекций почему-то никого не интересовало. И тут комедийный характер событий оборачивается трагедией. Николай Иванович сжег все инвентарные книги, достал из витрины старый пистолет, вышел из музея и застрелился, оставив после себя записку: “Прошу похоронить меня как собаку, а шубу отдать тому, кто меня похоронит”.

Но пора вернуться к моему путешествию с Синявскими.

Главным интересом Андрея были не столько иконы, сколько книги. Когда-то жившие в этих местах старообрядцы устраивали в подвалах своих домов так называемые скрытни, где обитал какой-нибудь ушедший от мира и несправедной, с точки зрения сторонников старого обряда, церкви монах и занимался переписыванием книг. Один из таких скрытней Синявские обнаружили еще во время их первого путешествия, и теперь они снова пришли сюда, захватив с собой и меня. Это было большое, во всю площадь избы, помещение без окон, с низким потолком, буквально заваленное бумажной продукцией. Рукописные жития, апокрифы, старопечатные Библии, Четыи минеи, старообрядческие молитвенники — все это кучами громоздилось на полу как ненужный хлам. Потомки этих книголюбов, еще жившие в избе, никакого интереса к книгам не проявляли, ценности их не видели и использовали только как бумагу для сигарок. “За пятерку — сколько унесешь!” Мы грузили эти сокровища в лодку, а потом, уже в крупных населенных пунктах в низовьях Мезени, Синявские по почте отправляли их на Хлебный.

Я тогда больше интересовался нидерландскими художниками XV века, чем древнерусскими памятниками. На остановках ловил рыбу, в деревнях с интересом прислушивался к разговорам Синявского со стариками — о прошлом, о жизни, о вере, с приятным удивлением созерцал жизнь этих местных людей с их традиционным устойчивым бытом, с прочными моральными устоями, с готовностью всегда помочь ближнему. Как будто из Советского Союза мы попали в сохранившийся каким-то чудом обломок старой Руси. Когда у нас ломался мотор, чуть ли не половина мужского населения деревни собиралась

вокруг этой чертовой машинки, чтобы привести ее в порядок. Деньги за работу они брать отказывались. Такой же отказ мы получали, когда хотели заплатить за ночлег (обычно на сеновале), за молоко, за скромное угощение. Майя, наученная прошлым опытом, возила с собой фотоаппарат “Момент”, который делал снимок и тут же выдавал карточку. Однажды утром, когда мы спустились с сеновала, перед нами открылось зрелище умилительное. По всей улице на завалинках, скромно потупившись, чинно сидели старухи в черных, очевидно, лучших своих платьях, молодухи в нарядах, некоторые в кокошниках, с детьми, причесанными, помытыми, принаряженными. “Сними их”, — толкнула Майю локтем в бок наша хозяйка. В избах, как правило, на месте прежних иконостасов были приклеены семейные фотографии: молодожены, умершие близкие, brave солдаты — снимки, присланные из армии. Но Майя была первым фотографом, появившимся в этих местах за много лет.

* * *

Синявские заразили меня Севером. С тех пор каждое лето за редким исключением я с разными компаниями отправлялся в путешествия по Двине, Вычегде, Слуди... Как-то на суденышке, перевозящем сено, мы добрались до Соловков — в первый год, когда с этого зловещего места был снят запрет на его посещение посторонними. Здесь царили тогда хаос и запустение. В соборе Петра и Павла через какую-то дыру в стене нам удалось спуститься в нижние помещения — коридоры, кучи сваленных лозунгов, плакатов, поломанной мебели, пустые комнаты — то ли кабинеты следователей, то ли камеры для допрашиваемых... Но

больше всего меня поразил здесь сортир: за дверцей поднималась длинная лестница, а наверху, как царский трон, стоял массивный унитаз. Очевидно, это заведение предназначалось для личного пользования если не начальника лагеря, то кого-то из высокого начальства.

В последние годы перед эмиграцией излюбленным местом моих летних поездок был район Шимозера в Коми ССР. Из поезда Ленинград — Архангельск надо было выйти на каком-то полустанке (название я забыл), а потом идти пешком пятьдесят километров, таща на себе тяжелые рюкзаки с продуктами. Во время войны через этот район проходила дорога, по которой шло снабжение осажденного Ленинграда. За годы войны ее сильно растрясло, и восстанавливать ее не стали. Вместо этого район просто ликвидировали. Когда мы спрашивали у местного населения, как дойти до места, нам отвечали: “А, Шимозеро? Советской власти там нет”. Советской власти там действительно не было: не было электричества, радио, почты, магазинов — все коммуникации с этим районом были отрезаны. По рассказам местного населения, была и другая причина таких мер: где-то тут были расположены секретные подземные аэродромы. Никаких следов их присутствия не было заметно, только днем с неба раздавался такой грохот, что рыбы в озере на полметра выскакивали из воды: очевидно, это брали барьер высоты реактивные самолеты.

Жили здесь вепсы — угро-финская народность со своим языком и даже когда-то письменностью. Их не выселяли, их просто лишили всего необходимого для жизни. Молодые с семьями разъехались кто куда, остались немногие старики. В большой деревне, в которой мы обычно останавливались, жил только один старик, на другой стороне озера — две старухи. Старик ловил в озере щук — гигантских, двухметровых (таких я никогда больше не видел),

сушил их в печке, а зимами по снежку на санках вез свою добычу продавать. Обрато он привозил соль, спички, чай, сахар, чем, помимо рыбы, снабжал своих подопечных старух.

Может быть, моя любовь к Северу подогревалась воспоминаниями о Колыме. Хотя природа северной России была мало похожа на колымскую лесотундру, но то же безлюдье, те же просторы вызывали ощущение если не свободы, то воли. Хотя лагерей и уголовщины в Коми АССР тоже было предостаточно.

Глава 8

Пляски вокруг Пикассо

На XX съезде КПСС Хрущев выступил с осуждением Сталина. Его письмо зачитывали в учреждениях на закрытых партийных собраниях. Почему закрытых, если я присутствовал на таковом у нас в музее? Некоторые плакали. Но с содержанием этого тайного послания мы были уже знакомы: отчим Розановой майор политуправления Пограничных войск Левитан, чуть ли не единственный еврей, сохранившийся в этом управлении, как-то вечером принес его со службы, и мы с удовольствием прочитывали хрущевские инвективы в адрес вождя всего прогрессивного человечества. В Москве запахло оттепелью.

Где-то осенью 1958 года ко мне обратилась редактор издательства “Знание” Велта Пliche с предложением написать брошюру о Пабло Пикассо. Французский коммунист, известный борец за мир был награжден тогда Премией мира, а издательство “Знание” должно было выпускать книжки о каждом очередном лауреате этой советской премии. К предложению Велты я отнесся скептически: о Пи-

кассо можно было писать тогда, лишь восхваляя его прогрессивную идеологию и осуждая за буржуазные формалистические выкрутасы в искусстве. Ни того, ни другого мне, естественно, делать не хотелось. С другой стороны, написать что-то о Пикассо было соблазнительно.

Своими сомнениями я поделился с Розановой, и она с ее склонностью к авантюрам предложила мне в соавторство Синявского. Синявский с Андреем Меньшутиным писал тогда книгу “Поэзия первых лет революции” (опубликована в 1964 году), и связи советского революционно-авангарда с художественными течениями Запада входили в сферу его интересов. Творчество Пикассо Синявский знал, любил и — неожиданно для меня — согласился.

Понимая, что шансы на публикацию книги о Пикассо нулевые, мы с Андреем решили писать, не оглядываясь на цензуру, запреты — так, как если бы писали в свободном мире. Мы поделили материал, приступили к работе, и к лету рукопись (примерно сто страниц) была готова. Скорее всего, на этом дело бы и закончилось, если бы не наш редактор Велта Пliche. Рукопись она послала на отзыв Эренбургу, Илья Григорьевич дал очень положительную рецензию и обещал написать предисловие. Рецензия Эренбурга была достаточно авторитетна, книга была подписана в печать и издана тиражом в сто тысяч экземпляров. Это стало возможным единственно потому, что издательство “Знание”, находившееся непосредственно при ЦК КПСС, занималось делами политическими и никакого отношения к искусству не имело. Его руководство о творчестве Пикассо могло иметь представление только по рисунку “Толубь мира”, который и украсил обложку нашей книги.

Скандал разразился, когда о книге узнали идеологи сталинского соцреализма из Академии художеств СССР.

Содержание нашей книжки было оценено ими ни больше ни меньше как идеологическая диверсия, направленная на подрыв основ искусства социалистического реализма. Эти сталинские лауреаты сохраняли прочные связи с верхушкой партийной администрации, и связи заработали. Началась интенсивная переписка между главными боссами партийного аппарата. 12 января 1961 года заводделом пропаганды и агитации ЦК КПСС Л. Ильичев докладывает главному идеологу ЦК М. Суслову: “Издательством «Знание» Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний выпущена стотысячным тиражом брошюра И. Голомштока и А. Синявского «Пикассо»... В этой брошюре авторы основное внимание обращают не на те стороны творчества Пикассо, которые сближают его с реалистическим искусством, а на его формалистические и абстракционистские произведения... Тираж брошюры отпечатан, однако распространение его задержано”. Суслов задает вопрос: “А как быть с брошюрой?” Ответ скоро был найден: весь стотысячный тираж книги пустить под нож.

С другой стороны, Эренбург — старый друг Пикассо, председатель Общества дружбы “Франция—СССР” — был очень заинтересован в ее публикации и тоже нажимал на свои педали. В результате, явно с его подачи, в газете “Юманите” — главном органе французской Коммунистической партии — появилась статья под броским заголовком: “В СССР ВЫХОДИТ КНИГА О ПИКАССО ТИРАЖОМ В СТО ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ” (“Юманите” и содержалась в основном на деньги художника). Приказ об уничтожении тиража был приостановлен, но книга так и продолжала без движения лежать на складе.

Но на этом дело не закончилось. Весной или летом 1961 года в Москву приезжала делегация высоких предста-

вителей французской Компартии. На приеме в Кремле кто-то из ее руководителей (чуть ли не сам Морис Торез!) пожал руку Косыгину и поздравил его с выходом в СССР книги о великом французском художнике-коммунисте. 5 мая 1961 года Эренбург посылает письмо Суслову: “В этом году французская Компартия и прогрессивные французские, да и не только французские организации будут отмечать 80-летие Пикассо. Было бы очень неприятно, если бы сообщения об уничтожении большей части напечатанной у нас книги просочились на Запад, а теперь такие вещи обычно туда проникают”.

Опять на высоком уровне завязалась переписка, и наконец было принято соломоново решение: из отпечатанного тиража (сто тысяч экземпляров) передать для продажи не более тридцати тысяч экземпляров; продажу брошюры ограничить несколькими книжными киосками в Москве и Ленинграде. Остальную часть тиража не распространять. Что стало с остальными семьюдесятью тысячами, я не знаю. Летом 1961 года книга поступила в продажу.

По сути, это была первая книга о Пикассо, напечатанная в России со времен революции. В Москве к тем немногим местам, где она продавалась, тянулись длинные очереди, на черном рынке ее продавали по цене, в десятки раз превышающей стоимость в 19 копеек, проставленную на обложке. К собственному своему удивлению, я стал популярной фигурой среди левонастроенной московской интеллигенции. Совершенно незнакомые люди предлагали мне билеты на труднодоступные театральные постановки, меня привели в рукописный отдел Ленинской библиотеки и положили на стол рукопись тогда еще не опубликованного романа Булгакова “Мастер и Маргарита”, для конспирации обложив ее какими-то другими манускриптами.

Потом я, как персонаж Рэя Брэдбери, пересказывал друзьям содержание этого романа.

Причина такого ажиотажа — с той и другой стороны — вокруг нашей книжки заключалась в том, что она попала в струю короткого процесса некоторой либерализации, происходившего тогда в области культурной жизни. В Московском союзе советских художников образовалось “левое крыло”. На выставках так называемый “суровый стиль” работ П. Никонова, Н. Андропова успешно конкурировал с ортодоксальным соцреализмом. В марте 1961 года открылась сенсационная “Выставка девяти”, на которой члены МОСХа Б. Биргер, В. Вейсберг и другие показали свои работы, отошедшие далеко от официального стиля, вплоть до абстракций Н. Егоршиной. Наконец, 1 декабря 1962 года в московском Манеже открылась выставка “30 лет МОСХа”, на которой публика смогла увидеть пылившиеся ранее в музейных запасах произведения Р. Фалька, Д. Штеренберга, А. Тышлера, П. Кузнецова...

На собраниях, дискуссиях, обсуждениях начали раздаваться голоса с критикой самого догмата соцреализма и его главного адепта Александра Герасимова. Надо сказать, что этот любимый художник Сталина был не лишен чувства юмора. На одном таком собрании (мне почему-то случилось на нем присутствовать) оратор за оратором подпускали легкие шпильки в адрес бывшего президента Академии художеств СССР. Наконец председательствующий объявил:

— Выступает критик Членов.

— Критик чего-о-о? — спросил примостившийся сбоку стола президиума Герасимов.

— Критик Членов.

— Этого мне еще не хватало, — вздохнул раскритикованный соцреалист.

* * *

Как-то пришли ко мне две дамы из секции критики МОСХа и предложили срочно подать заявление с просьбой принять меня в члены Союза. Вступать в эту организацию я не собирался, но меня смутила проблема жилья. Жить мне было решительно негде; мотался по квартирам знакомых, когда хозяева уезжали в отпуска или командировки, ночевал у друзей, и только когда таких возможностей не представлялось, приходил переспать в перенаселенную бабушкину комнату в проезде Серова. А тут открывались перспективы вступления в московский кооператив и получения права на двадцать квадратных метров жилой площади, полагающихся членам Союза, вдобавок к девяти, дозволенным простым смертным. В декабре 1962 года меня приняли сразу в члены МОСХа, даже минуя обязательный тогда период кандидатства. А в том же декабре — разгромы Хрущевым выставки в Манеже и творческой интеллигенции на встрече с таковой в Доме приемов на Ленинских горах, положившие конец недолгому периоду либерализации.

Примерно в то же время Синявского приняли в члены Союза советских писателей. Он уже завоевал тогда репутацию маститого критика “Нового мира” своими блестящими, остро критическими статьями о стихах А. Софронова, Е. Долматовского, Е. Евтушенко... Но для членства в Союзе этого было недостаточно: от писателя требовалось наличие хотя бы одной напечатанной книги. “Пикассо” была первой опубликованной книгой Синявского.

Таков был эффект этой тоненькой брошюрки, на который мы с Андреем вовсе не рассчитывали.



Оттепель кончилась, и началось время закручивания гаек. В музее с уже готовой экспозиции выставки Фернана Леже, которая должна была открыться в следующем месяце, снимали картину за картиной. Вдова художника Надя Ходасевич не возражала: целый зал, освободившийся от картин Леже, она по договоренности с Фурцевой отвела работам своего нового мужа — молодого французского художника Жоржа Бокье.

Меня отправили к Эренбургу, чтобы получить для выставки две принадлежащие ему работы Леже. С собой я приватил Синявского, которому было интересно познакомиться с автором предисловия к нашему “Пикассо”. Тогда только что прошла встреча правительства с творческой интеллигенцией, на которой Хрущев бранил непечатными словами мастеров кисти и пера. Говорили, что, когда брань вождя коснулась его персонально, Илья Григорьевич просто встал и покинул собрание. Теперь, у себя дома, Эренбург находился в состоянии некоторого нервного возбуждения. Вскоре должен был быть опубликован второй том его воспоминаний “Люди, годы, жизнь”, и он боялся, что на книге, да и на всем его творчестве, будет поставлен крест. “Илья Григорьевич, — вставил в разговор Синявский, — пишите в стол”. Эренбург помрачнел, помолчал и сказал (привожу его слова по памяти): “Я средний писатель. Я не могу писать в стол. Я знаю: то, что я пишу сегодня, нужно людям, а завтра это будет уже ненужным”. Это было точно! Даже в самых скучных своих романах сороковых годов Эренбург всегда доходил до грани запретного, слегка переступал эту грань, за что неоднократно подвергался строгой критике в прессе. Я, по крайней мере, всегда находил в этих его романах что-то мне “нужное”. И кто бы

из наших “письменников” назвал бы себя средним писателем! Температура моего уважения к Эренбургу подскочила на несколько градусов.

Нашего “Пикассо” тоже перемальвали в прессе. Шестнадцатая сессия Академии художеств СССР 1961 года была отчасти посвящена отпору вражеской вылазке Голомштока и Синявского. Для этой цели была призвана тяжелая артиллерия. Огонь открыл сам президент Академии Б.В. Иогансон: “Меня глубоко возмущают и авторы — молодые советские искусствоведы, воспитанники наших советских вузов, и редактор тов. Пliche, и руководство издательства “Знание”, разрешившее к печати эту глубоко ошибочную брошюру. Думаю, наши искусствоведы достойно ответят на выпущенную издательством “Знание” брошюру, разъяснят всю вредность подобных взглядов и дадут правильную оценку творчества Пикассо”. Искусствоведы не заставили себя ждать. Ю.Д. Колпинский в своем докладе видное место уделил разбору ошибочных взглядов авторов брошюры и предисловия к ней И.Г. Эренбурга. Сталинский лауреат скульптор З.И. Азгур узрел в ней тенденцию отвлечь советского художника от его конкретной задачи. Итоги этой идеологической свистопляски подвел старый сталинский выкормыш В.С. Кеменов: “На этот раз статья И.Г. Эренбурга о Пикассо к путаной книге И. Голомштока и А. Синявского наносит серьезный ущерб делу борьбы за реалистическое искусство. Дело не только в том, что выход такой книги может сбить с толку некоторых молодых советских художников: они, работая в условиях строительства социалистической культуры, в конце концов разберутся в истине, — но выход такой книги очень помешает процессу перестройки на реалистический путь многих прогрессивных художников, работающих в капиталистических странах, ибо в книге сданы главные позиции: наше

понимание реализма и мысль о том, что реализм имеет действительное значение для плодотворного развития искусства”.

Я сидел на галерке актового зала Академии и удивлялся. Оказывается, наша маленькая — в шестьдесят страниц текста — с плохонькими черно-белыми репродукциями брошюрка нанесла вред не только советским художникам, но и зарубежным мастерам, которые, очевидно, по невежеству своему ничего о Пикассо не слышали и могут почерпнуть неверное представление о нем из брошюры, изданной на русском языке.

В перерыве между заседаниями, спускаясь по парадной лестнице бывшего морозовского особняка, где теперь размещалась Академия художеств, я услышал за собой голос: “Здравствуйте, Игорь”. За мной шел Колпинский. Я поздоровался и пошел дальше. И вдруг откуда-то сбоку ко мне протянулась длинная рука: “Руку пожать”, — прошептал Колпинский. Бедняга, он думал, что я не хочу подать ему руку. “Но я имен не произнес”, — сказал он после рукопожатия. Действительно, критикуя книгу о Пикассо, имен авторов он не произнес.

Бедный Юрий Дмитриевич! Наш учитель по университету, блестящий лектор, искусствовед, ощущающий красоту и гармонию кончиками обнаженных нервов... Как-то он вел с нами занятия по античности в зале музея, и вдруг на гипсовое тело какой-то нимфы села муха. Колпинского передернуло, как будто насекомое коснулось вот этого его нерва. В юности ему удалось побывать в Италии, и с тех пор его тайным желанием было увидеть хотя бы еще раз холмы Тосканы, сокровища музеев Рима, Флоренции, Венеции, Ватикана... Академия художеств СССР имела где-то под Римом дачу, перешедшую к ней еще от царской Академии. Единственной возможностью для него выехать за

границу было попасть на эту академическую дачу. Ради этого Колпинский вступил в партию, стал членом Академии, которую ненавидел вместе со всеми ее членами. Както в частном разговоре он высказался: “Кеменов? Ну, если ему скажут растлить на Красной площади собственную дочку, растлит!” (Кеменов одно время был президентом Академии). Не знаю, удалось ли Юрию Дмитриевичу еще раз увидеть Италию.

Кто бросит камень в таких талантливых ученых, вынужденных ради своей профессии, а иногда и сохранения жизни идти на компромиссы, приспособливаться, наступать на горло собственной совести? Это в отличие от приспособленцев по призванию, в которых камни бросать надо.

Борису Робертовичу Випперу наша книжка о Пикассо понравилась. Хотя его личные эстетические вкусы не распространялись дальше искусства XVIII века, он прекрасно понимал устремления и новации последующей художественной культуры. Однажды в музее слушали мою лекцию о современной скульптуре, в которой я много места уделил Генри Муру и гораздо меньше — Мухиной. Лекция вызвала дружное осуждение, причем свой голос к общему хору присоединил и Виппер. Потом в нашем кабинете он горько сетовал: “Ну как вы можете восхвалять Мура! Ведь Мур — это задница!” Слово “задница” никак не входило в лексикон Бориса Робертовича, но точно определяло одну сторону пластики работ великого скульптора: ее тяготение к материально-телесному низу (по Бахтину). Для Виппера это был знак минус, для меня — плюс. И Борис Робертович прекрасно понял и оценил нашу трактовку творчества Пикассо. Он даже предложил мне перейти на работу в Институт истории искусств, где он возглавлял западную кафедру. Это было пределом моих мечтаний! Но после разраз-

ившегося скандала стало невозможным. И в нашем кабинете Борис Робертович давал мне дружеские советы, как вести себя дальше. Вот, говорил он, и его тоже в свое время критиковали за книгу “Английское искусство. Краткий исторический очерк”, изданную в 1945 году...

Я хорошо помню эту “критику”, окончившуюся изгнанием Виппера из университета. Мне, тогда еще студенту, почему-то случилось присутствовать в этот момент на кафедре. Завкафедрой русского искусства нашего отделения, талантливый, но не в меру темпераментный профессор Федоров-Давыдов, сам когда-то пострадавший, теперь набирал очки обличениями своих коллег. Когда его “критика” перешла грань приличия, Борис Робертович снял очки, вынул из футляра другие, надел, взял портфель и вышел из аудитории, полностью сохранив человеческое достоинство.

...И тогда он написал свою критическую статью о западном сюрреализме. А теперь он советовал мне написать что-нибудь о советском искусстве. Мне стало очень жаль своего старого учителя: в его сознании все еще сидел страх тех времен, когда за такие проделки можно было и лагеря схлопотать. Мы же с Синявским кайфовали, когда слышали и читали ругань в наш адрес идеологических монстров.

Для художников-соцреалистов — академиков, членов правления МОСХа — Пикассо был, пожалуй, главным врагом. С одной стороны — коммунист, прогрессивный деятель, борец за мир, и трогать его было опасно; с другой... Дело не в том, что, с их точки зрения, он был “буржуазный формалист”, с этим еще можно было примириться, главное — он был великий мастер, и при сопоставлении с его работами все великие достижения советского искусства меркли и отбрасывались на столетие назад. Для тренированного глаза это было видно с первого взгляда, для

нетренированного — со второго. Примириться с этим было невозможно, и борьба с Пикассо шла по разным направлениям.

Как-то позвонила мне секретарь Эренбурга Наталья Ивановна Столярова. Илья Григорьевич, сказала она, очень обеспокоен: в газете “Советская культура” лежит и готова для публикации статья с неким интервью с Пикассо, в котором художник якобы признается безымянному журналисту, что своими формалистическими выкрутасами он просто дурачит буржуазную публику, а свои настоящие — реалистические — работы держит в закрытом запасе и намерен когда-нибудь обнародовать их, чтобы показать миру свое подлинное лицо. Эренбурга заинтересовало: что бы это могло быть? Я занялся расследованием и через цепочку друзей докопался до сути. Оказалось, что этот материал был взят из книги известного еще со времен Муссолини итальянского писателя Поппини “Вымышленные интервью”, где автор излагал свои воображаемые разговоры с Пикассо, Эйнштейном, Фрейдом и другими великими людьми. Сейчас я не могу восстановить в памяти название этой книги и точное имя автора; не знаю также, насколько дословно эти “откровения” Пикассо были воспроизведены, потому что статью, лежащую в редакции “Советской культуры”, я, естественно, не читал. Не знаю, что предпринял Эренбург; во всяком случае, статья с этим “интервью” в газете не появилась.

Глава 9

Снова музей

Положение мое в музее становилось все более непрочным. Для Ирины Александровны Антоновой, ставшей после Замошкина директором музея, я со своими высказываниями о современном искусстве всегда был *enfant terrible*, а после скандала с Пикассо держать меня в качестве ученого секретаря стало решительно неудобно.

Музей начало посещать высокое начальство. Приходил сам министр культуры Н.А. Михайлов. Как-то он вошел в зал, где готовилась какая-то важная выставка; в богатой шубе, меховой шапке, он демократично поздоровался за руку со смотрительницами и рабочими, нас же, научных сотрудников, просто проигнорировал. Мне довелось видеть его и в другой ипостаси. Рассказывали, что во время правительственного визита в Индию в честь советской делегации был устроен симфонический концерт. Хрущев спросил у своего министра, что играют, и получил ответ: Чайковского. После концерта генсек выразил организаторам свое удовлетворение, что в Индии почитают великого рус-

ского композитора. Оказалось, что это был Бетховен. Разъяренный генсек снял Михайлова с поста министра. Вскоре после его изгнания Хрущев со свитой удостоил посещением выставку современного бельгийского искусства. Он сидел на оттоманке во французском зале и рассказывал присутствующим, как в свое время такие картины писал своим хвостом осел. Антонова, Виппер, Губер стояли потупившись. Вдруг откуда-то появился опальный Михайлов. Он как-то по-собачьи присел перед свитой на корточки и умоляюще преданными глазами старался привлечь внимание Хрущева. Хрущев отворачивался. Очевидно, таковы были отношения между руководителями страны. И еще одного такого руководителя мне случилось увидеть в музее.

В 1958 (так помнится) году открылась выставка произведений из немецких собраний, которые были вывезены Советской армией и теперь возвращались Германской Демократической Республике. Торжественный акт передачи происходил в нашем Итальянском дворике. Сначала выступил министр культуры ГДР. Жизнерадостный, раскованный немец, он раскланивался перед советским руководством, весело сыпал остротами, поименно благодарил сотрудников музея. Переводил наш ученый секретарь Михаил Яковлевич Либман. За ним подошел к микрофону похожий на мумию Косыгин. Он достал пачку листов и начал читать. Прошло пять минут, десять... Михаил Яковлевич начал нервничать: запомнить это длинное словоизвержение он не мог. Закончив читать, Косыгин положил свою речь в карман и отошел от микрофона. Наступила напряженная тишина. Никто подойти к Косыгину не решался. Мне померещилось, что сейчас появятся охранники в штатском и увезут Михаила Яковлевича в неведомое. Положение спас Андрей Александрович Губер — главный хранитель музея. Он что-то прошептал Косыгину, тот достал из

кармана листы и отдал Губеру. Либман стал переводить по напечатанному тексту.

Когда становилось известно, что музей собирается посетить сексот Халтурин, который занимал теперь пост заведующего отделом изобразительного искусства Министерства культуры СССР, т.е. по тогдашней табели о рангах был заместителем министра, я заранее выходил из кабинета, чтобы, с одной стороны, не мозолить глаза, а с другой — чтобы не пожимать ему руки. Антонова предложила перевести меня в отдел Запада, на что я с радостью согласился. Ученым секретарем стал Володя Леонович, работавший ранее в отделе нумизматики музея.

Каждый человек неординарен, но, перефразируя Оруэлла, некоторые более неординарны, чем другие. К последним я отношу и Леоновича, с которым очень дружил.

Леонович был убежденный антропософ-штейнерианец. Антропософия была путеводной звездой его жизни, основой его мировоззрения, а разные халтурины, кеменовы и иже с ними с высоты полета такого мировоззрения представлялись лишь фантомами призрачной майи, шелухой на теле мироустройства. Поэтому он по долгу службы мог спокойно общаться и с такими персонажами и был идеальным ученым секретарем. Его настольной книгой был “Фауст” Гете на немецком языке, особенно его вторая часть. Открытием для меня были его рассказы о Пастернаке. По его словам, на даче поэта происходили тайные антропософские собрания, на которых Леонович присутствовал. Володя читал мне ранние стихи Пастернака, “Марбург” в частности, и расшифровывал их скрытый антропософский подтекст. Не знаю, упоминаются ли в литературе о Пастернаке его антропософские связи, но Леоновичу я верю абсолютно. И была у него еще одна ипостась. Каждое лето он брал на два месяца отпуск (я его замещал)

и отправлялся в дальние уголки России, где изучал и собирал птичьи кладки. Когда в Оксфорде в разговоре с одним профессором я упомянул Леоновича, тот сразу же вспомнил: “А, известный орнитолог!” Володя никогда не говорил мне, что печатает за границей свои ученые статьи.

* * *

В моей личной жизни тоже наступил перелом: в 1960 году, после пятнадцати лет моей влюбленности в Нину Казаровец, мы наконец соединились. Она была из простой рабочей семьи. Отец ее работал машинистом на Казанской железной дороге. В двадцатых годах его старший брат построил крепкое крестьянское хозяйство где-то в Белоруссии, был раскулачен и, как сотни тысяч крестьян, умер в сибирской ссылке. Отец Нины преклонялся перед братом и, кажется, не мог простить советской власти его гибель. Он знал жизнь и многое понимал. Очевидно, ему приходилось и водить составы с заключенными в Сибирь и подальше. Семью (три брата и две сестры) он старался на свой лад уберечь от всяких политических подозрений. Так, он запрещал держать в доме любые книги, кроме учебников. В октябре 1941-го, когда люди в панике бежали от приближающихся к Москве вражеских армий, он повел свой состав куда-то в Сибирь, а семье наказал никуда не уезжать: он вернется и все устроит. Очевидно, он ждал немцев. Когда мы уезжали в эмиграцию и надо было получать на это разрешения от родителей, он лежал в больнице; молча выслушав просьбу Нины, он взял бумагу и только спросил: где подписать?

После окончания финансового института Нина работала в банке, но, как и меня, финансовая карьера ее не при-

влекала. Она поступила на заочное отделение биологического факультета МГУ, а потом работала сначала на биологической станции Рыбинского водохранилища, а потом в каком-то московском учреждении, связанном с космической биологией, к счастью, не закрытом.

Мы сняли семиметровую комнатку при коммунальной кухне в полуподвале дома на Петровском бульваре. К ней примыкала крохотная прихожая, занятая почти целиком большим сундуком, на котором спала наша хозяйка, когда приезжала из своей деревни, — пожилая хроменькая Августина, рассерженная на Бога за свою хромоту. В комнате помещались лишь письменный стол, стул напротив и диван-раскладушка, который служил и сиденьем для гостей. Жизнь была трудная, но веселая. Мы — Синявские, Меньшутины, Пospelовы — основали шуточный “Клуб любителей пожрать” и раз в месяц по очереди устраивали у себя веселые пиры. Масонским знаком посвященности служило поглаживание рукой по животу друг друга. В нашу комнатку набивалось до двенадцати человек; как это получалось, я теперь представить себе не могу.

* * *

Даже будучи смещенным с поста ученого секретаря, в глазах начальства я продолжал оставаться фигурой, неудобной для советского музея. Очевидно, надо было как-то избавляться от моего присутствия, и в моем личном деле один за другим стали появляться выговоры. Первым был выговор за опоздание — дело, как говорится, обычное. За ним последовал второй, по поводу более интересному.

Накануне очередного праздника наш музей закрывался на два часа раньше обычного. Меня вызвали к служебно-

му входу, где стоял профессор-искусствовед из Колумбийского университета и просил пропустить его в музей: ему обязательно надо посмотреть наших импрессионистов, а завтра он улетает в Америку. Я как раз был ночным дежурным по музею и, согласно правилам, должен был три раза в течение дежурства обходить залы музея вместе с начальником охраны, милиционером, пожарным, слесарем и еще двумя-тремя блюстителем порядка. Главной целью таких обходов было наблюдать, не капает ли вода с прохудившейся крыши, а если капает, то подставлять под потоки ведра. И я предложил этому профессору взять его с собой на обход. На следующий день поступил донос: я провел в залы музея иностранца, который мог разбросать здесь антисоветские листовки. В своем кабинете Антонова устроила мне разнос. Я возражал: "Ирина Александровна, ну как человек может разбрасывать листовки в присутствии шести работников музея?" Но доводы рассудка не помогли.

И третий эпизод.

Как-то летом, когда я заменял Леоновича, зачем-то мне понадобилось в библиотеку. Было жарко, и свой пиджак я оставил в кабинете. Милиционер, стоявший у двери библиотеки, потребовал у меня пропуск. С этим милиционером мы не раз совершали ночные обходы, он прекрасно знал меня, что я и попробовал ему объяснить. Он настаивал, я разозлился и сказал, что он не столбом тут поставлен. Оказалось, что произошло это в День советской милиции и что я обругал матом представителя этой почетной профессии.

Я понял, что из музея мне надо уходить: по закону после четвертого выговора следовало увольнение без выходного пособия. Как раз в это время я получил предложение перейти на работу в качестве старшего научного сотрудни-

ка в недавно образованный Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Предложение было соблазнительным, и все-таки, если бы не сложившаяся ситуация, из музея я бы не ушел. Но потом об этом не пожалел: работа во ВНИИТЭ оказалась очень интересной.

Глава 10

ВНИИТЭ

Создание в самом начале шестидесятых годов Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики было попыткой исправить грубые ошибки сталинского прошлого. Юрию Борисовичу Соловьеву, ставшему директором института, удалось убедить правительственные верха, что отношение к дизайну (как и к генетике, кибернетике) как к науке реакционной нанесло и наносит серьезный вред народному хозяйству страны. Хотя сам термин “дизайн” в силу его подозрительно “буржуазного” звучания был для обозначения этой науки заменен более громоздким и неопределенным “техническая эстетика”.

Расположенный на территории бывшей сельскохозяйственной выставки, ВНИИТЭ подчинялся Комитету по делам науки и техники при Совете министров СССР, т.е. организации не конкретно идеологической, и в этом было его большое преимущество. Поэтому сюда ринулись люди самых разных профессий, чьи творческие потенции были скованы ведомственной идеологией учреждений, где они

до этого работали. В нашем отделе истории и теории дизайна собралось, как говорится, всякой твари по паре. К.М. Кантор и Г.П. Щедровицкий были философы, Г.Л. Демосфенова, Л.А. Жадова и я — искусствоведы, В.Л. Глазычев и В.Р. Аронов — архитекторы, А.А. Дорогов — историк чрезвычайно широкого профиля, Л.Б. Переверзев — джазист, занимавшийся кибернетикой, молодой О.И. Генисаретский мог быть кем угодно и т.д. Отдел должен был разработать теорию технической эстетики и создать ее историю. Как это сделать и что для этого надо, никто толком не знал, и меньше всего наше начальство. По сути, нам был предоставлен карт-бланш — свобода действий. Л. Жадова под видом дизайна публиковала в институтском сборнике “Техническая эстетика” статьи о Малевиче, Лисицком, конструктивизме, которые в то время ни один журнал, ни одно издательство не приняли бы для публикации, я занимался немецким Баухаузом и историческими связями между искусством и дизайном (эти мои статьи были опубликованы лишь спустя сорок лет в разделе “Архивы” того же сборника).

Щедровицкий с Генисаретским занимались тем, что они называли методологией. Часами, полемизируя друг с другом, они выводили мелом на черной доске какие-то схемы со стрелками, табло с цифровыми обозначениями, что было для меня китайской грамотой.

Щедровицкий, который помимо наших заседаний чуть ли не каждый день вел философские семинары у себя на дому, рассказывал, что к этим семинарам, как и полагается, был приставлен молодой сексот из КГБ. Парень оказался чересчур добросовестным: он мучительно старался понять, о чем же тут шла речь. Вскоре члены семинара по очереди носили ему передачи в психушку.

Я такой добросовестностью не обладал, понять хитро-сплетения их теорий не старался, но чувствовал, что за их

идеями глобального проектирования, глобального дизайна, распространенными на все общество, скрывается что-то опасное. В.Л. Глазгчев, участник этих дискуссий, много лет спустя писал в статье “Эволюция проектирования”: “Игорь Голомшток... орал на нас: «Вы носороги, идете не туда!» Он чувствовал, что мы не правы, взывал к только что напечатанной в журнале пьесе Ионеско, чувствовал, что эта целостная, как танк, движущаяся колонна идет не туда, но языка доказать это не имел”. Потому что мы говорили на разных языках: я на диалекте интуитивного искусствоведения, они — рациональной философии. Я не понимал, но и начальство не понимало и оставляло нас в покое. Не знаю, как в других отделах ВНИИТЭ, но у нас атмосфера была как в Баухаузе времен Гропиуса, разве что Шёнберг с Кандинским к нам не заглядывали и вместе с Клее не устраивали концертов авангардной музыки. Зато на наши заседания приходили молодые специалисты разных областей знания, вроде Саши Раппопорта, ставшего крупнейшим архитектурным теоретиком.

Техническая эстетика с ее ориентацией прежде всего на законы формообразования уже сама по себе вступала в резкое противоречие с догмами официального советского искусствоведения. Она была удобным средством (по крайней мере для меня) внедрения в жизнь неортодоксального подхода к проблемам художественного творчества. Да и для руководства института идеология соцреализма была серьезным препятствием в практической деятельности.

Так, однажды мне поступила на рецензию рукопись Б. Бродского о современной зарубежной архитектуре, предназначенная для защиты докторской диссертации. Боба (под этим именем его знали в Москве) был автором популярных книг по искусству и по каким-то неизвестным мне причинам пользовался правом выезда за границу. Про-

ехавшись по Европе, заглянув в Латинскую Америку, Бродский по свежим впечатлениям написал диссертацию, рукопись которой, напечатанная на веленовой бумаге, в сафьяновом переплете оказалась у меня на столе. Она содержала в себе ряд малоизвестных тогда фактов о современной архитектуре, в частности, о деятельности Нимейера в Бразилии, и была написана ярким и живым языком.

Вопрос о ее рекомендации для защиты разбирался на институтском ученом совете. Я выступил тогда с речью, в которой утверждал, что искусствоведение — это не наука, что диссертация по искусству требует иных критериев оценки и что если Иогансону была присуждена степень доктора искусствоведения за картину “Выступление Ленина на III Съезде комсомола”, то почему не рекомендовать к защите талантливую книгу Б. Бродского? Решение ученого совета было положительным, и я убежден, что ни одно научное учреждение в СССР не дало бы такой рекомендации.

Об авантюрах и экстравагантностях Бобы Бродского в Москве ходило много легенд. Он жил на широкую ногу. Иногда приходил в наш музей, заказывал и оплачивал экскурсию, а потом выбирал экскурсоводку и шел с ней в ресторан. Но история с диссертацией была, наверное, самой яркой из его авантур. Бродский, конечно, знал, что никакая докторская степень ему не светит, и решил превратить защиту в веселое шоу. Зная заранее все аргументы своих ученых оппонентов, он дома записал на магнитофон свои ответы на их возражения. А дальше комедия разыгрывалась в Институте истории искусств в Козицком. Выступает с обличительной речью Недошивин. “Одну минутку, Герман Александрович”, — говорит Бродский и включает магнитофон. “Простите, Иван Людвигович”, — и нажимает кнопку. Представляю, как хохотали присутствующие. К со-

жалению, я на этом представлении не присутствовал. Дело было летом, и я бродил где-то по Северу.

* * *

На заседаниях отдела мы с Георгием Петровичем Щедровицким (мы все называли его Юрой) были оппонентами, противниками (помнится, в пылу полемического задора я применял к его теориям термин “фашизм”), но за пределами дискуссий мы стали друзьями. Этому способствовала его удивительная толерантность, присущая большому ученому способность прислушиваться к любому противоположному его собственному мнению и брать его на заметку. Мы регулярно встречались то у меня дома, то в мастерской Гали Демосфеновой, выпивали, спорили, обменивались информацией... Я никогда не встречал человека с таким мощным мыслительным аппаратом. Как будто его мозг был заряжен током высокого напряжения и вольтаж его думания не снижался ни при каких обстоятельствах — в горячих дискуссиях, за праздничным столом, в разговорах во время прогулок... В дружеских компаниях он не то чтобы расслаблялся: интеллектуальная жизнь и процесс человеческих отношений протекали у него как-то параллельно, не мешая одно другому. За свою жизнь Щедровицкий опубликовал около двухсот книг, монографий, статей, не говоря уже о хранящихся в его архивах километрах магнитофонных пленок с записями его лекций, докладов, выступлений на его собственных многочисленных семинарах. И как это нередко случается, такой накал мышления не проходит даром: лампочка перегорает, и сознание погружается в темноту. Георгий Петрович умер в 1994 году.

Олег Генисаретский пришел в институт, когда ему было 22 или 23 года. Юноша с головой марсианина, набитой таким количеством самых разнообразных знаний, что я смотрел на него как на пришельца с другой планеты. Меня особенно поразили один случай.

Руководитель нашей группы либеральный тогда марксист Карл Кантор пригласил на одно из заседаний сектора маститого философа Ш. (фамилии я не помню) с докладом о трудовой теории Маркса. После его выступления встал Генисаретский: «Какое содержание вы вкладываете в понятие «труд»? В ранних работах Маркса он определяется как... В первом томе «Капитала»... во втором...» Казалось бы, ну что Олегу до Маркса? Он занимался тогда методологией отнюдь не марксистского плана, искусствоведением, религиозными вопросами, позже сотрудничал с о. Александром Менем... Очевидно, его феноменальная память фиксировала даже самые маргинальные сферы его интересов.

Щедровицкий сейчас уже по праву вошел в обойму выдающихся ученых-мыслителей, да и Генисаретский, мне кажется, недалек от такого статуса. К сожалению, этого нельзя сказать об Алексее Алексеевиче Дорогове, хотя по интенсивности мышления он, может быть, не уступал Щедровицкому.

Флегматичный, мешковатый, всегда сосредоточенный на чем-то своем, Дорогов напоминал мне друга моей юности Юру Артемьева, только сильно постаревшего; пожалуй, среди нас он был старшим по возрасту. Как я понимаю, его идеалом был Николай Федорович Федоров — легендарный русский философ и (по словам Дорогова) человек без быта. Сам Дорогов ютился в маленькой комнате при общежитии, доставшейся ему еще от студенческих (или аспирантских) лет. Человека с такой эрудицией я боль-

ше не встречал. Он читал нам десятки лекций по истории науки, искусства, техники, философии, выстраивал хронологические ряды, сопоставлял этапы развития разных областей материальной и духовной деятельности и строил из всего этого монолитную пирамиду человеческой культуры. И при этом он почти не мог писать. Как-то он пожаловался мне: “Я не понимаю Тойнби: как человек, столько знающий, мог так много писать”. Требуемые от научного сотрудника по плану четыре или пять печатных листов ученых трудов в год засчитывались Дорогову его лекциями. А когда он вымучивал из себя небольшую статью — увы! — это был набор общеизвестных фактов. Алексей Алексеевич — не первый известный мне случай подобного рода сознания. Для такого типа ученого каждая его собственная идея, мысль, прозрение, сопоставляемые с огромным количеством известных им фактов, кажутся сомнительными, неточными, высказанными уже в других ученых трудах. Кажется, единственная его серьезная публикация — это небольшая статья о М.М. Бахтине, подписанная им в числе других трех или четырех соавторов. Еще в пятидесятых годах Дорогов ездил в Саранск, где проживал в ссылке Бахтин, и, думаю, с великим ученым он мог беседовать на равных.

* * *

Еще в музее я начал работать над книгой с громоздким названием “Эстетическая природа течений в современном зарубежном искусстве”. Книга получилась солидная — страниц на триста–триста пятьдесят. В 1964 году она была сдана в отдел эстетики издательства “Искусство”, прошла рецензирование и была подписана в печать. Летом этого

года Виктор Никитич Лазарев — единственный из искусствоведов действительный член Академии наук — пригласил меня прочесть курс лекций по современному западному искусству на искусствоведческом отделении МГУ. В мое время лекции по истории искусства заканчивались в университете где-то на импрессионизме. Позже проф. В.Н. Прокофьев, мой хороший знакомый и доброжелатель, доводил свои лекции до Пикассо, экспрессионизма, но цельного курса по искусству XX века не существовало. Единственное, о чем просил меня Виктор Никитич, когда принимал на работу, это не очень хвалить абстракционизм, на что я сказал, что сам не большой поклонник этого направления. Преподавание меня всегда увлекало, и я с энтузиазмом принялся за дело.

Последующие события поставили крест на моей работе как в университете, так и во ВНИИТЭ. Я еще буду писать об этом в других разделах, а сейчас вынужден прерваться: относительно плавное течение времени нарушил арест писателей А. Синявского и Ю. Даниэля.

Глава 11

Большие ожидания

Где-то в 1955 или 1956 году Синявский начал читать некоторым друзьям свои рассказы и повести — “Пхенц”, “Суд идет”, “Гололедица”, “Город Любимов” и другие. Но о том, что он печатает их за границей под псевдонимом “Абрам Терц”, знали очень немногие. Оставалось только ждать неизбежной развязки этой истории.

Охота на автора изданных на Западе антисоветских произведений Абрама Терца началась давно, и кольцо постепенно сжималось. Все ощутимее становилась слежка: в подъездах топтались филёры, не очень даже скрываясь, прослушивались телефонные разговоры. Как-то я из Центрального почтамта позвонил Леве Турчинскому, после разговора поднял трубку, чтобы позвонить кому-то еще, и вдруг прослушал весь наш слевой разговор, очевидно, записанный на пленку. Что-то там у них не сработало. Незадолго до ареста Синявского в нашу коммуналку явились двое субъектов, чтобы установить телефон, и объяснили, что несколько лет назад проживающий здесь гражданин

подавал заявку, и вот теперь подошел срок... (Потом по этому телефону меня вызывали на допросы.)

В дело поисков авторов, печатавшихся за границей под псевдонимами “Абрам Терц” и “Николай Аржак”, были вовлечены лучшие силы литературоведов, экспертов, криминалистов, агентов как внутри страны, так и за рубежом. Как-то на заседание сектора Института мировой литературы явился маститый функционер в этой области Рюриков с докладом на тему “Кто такой Терц”. Он доложил, что по заключению текстологов стилистика этих произведений свидетельствует о том, что они не созданы кем-то из современных советских писателей, что это явно сочинения какого-то старого эмигранта-анти-советчика, уже нетвердо владеющего русским языком. Было ли это кагэбэшной попыткой притупить бдительность потенциального преступника или просто глупостью этих самых экспертов-текстологов? Не знаю также, горели ли уши у Андрея, который присутствовал на этом заседании.

Несмотря на длительный период напряженного ожидания ареста, Синявский продолжал писать и пересылать свои произведения за границу. Снимать такое напряжение ему помогал алкоголь. Синявский и раньше был не дурак пропустить в компании рюмку-другую, но теперь он говорил, что по утрам не может сесть за стол и начать писать без четвертинки. Как Иосиф Бродский, который в Америке после второй операции на сердце стрелял у меня сигареты и говорил, что не может работать без курева. Творчество для того и другого было важнее жизни. (Розанова на этот счет придерживается другого мнения. Может быть, она права: в лагере в условиях сухого закона Синявский написал “Прогулки с Пушкиным”, “В тени Гоголя”, “Голос из хора”.)

Я как-то спросил Андрея: что нам делать и как себя вести в случае его ареста? Он промолчал, потому что лучше нас понимал, что ничего тут предвидеть и планировать было невозможно; каждый будет поступать по своей совести. Тюрма и лагерь давно притягивали Синявского с его интересом к языку криминалов и блатных. Лагерь прямо или косвенно вплетался в литературную ткань его ранних рассказов, да и свой псевдоним — Абрам Терц — он взял из блатной песни. Мы как-то спорили с ним о достоинствах советских и нацистских лагерей. Андрей отдавал предпочтение советским: здесь можно как-то выкрутиться, схитрить, сохраниться. Я предпочитал нацистские: тут был порядок, и я, как еврей, знал бы, за что отправляюсь в печку, в советские я мог бы попасть и как антисемит.

Много лет спустя, уже в Лондоне, Анатолий Максимович Гольдберг — легендарный в России политический комментатор Би-би-си, бежавший от нацизма в Лондон, — рассказал мне историю, которая могла бы послужить аргументом в моем с Андреем споре.

В Берлине у него был приятель — человек коммунистических убеждений. Когда в 1933 году к власти пришли нацисты, его арестовали, судили и приговорили к пяти годам тюрьмы. Анатолий Максимович был уверен, что его давно уже нет в живых. Но уже после войны этот человек позвонил Гольдбергу и они встретились. В 1938 году, ровно через пять лет по звонку, его освободили. Когда он выходил из тюрьмы, в вестибюле дежурный полицейский сказал ему: “Не советую заходить домой. Вас сразу же арестуют. Идите в любой порт, садитесь на любой пароход и уезжайте”. Что этот человек и сделал. У немецкой полиции были свои счета с гестапо. Могло ли быть такое в сталинской России?

* * *

8 сентября 1965 года я допоздна засиделся у своей старой приятельницы и коллеги Инги Каретниковой — мы сочиняли что-то о современном искусстве — и только к полуночи вернулся домой на Петровский бульвар. Перед домом меня ждали моя жена Нина и Лидия Меньшутина: арестован Андрей Синявский. Через три дня арестовали Юлия Даниэля. Всю ночь я перебирал свои бумаги, рвал и спускал в унитаз обрывки компромата, отбирал книги и рукописи, которые надлежало спрятать в надежное место.

Арест Синявского не был неожиданностью ни для нас, ни для него самого. Вечером на другой день я отправился в Хлебный. Здесь, как я и ожидал, только что закончился обыск. За столом сидела целая команда кагэбэшников, встретившая меня с веселым благодушием; как говорится, на ловца и зверь бежит. Я оставил Майе что-то съестное и ушел. В этой трудной ситуации Розанова сохраняла удивительное самообладание. Она тщательно проверяла списки изымаемого, спорила по поводу отдельных книг и магнитофонных записей, потом требовала их обратно...

Надо было что-то предпринимать. Я помчался к Алику Есенину-Вольпину, который слыл среди нас великим законником, докой по разного рода гражданским и уголовным кодексам, благо сам он действие этих кодексов уже испытал на собственной шкуре. “Вот, — заныл я, — каких замечательных людей арестовали...” “Мне неинтересно, — сказал Есенин-Вольпин, — замечательные они или не замечательные, — казус?” Мне это понравилось: мои эмоциональные всхлипы он сразу же перевел в сферу практических вопросов правозащиты.

Результатом последующих размышлений Есенина-Вольпина явилось составленное им “Гражданское обраще-

ние” и митинг на площади Пушкина, куда в День Конституции 5 декабря вышла группа протестующих с лозунгом “Уважайте собственную Конституцию!” (гарантирующую свободу слова) и с требованием на этом основании гласности суда над Синявским и Даниэлем. Митинг был моментально разогнан милицией. Считается, что с этого началось правозащитное движение в Советском Союзе.

Мы в этом митинге не участвовали. Розанова и Синявский считали, что они свое дело сделали, а протестовать, писать письма, устраивать демонстрации — это дело общественности. В эти дни мы увезли Майю в Каргополь, чтобы, во-первых, не вводить в заблуждение органы, и, во-вторых, чтобы дать ей немного прийти в себя (я уже об этом писал).

Слухи об аресте писателей Синявского и Даниэля быстро распространились по Москве и проникли на Запад. Не буду описывать реакцию на это событие разных кругов внутри страны и за рубежом: это давно уже вышло за рамки личных воспоминаний и стало достоянием общественной памяти (желающие подробнее ознакомиться с этим могут обратиться к “Белой книге”, составленной Аликом Гинзбургом по горячим следам процесса, к сборнику “Цена метафоры” и ко многим другим источникам). Напомню только, что среди сотен зарубежных и советских писателей и ученых, обращавшихся с протестами против ареста в разные высокие инстанции СССР, были имена Грэма Грина, Сола Беллоу, Альберто Моравиа, Ханны Арендт, Андре Бретона, Льюиса Мамфорда, Луи Арагона, Эренбурга, Чуковского, Каверина...

Я тоже написал письмо протеста, адресовав его в Верховный Совет, в “Правду”, куда-то еще. Я писал, что ознакомился с опубликованными на Западе произведениями Абрама Терца и не усмотрел в них ничего антисоветского,

анализировал под этим углом зрения его работы и, естественно, доказывал незаконность его ареста. В отличие от известных советских и зарубежных деятелей, мы, писавшие такие письма (в том числе Юра Герчук, Коля Кишилов, Юра Левин и др.), меньше всего рассчитывали повлиять этим на решения властей предрержащих, просто мы хотели через самиздат проинформировать людей о том, что на самом деле происходило в стране. Тексты распространялись, и рука правосудия вскоре дотянулась и до меня.

В начале января мне позвонили из “Лефортово”: следователь по особо важным делам Хомяков предложил завтра в 10 утра явиться в эту тюрьму на допрос. В кабинете сидел серый человек в штатском: встретить я его на другой день на улице, я бы его не узнал. Главное, что интересовало Хомякова: читал ли мне или давал читать Синявский свои антисоветские произведения. Дело в том, что статья Уголовного кодекса, по которой привлекался Синявский, гласила: “Изготовление, распространение и хранение антисоветской литературы”. Что касается изготовления и хранения, Синявский сам это не отрицал, а вот распространение — это еще надо было доказать. И доказательство этого следователь хотел получить от меня. Я, естественно, соврал: нет, не читал и читать не давал. За сим последовал следующий вопрос: от кого я в таком случае получил эти книги? Что мне было сказать? Купил на черном рынке? Нашел на улице? Получил от друзей? Тогда последовал бы логичный вопрос — от кого именно? Я понял, что мне его не перевернуть: в деле вранья кагэбэшники профессионалы. Поэтому я просто отказался отвечать на этот вопрос.

Через несколько дней меня снова вызвали на допрос в “Лефортово”. С тем же Хомяковым мы долго пережевывали ту же жвачку: давал — не давал, советское — антисо-

ветское... Наконец Хомяков увел меня в какую-то пустую комнату, велел ждать и ушел.

Ждал я, наверное, час или больше. Вдруг дверь открылась и вошли Синявский со своим следователем (тоже по особому важным) Пахомовым. Мы обнялись. “Встретились друзья”, — с напускным добродушием произнес Пахомов. Наша очная ставка имела ту же цель: доказать, что Синявский читал мне свои рукописи, т.е. распространял антисоветскую литературу. Пахомов зачитал кусок из показаний Синявского на допросах, где он признался, что читал кое-что из им написанного некоторым друзьям, в том числе и мне. “Да, — подтвердил я, — что-то он читал мне, что-то я ему (а читал я ему свои переводы “Мрака в полдень” Кестлера, “Звериной фермы” Оруэлла и рассказов Франца Кафки), но когда я впервые ознакомился с его книгами, напечатанными за границей, я не вспомнил, что когда-нибудь слышал об их содержании от автора”. “Пхенц, — подсказал мне Андрей. “А, да, — “вспомнил” я, — “Пхенца” он мне читал”. “Пхенц” — это был ранний, если не первый рассказ Синявского, он читал его довольно широкому кругу и именно поэтому не отослал его за рубеж. Содержание этого рассказа не вменялось ему в вину. На этом наша очная ставка зашла в тупик.

Все это происходило в атмосфере вполне корректных взаимоотношений. Андрей был спокоен и сдержан, его тюремщики агрессивности не проявляли. И это понятно: в январе 1966-го шум по поводу ареста писателей на Западе и внутри страны достиг своего апогея, и в верхах, очевидно, еще не решили, избежать ли международного позора или сохранить лицо и довести дело до конца. Нам даже позволили немного поговорить о личном, и я сообщил Андрею, что его сын Егор, которому было тогда несколько месяцев, здоров, что Майя в порядке... На этом мы расстались.

* * *

Самочувствие мое было самое кафкианское: как у г-на К. из “Процесса” Франца Кафки. После допросов бежал домой готовиться к лекциям в университете и Строгановском училище, где я вел курс по истории дизайна, надо было еще что-то делать для ВНИИТЭ... По вечерам читал лекции, потом встречался с друзьями, чтобы обменяться новостями и обсудить дальнейшие действия. Перескоки из тюремной ирреальности в реальность академическую не способствовали бодрости духа, отягощенного большими и тревожными ожиданиями грядущих событий, отнюдь не обещавших быть лучезарными.

Глава 12

Процесс Синявского и Даниэля и его последствия

Не буду описывать ход этого позорного для Советов процесса: его полная стенограмма, а также реакция на него внутри страны и за рубежом изложены в “Белой книге”, составленной по горячим следам Аликом Гинзбургом. Зафиксирую лишь то, что сохранилось в моей памяти.

На процесс Синявского—Даниэля, который открылся 10 февраля 1966 года в Московском областном суде, я был вызван в качестве свидетеля обвинения. Во время утреннего заседания, на котором шли допросы обвиняемых, всех свидетелей поместили в комнату, специально для этой цели предназначенную. Собралось нас здесь восемь человек: знакомые Даниэля Гарбузенко и Хазанов, знакомые Синявского А. Ремизов и Е. Докукина, А. Петров — ученик Розановой по Абрамцевскому художественно-промышленному училищу, учитель Андрея по МГУ В.Д. Дувакин и С. Хмельницкий. На вечернее заседание, посвященное допросу свидетелей, всех нас впустили в зал суда.

Допросы начались с, так сказать, главных “обвинителей”.

Ремизов (с его допроса началось вечернее заседание) был третьим, печатавшим свои рукописи за рубежом под псевдонимом Иванов, за которым охотился КГБ. Узнав об аресте Синявского, он сам явился в это учреждение с признанием своего авторства этих произведений и их антисоветского содержания. Такой же антисоветский характер он приписал и произведениям Синявского. Во время своего допроса он лишь подтвердил свои прежние показания, что и требовалось следствию. Ремизова простили: он отделался лишь общественным порицанием на общем собрании в Библиотеке иностранной литературы, где он работал.

Допрос старого приятеля Даниэля Хазанова прошел не так гладко. Я никогда не видел человека в состоянии такого морального распада. Он буквально оплывал влагой, которая, казалось, сочилась из глаз, из носа, капала со лба, со щек... Бедняга! Еще до процесса он, очевидно, с испуга написал в КГБ какое-то письмо, в котором доносил на своего друга. И теперь он находился в состоянии ужаса перед разоблачением. “Вы написали это письмо? — спрашивал судья Смирнов, держа в руке какой-то листок. — Подойдите к столу!” Вместо этого Хазанов, как сомнамбула, направился к двери на выход. И только после второго или третьего окрика он оказался перед судьей и в ответ на вопросы бормотал что-то, что понять было невозможно.

Последним на вечернем заседании был допрошен Хмельницкий.

Сергей Хмельницкий, школьный приятель Синявского, архитектор по специальности, в конце сороковых годов был завербован органами. По его доносам отправились в лагерь два его близких друга. В 1964 году во время защиты его диссертации в Институте истории искусств один из

них, уже отсидевший свой срок, попросил слова и рассказал о внеакадемической деятельности своего бывшего друга. Разоблаченный, Хмельницкий убрался из Москвы в Душанбе. В комнате свидетелей, где мы ожидали вызова в суд, с ним никто не разговаривал, и только неосведомленный Дувакин, к которому Хмельницкий сразу же и подсел, вел с ним оживленную беседу.

О том, что Синявский и Даниэль печатались за границей, Хмельницкий не знал, и его появление в зале суда было для сидящих на скамье подсудимых полной неожиданностью. Неожиданными для нас были и его показания. Он сообщил, что идею главного “антисоветского” романа Даниэля “Говорит Москва, или День открытых убийств” подал автору он сам и что, слушая в большой компании передачу по “Радио Свобода” с изложением содержания этого романа, он не удержался и закричал, что это же Даниэль написал! С его стороны, признал он, это было подлостью. Все это выглядело вполне благородно.

Зачем, спрашивается, понадобилось КГБ вызывать из Душанбе этого свидетеля? Чтобы обелить в глазах интеллигенции своего ценного сотрудника? Дальнейшая, уже в эмиграции, деятельность Хмельницкого подтверждает такую гипотезу. Но об этом — речь впереди.

В зале суда жены подсудимых Майя Розанова и Лариса Богораз старались как можно подробнее зафиксировать на бумаге происходящее; я тоже делал какие-то записи. В перерывах между заседаниями мы передавали эти записки нашим друзьям, ожидавшим во дворе на морозе: суд был закрытым, впускали в зал только избранных, то ли по спискам, то ли по билетам, а для остальных вход сюда был закрыт. Из этих записей и родилась “Белая книга”.

Следующий день суда (12 февраля) начался с допроса моей персоны. И опять, как и во время следствия, их больше

всего интересовал источник моей осведомленности о произведениях Синявского — Терца. “Кто дал вам прочитать эти антисоветские книги?” — вопрошал прокурор Темушкин. “Нет, — прервал его “либеральный” судья Смирнов, — вы неправильно называете их антисоветскими. Это суду надлежит решить, антисоветские они или нет. Поэтому вы (это он ко мне) можете назвать имена ваших знакомых”. Мне оставалось только повторить то, что я уже говорил следователю Хомякову: “Я отказываюсь называть имена, потому что хотя я не считаю эти произведения антисоветскими, но вот мои друзья сидят по семидесятой статье. Я не хочу вовлекать в это еще кого-то”. На это Темушкин подал в суд ходатайство о привлечении меня к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Ходатайство было удовлетворено, и мне велели оставаться в зале суда до конца процесса. Синявский со скамьи подсудимых заявил, что на все вопросы Голомшток дал исчерпывающие ответы, а вопрос о том, где он взял книги после его ареста, к делу отношения не имеет. То же заявил и Даниэль. Но суд такие юридические тонкости не интересовали, так же как и мои ответы на вопросы о мировоззрении Синявского, о его политических взглядах, его отношении к русской культуре... И приговор подсудимым, и мое наказание были предрешены.

После предоставления последнего слова Синявскому и Даниэлю был оглашен приговор: семь и пять лет лагерей строгого режима, а также вынесено частное определение о привлечении меня к ответственности по статье 182 Уголовного кодекса за отказ от дачи показаний.

Майя Розанова и Лариса Богораз задержались в здании суда, выясняя какие-то формальности со служителями Фемиды. Я ждал их в коридоре. Когда мы трое вышли из здания, густая толпа, заполняющая двор Московского областного суда, встретила нас овацией.

* * *

Последствия моего привлечения к судебной ответственности не заставили себя ждать: надо мной повис мой собственный Процесс. Дело мое вел подполковник КГБ Г.П. Кантов — тупой как валенок солдафон. О чем мы беседовали с ним во время допросов, я толком не припомню. Очевидно, речь шла все о том же: где я взял, кто мне дал сочинения Абрама Терца.

Как-то утром во время очередного заседания нашего сектора во ВНИИТЭ вдруг открылась дверь и в комнату ввалились трое. “Подполковник Георгий Петрович Кантов”, — представился старший и объявил, что сейчас в вещах Голомштока будет произведен обыск с целью обнаружения антисоветской литературы. Явление Кантова со товарищи произвело некоторое веселое ошеломление среди присутствующих. Георгий Петрович Щедровицкий (знарок кантовской философии) попросил объяснить ему, что понимается под антисоветской литературой, и показать список книг, подпадающих под такую категорию, если таковой имеется. На что валенок Георгий Петрович Кантов пробормотал что-то невнятное. Гэбэшники начали рыться в моем столе. Когда они собирались потрошить мой портфель, Дорогов, сидевший за соседним столом, переложил его к себе и сказал, что это портфель его.

Что хотели добиться этой акцией гэбэшники? Неужели они и впрямь думали, что я храню на работе антисоветскую литературу? Хотя, очевидно, такая дурацкая идея сидела у них в голове: много лет спустя директор ВНИИТЭ Соловьев говорил мне, что они показывали ему ордер на мой арест в случае обнаружения криминала. Скорее всего, они намеревались скомпрометировать меня в глазах моих коллег. Эффект получился диаметрально противоположный.

Не найдя ничего антисоветского на работе, Кантов объявил, что, согласно ордеру на обыск в моей квартире на Петровском бульваре, теперь мы поедем туда. Я сказал, что там я уже не живу: недавно мы с Ниной наконец-то приобрели однокомнатную квартиру в новостройке на Ельнинской улице недалеко от метро “Молодежная”. Несоответствие адреса, указанного в ордере, с реальным местом моего проживания несколько озадачило команду, и Кантов спросил (все должно было происходить в рамках строгой социалистической законности), не соглашусь ли я, чтобы обыск был произведен у меня, несмотря на несовпадение адресов. Я согласился.

А дальше все напоминало какую-то смесь из романов Франца Кафки и Михаила Булгакова.

Мы погрузились в большую черную шестиместную машину — трое гэбэшников, я и татуированный шофер — и направились к “Молодежной”. По дороге выяснилось, что едем мы куда-то не туда, и на вопрос Кантова шофер ответил, что сначала ему надо заехать на Казанский вокзал и встретить своего товарища. На вокзальной площади мы остановились, шофер ушел, подполковник с майором отправились куда-то перекусить, а я остался в машине с младшим лейтенантом Экономцевым, который представился как студент (или выпускник) классического отделения филологического факультета МГУ. Ждали мы долго. Майор и подполковник уже успели пообедать, когда сзади раздался грохот: это шофер вталкивал в багажник ящики и чемоданы своего товарища. Опять поехали и опять не туда: шоферу надо было отвезти вещи в дом где-то на другом конце Москвы. “Что же ты не посадил своего приятеля?” — спросил Кантов, указывая на свободное переднее место. “Счел неэтичным”, — ответил татуированный. Приехали к дому, и шофер вместе с Кантовым

и майором выгружали чемоданы из багажника и таскали их куда-то вверх по лестнице.

Такое нарушение субординации между гэбэшниками показалось мне странным. Но позже из реплик, которыми они обменивались, выяснилось, что машина и, соответственно, шофер находились в ведении генерала КГБ Абрамова, и это навело меня на мысль, что сами они не уверены, кто из них тут главный — подполковник, генеральский шофер (а может быть, полковник?!) или лейтенант.

На “Молодежную” приехали только во второй половине дня. В квартире царил полный разгром: Саша Петров сооружал книжные полки, книги громоздились на полу, стол был завален бумагами. Понятыми были тот же татуированный и, кажется, кто-то из соседей. Гэбэшники рылись в грязном белье, обследовали сортир, просматривали рукописи, перелистывали книги. Лейтенант, обнаружив в куче книг томик Плутарха, радостно объявил, что как раз этим автором он сейчас и занимается. Он, к моему удивлению, явно старался мне помочь. Так, когда в руках Кантова оказался машинописный текст поэмы В. Корнилова “Заполночь” — вещь резко антисталинского содержания, Экономцев отобрал ее у подполковника, сказал, что вещь это старая, ничего криминального в себе не содержит, и засунул ее под грудку книг (очевидно, он был у них экспертом по литературе). Так же он поступил и с моими переводами Кафки, а когда набрел на какой-то неизвестный ему манускрипт, вопросительно посмотрел на меня и спрятал его на всякий случай от глаз подальше*. Часов около семи (опять строгая законность) команда

Недавно Розанова нашла в Интернете биографические данные этого лейтенанта: Экономцев Игорь Николаевич. В 1963 году окончил филологический факультет МГУ. С 2002 года — архимандрит. Совпадение тут едва ли возможно. Хочется думать, что к церкви он обратился не по приказу начальства, а по велению сердца.

удалилась, не успев досмотреть правую тумбу моего письменного стола (впрочем, ничего интересного для себя они там бы не обнаружили).

В это же время, как рассказала мама, другая команда проводила обыск в их квартире. После долгих поисков криминала, ничего не обнаружив, они вдруг заметили скрытый стенной шкаф, заставленный какой-то мебелью. Мебель была сдвинута, шкаф открыт, и в нем обнаружился массивный сундук, запертый на амбарный замок. Глаза у гэбэшников загорелись. Послали в домоуправление за слесарем, которого, естественно, на месте не обнаружилось, но который вскоре должен был появиться. Ждали долго. Наконец главный махнул рукой, открыл свой “дипломат” с полным набором воровских отмычек и приступил к работе. Сундук был открыт, но вместо залежей нелегальщины в нем обнаружилось какое-то тряпье, дырявая кастрюля, старые сковородки... Это Мирон Этлис, вернувшийся из лагеря и уезжавший из Москвы, попросил меня сохранить вещи его недавно умершей матери.

* * *

Допросы и обыски, независимо от их результатов, привели к тому, к чему они и должны были привести. Где-то в начале мая меня судили за отказ от дачи показаний на процессе Синявского—Даниэля. Ни точной даты, ни места, где происходил суд, я не помню. Но процесс судопроизводства запечатлелся в памяти довольно ярко.

Протесты против приговора писателям, как за рубежом, так и внутри страны, тогда не шли на убыль (скорее наоборот), и судья Громов больше всего боялся, что мой процесс привлечет внимание зарубежной прессы и вызо-

вет новую волну протестов. Он изо всех сил старался не допустить никакой связи моего процесса с предыдущим. На любое упоминание имени Синявского он прерывал меня, утверждая, что мое дело никакого отношения к делу Синявского и Даниэля не имеет. Хотя опасался он напрасно: суд происходил в обстановке более чем скромной. В маленькой комнате присутствовали только наши близкие друзья и несколько посторонних. Иностранные корреспонденты отсутствовали.

Свидетелями обвинения, как это ни парадоксально звучит, выступали моя жена Нина Марковна Казаровец и Майя Васильевна Розанова-Синявская. На вопросы судьи обе они подтвердили, что — да, Голомшток читал произведения Абрама Терца. На основании их показаний суд вынес обвинительный приговор: полгода принудительных работ по статье 182 Уголовного кодекса РСФСР за отказ от дачи показаний. Эта статья предусматривала наказания для тех, кто отказывался выступать на суде против своих приятелей — мелких воришек, хулиганов и прочих нарушителей общественного порядка. Тунеядцев выселяли в места не столь отдаленные, работающих возвращали к месту работы на исправление коллективом, вычитая двадцать процентов из зарплаты и требуя от них подписку о невыезде с места проживания. Я был, кажется, первым осужденным на принудительные работы в качестве старшего научного сотрудника научно-исследовательского института. Все это было похоже на бред, но такова была, очевидно, логика советского судопроизводства.

Гораздо более серьезными, чем судебное наказание, были для меня идеологические санкции. Моя книга “Эстетическая природа художественных течений в современном зарубежном искусстве”, сданная в 1963 году в издательство “Искусство”, подписанная в печать и уже на-

бранная в типографии, была аннулирована: ее готовый набор был рассыпан. Сборник научных трудов ВНИИТЭ “Техническая эстетика” № 2 с моей большой статьей об исторических взаимосвязях ремесла, искусства и дизайна был целиком пущен под нож и напечатан вновь уже без моей статьи (кто-то вынес из типографии несколько экземпляров первоначального сборника; один из них хранится у меня). Договоры на книгу об Иерониме Босхе в издательстве “Искусство” и на альбом картин Сезанна в “Авроре” были со мной расторгнуты. Во всех газетах, журналах, сборниках, где я печатался, мое имя попало под запрет.

Для сотрудников ВНИИТЭ это было время тревог и волнений: нависала угроза сокращения штатов, и многие опасались за свою судьбу. Только я был спокоен: уволить приговоренного к принудительной работе начальство права не имело. Но пребывание мое здесь продолжалось недолго.

В январе 1967 года был арестован Алик Гинзбург, и началась новая волна протестов. Мы с Борей Шрагиным у меня на квартире сочинили одно такое письмо, и его подписали более ста человек. Наше письмо было не единственным. Среди подписантов были Щедровицкий и кто-то еще из нашего отдела. Чаша терпения начальства переполнилась, нас уволили по сокращению штатов, а наш отдел истории и теории дизайна подвергся кардинальному переформированию.

В Московском союзе советских художников тоже началась проработка членов этой организации, повинных в антиобщественной деятельности, как именовалась тогда практика подписанства. Меня тоже вызвали на общее собрание. Председательствовал Д.А. Шмаринов, и казалось, что чувствовал он себя неловко, чего нельзя было сказать

о других членах почтенной комиссии. Татуированный С.И. Дудник, автор удостоенной Сталинской премии картины “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”, и партийный секретарь (фамилии не помню) хотели узнать, с какой целью мы заступаемся за справедливо осужденных антисоветчиков. Я говорил что-то о сталинских репрессиях, которые начали повторяться в наше время, на что получил неожиданный вопрос: не имеем ли мы в виду репрессии против врагов народа — Бухарина, Каменева?.. Я был настолько ошарашен таким поворотом, что ответил импульсивно, с искренним возмущением: “Мне бы ваши заботы... Моих друзей сажают, а я должен, по-вашему, думать о каком-то Бухарине...”

В конце концов было вынесено соломоново решение: меня из членов МОСХа перевести в кандидаты, а кандидатство в члены ликвидировать. Формально меня из МОСХа не исключили, но фактически я оказался пребывающим в институции, которой не существовало. Во всяком случае, когда потом я приходил в МОСХ за какими-то справками по жилищному вопросу, никто не знал, состою я еще в этой организации или нет, и на всякий случай никаких справок мне не выдавали.

* * *

Волна репрессий шла кругами и грозила карьерам даже самых дальних наших знакомых. Люди лишались работы, из издательских планов выбрасывались книги, отпечатанные рукописи шли под нож. Относились к этому по-разному. Приходила на наши встречи приятельница Даниэля переводчица Рита Райт-Ковалева. “Ах, — сокрушалась она, — что они наделали: ведь у меня должен выйти мой перевод

«Процесса» Кафки!» Как будто без ее перевода человечество бы не обошлось.

Как-то Розанова, Вика Швейцер и я стояли в небольшой очереди на такси у дома Союза советских писателей, где Вика работала секретарем секции переводчиков. У меня кончились сигареты, и я перебежал на другую сторону улицы, чтобы их купить. Когда я вернулся, в очереди за нами стоял большой, грузный человек с зажженной сигаретой в руке. Порывшись в карманах и не обнаружив спичек, я вежливо обратился к нему с просьбой прикурить. Человек посмотрел на меня мутными глазами.

— Бороду надо сбрить, — произнес он.

Обращения посторонних к моей бороде уже давно начали меня раздражать, и я ответил довольно дерзко:

— А может быть, вам следует отпустить?

После чего я почувствовал какое-то напряжение в воздухе: Вика что-то шептала стоящим сзади него, Розанова с ехидной улыбкой наблюдала за этим зрелищем. Следовало разрядить атмосферу.

— Дайте все-таки прикурить.

Человек дрожащей рукой протянул мне сигарету, и его куда-то увели. Это был Твардовский.

Но времена были уже не сталинские, и при встречах знакомые на другую сторону улицы не переходили. К Розановой продолжал заходить Высоцкий с гитарой. Как-то он спел свою новую песню «Охота на волков», посвященную, как я понимаю, охоте на Синявского. Круг моих близких друзей не только сохранился в неприкосновенности, но и расширился.

Борис Биргер тоже подписывал письма, его тоже проработывали в МОСХе, членом которого он был. Нас свело наше общее участие в вышеописанных событиях, но к Бо-

рису меня влекло и его творчество. Поступив сразу после фронта в художественный институт, Биргер вначале занимался формальными поисками, потом сжег все свои ранние работы и начал поиски собственного стиля в сфере фигуративной живописи: московские улочки, пейзажи, портреты... Меня удивляло несоответствие его характера с эмоциональной настроенностью его работ. Сам он — динамичный, резкий в движениях и оценках, а его работы... Во время моих посещений его мастерской на Цветном бульваре, когда Боря убегал за водкой, а я оставался с глазу на глаз с его работами, я погружался в мир тишины и покоя, которые излучали его картины. Даже в больших групповых портретах друзей, в которых за столом восседают Окуджава, Войнович, Балтер, Искандер, Чухонцев, обряженные в фантастические одежды и шутовские колпаки, вместо обычного веселья дружеской пирушки преобладает атмосфера какой-то тихой сосредоточенности, объединяющей этих людей. Его портреты А. Сахарова, А. Синявского, Л. Копелева, Н.Я. Мандельштам входят в созданную им целую галерею образов выдающихся людей того времени. Мы часто встречались в Москве, я бывал у него в Бонне, где он жил во время своей эмиграции, он приезжал к нам в Оксфорд и в Лондон, где проходили его выставки, и наша дружба продолжалась вплоть до его смерти в 2001 году.

* * *

У мамы и отчима, проживающих много лет в комнате бабушки в проезде Серова, наконец подошла очередь на получение квартиры. По нормам того времени простым советским гражданам полагалось на душу по девять кв. ме-

тров жилплощади, что означало, что мама и отчим могли претендовать только на крохотное однокомнатное жилье. Я видел в этом еще одно проявление социалистической демократии: мама, проработавшая врачом почти пятьдесят лет, получала от государства мизер, а любой член МОСХа, ставший таковым благодаря какой-то паршивой книжке или брошюре, получал двадцать квадратных метров в дополнение к обычным девяти, да еще мастерскую, часто превращаемую во вполне комфортабельное жилье. С досады я подал заявление вместе с ними, и в результате мама и отчим получили приличную двухкомнатную квартиру на ул. Костюкова.

Мы же с Ниной купили кооперативную однокомнатную на Ельнинской улице недалеко от метро “Молодежная”. Из роскошного моссховского кооператива в центре Москвы меня к тому времени уже вышибли. Через несколько дней после процесса мы должны были переезжать в новое жилье.

Позвонил нам Борис Петрович Свешников и сказал, что хочет помочь переехать. Погрузили вещички на грузовик и поехали на “Молодежную”. Я впервые увидел это наше новое жилье — восьмизэтажную башню хрущевского разлива. Здесь еще не все было закончено. С лестничной клетки свисали черные кишки проводки, на незакрашенной сырой штукатурке проступали грязные пятна... Кое-как разместились и спустились пообедать в кафешке напротив. И здесь Свешников рассказал.

Накануне он видел сон. Он зачем-то пришел в этот дом, вошел в подъезд, увидел эти черные кишки, поднялся на четвертый этаж (здесь и находилась наша квартира), свернул направо... Дверь ему открыла его покойная мама... в пустой комнате женщины мыли окна... Вскоре он подарил нам рисунок, сделанный незадолго до нашего

переезда: если убрать некоторые сюрреалистические детали, это был вид из нашего окна. Если в природе существуют художники-духовидцы, то таким был Борис Петрович Свешников.

И еще были встречи: Надежда Яковлевна Мандельштам — мудрая женщина, вокруг которой вращался сонм молодых поклонников поэта, Варлам Тихонович Шаламов, похожий на старый огромный разошедшийся шкаф (его я встретил у Надежды Яковлевны), Наталья Ивановна Столярова, секретарь Эренбурга, родившаяся во Франции и много лет отсидевшая в сталинских лагерях. На одной из встреч у Натальи Ивановны хозяйка дома пригласила меня на балкон и зачитала записку от самого Солженицына, где писатель выражал свое одобрение касательно моего поведения на процессе. В конце короткого текста стояла приписка — “После прочтения сжечь”, что Наталья Ивановна и проделала в моем присутствии.

* * *

Несмотря на все эти репрессии и запреты, Виктор Никитич Лазарев снова пригласил меня читать курс истории зарубежного искусства XIX и XX веков очникам и вечерникам искусствоведческого отделения. Свое приглашение он повторил и на следующий (1967–1968) учебный год.

Свою первую (и последнюю) лекцию я начал с Луи Давида и рассказал, как этот певец Французской революции в своей огромной композиции “Клятва в зале для игры в мяч” стирал лица участников этого собрания по мере их гильотинирования и заменял их другими. Аналогия с советским искусством была слишком прозрачной. На следующее утро мне позвонили из университета и ве-

лели к десяти часам явиться на кафедру. Встретил меня Гращенков и с прискорбием сообщил, что мои лекции отменяются и чтобы ноги моей больше не было на отделении. То ли кто-то донес на меня, то ли высокое начальство спохватилось, но моя университетская карьера на этом закончилась.

Так я оказался в среде диссидентов.

Глава 13

Диссиденты

Куда нам до истины, нам бы хоть до правды.
Александр Пятигорский

Сейчас, спустя почти полстолетия после описываемых событий, сам термин “диссидентство” для пишущих об этом предмете часто приобретает некий универсальный характер. Диссиденты — все те, кто так или иначе выступал против режима: подписывал письма протеста, выходил на демонстрации, шел в лагеря и ссылки. Однако состав этого движения был неоднородным, и в этом следует разобраться хотя бы для того, чтобы определить место в нем тех, кого я считал единомышленниками.

К концу шестидесятых диссидентское движение разветвилось по многим направлениям: правозащитники, политические реформаторы, религиозники, сионисты, борцы за восстановление “ленинских норм”, за социализм с человеческим лицом, за право на эмиграцию, за свободу слова и творчества, за возвращение в Крым татар, национа-

листы и просто карьеристы, зарабатывающие политический капитал перед отбытием за границу. Образовывались группы, объединения, общества со своими лидерами и иерархией. Со временем, особенно в эмиграции, эти разные идеологии вступали во враждебные конфликты одна с другой: русские националисты ненавидели западников, истинные социалисты — сторонников иной социальной системы, носители одной и окончательной истины (а таких среди диссидентов было предостаточно) считали предателями идеи бесхребетных плюралистов и т. д.

Я ни в какие группы не входил, хотя сочувствовал всем без исключения: все мы находились под давлением одной тоталитарной власти, и сопротивление ей я считал закономерным и правильным. Но в возможность переделать советскую власть путем политических выступлений я не верил. Я не пошел на Красную площадь с группой во главе с Ларисой Богораз (после этого она получила титул бабушки русской революции) протестовать против вторжения советских танков в Чехословакию. Советское вторжение мне представлялось органической реакцией тоталитарного организма, подобно той, когда спрут выбрасывает щупальца вслед убегающей добыче. Да и в социализм с человеческим лицом я верил не очень. В день, когда у нас в институте планировался митинг в поддержку советского вторжения, ко мне подошел наш институтский партийный секретарь и спросил, есть ли у меня дела на работе, а если нет, не хочу ли я отправиться домой. На что я с радостью согласился. Он опасался, что я выступлю на митинге с какими-то политическими речами. Он ошибался — присутствовать на таком сабантуе я не собирался.

Грубо говоря, мы выступали не против режима, а против лжи режима. “Можно отдать жизнь за родину, но нельзя врать за родину”, — залетел в нашу среду чей-то замеча-

тельный афоризм. Этому учили нас и песни Галича и Окуджавы, и стихи Бродского, рассказы, позже романы Войновича, не говоря уже о русской классической литературе от Пушкина до Мандельштама, Цветаевой, Платонова... Патриотом я, должен признаться, не был. В мое сознание рано запало крылатое изречение доктора Самюэля Джонсона: “Патриотизм — это последнее прибежище негодяев”. А глашатаи советского патриотизма и были в основном большими негодяями. Наверное, думал я, где-то были какие-то родины, за которые можно было отдать жизнь, но за сталинскую Россию, в которой я умудрился родиться? Я понимал тех русских солдат — простых рабочих и колхозников, — которые переходили на сторону немцев, чтобы воевать против коммунистической родины, и будь я тогда на пару лет старше и попади на фронт, я бы, наверное, сдался при первой возможности и был бы повешен на первой осине: советской прессе, где — очень сдержанно, умеренно — упоминалось о гитлеровской политике в отношении евреев, я не верил, а других источников у нас не было. Слово “Родина” (его предписывалось писать тогда с большой буквы) значило для меня не больше, чем адрес на конверте.

Я пишу о себе, как я понимаю тогдашнее мое настроение, но сходная позиция на том или ином уровне осознания была, очевидно, свойственна многим людям моего поколения, не прошедшим войну, по крайней мере многим из круга моих друзей и знакомых.

Что касается нашей позиции по отношению к режиму (как и многих, с ним несогласных), то мы понимали ее не как политическое противоборствование, а как моральное сопротивление, как сопротивление лжи, проникающей во все поры общества и сферы профессиональной деятельности. Так понимали ее Синявский, Даниэль, Есенин-

Вольпин и многие тысячи профессионалов, поющие песни под гитару, пишущие книги для сам- и тамиздата, внедряющие в сознание молодежи неортодоксальные идеи об искусстве, науке, философии, морали, нормах социального поведения, защищающие преследуемых и помогающие осужденным. Считали ли они себя диссидентами?

Очевидно, несовпадение моральных и политических позиций способствовало последующему расколу в общем движении сопротивления, получившему наименование диссидентства.

Раскол произошел и в нашей компании. Как всегда в таких случаях, свою роль сыграли обиды, претензии, амбиции (об этом писать не хочется), но главное заключалось в разном отношении Синявского и Даниэля к происходящему, определяемом, при их самом теплом отношении друг к другу, несходством их характеров, темпераментов, интересов.

Талантливый поэт и переводчик, прошедший войну, раненный на фронте, Юлий Даниэль, казалось, прожигал свою жизнь в веселых околотературных компаниях коллег по перу, друзей и собутыльников. Он был, что называется, рубаха-парень, открытый к людям, к общению и не очень разборчивый в выборе своих друзей. Во время процесса некоторые из них вели себя, прямо надо сказать, не наилучшим образом.

Он был блестящим рассказчиком. За столом он выдавал истории одна ярче другой. Кажется, он их не записывал, и жалко, если они не сохранились. Я запомнил две из них.

Первую ему рассказал его товарищ по отряду разведки, в котором воевал и сам Даниэль, молодой комсомолец из глухого местечка где-то на Украине. Большая и очень бедная еврейская семья. Перед праздником, на котором по ри-

туалу полагалось есть гуся, патриарх семейства дядя Давид отправился к резнику в соседний городок с двумя гусями. В автобусной давке один гусь сдох, и резник отказался резать дохлую птицу. Дома за столом, ко всеобщему удивлению, дядя Давид придвигает к себе блюдо и съедает целого гуся. И следующий эпизод.

Где-то в начале войны. Группа разведчиков продвигается на запад, а навстречу на восток движется поток еврейских беженцев. И вдруг этот приятель Даниэля видит среди толпы свою семью. Он бросается к дяде Давиду — куда? что? как? зачем? Дядя Давид не реагирует и только повторяет: “Не надо было есть гуся”. Весь этот кошмар он воспринимает как кару Божию за нарушение им Закона.

И другая картина, свидетелем которой был сам Даниэль. Группа разведчиков расположилась перекусить на холмике недалеко от шоссе. Рядом остановился танк — что-то там заело. Вылез механик, залез под машину, так что наружу торчали только ноги. Подъехала и остановилась штабная машина. Вылез генерал, что-то начал спрашивать у механика, на что тот ответил густым матом. Генерал выстрелил в беднягу, и машина отъехала. Из люка танка показалась голова командира. Поняв случившееся, он нырнул внутрь, и танковая башня начала поворачиваться. Выстрел — и от машины остались только щепки. Снова показался командир.

— Видели? — спросил он у разведчиков. — Нет, не видели.

С Андреем его сближала их общая любовь к литературе, нелюбовь к уродливым сторонам советской жизни и озабоченность общими проблемами творчества. Но во время суда линии их защиты не совпадали. Синявский не признал свою вину ни полностью, ни частично. Да, я другой, я идеалист, да, я не с вами, но я и не против вас, говорил он в сво-

ем заключительном слове. Тогда это могло показаться уловкой, стремлением защитить себя от обвинения в антисоветчине, но это было искренним убеждением Синявского, и он повторял это неоднократно. Даниэль в своей защите не был столь последователен. В конце процесса он признал вину в том, что они отправляли свои произведения за границу, что в их книгах много политических бестактностей, перехлестов, оскорблений, что они не ангелы и что их следует отправить домой на такси за счет суда. Потом он сам понял свою ошибку, переживал сказанное на суде, и это, думаю, во многом определило его поведение в лагере.

Я бывал шокирован, когда Лариса с малолетним сыном, приезжая со свиданий, рассказывала, как героически ведет себя Даниэль, как он участвует в забастовках, подписывает петиции, как однажды, вскочив на стол, ударил ногой вохровца и как сама она перебрасывала через забор картошку несчастным заключенным и пререкалась с лагерным начальством. Такая позиция оказалась привлекательной для части наших политизированных друзей-диссидентов. В Даниэле они увидели лидера, под знамя которого можно встать в общей политической борьбе. Синявский им такого знамени не давал. Он считал, что дело свое сделал и теперь надо достойно отсидеть свой срок. Розанова же видела свою задачу в том, чтобы сохранить Синявского, и в этом я был целиком с ней солидарен. В лагере Андрей выполнял самую тяжелую работу — работал грузчиком, подсобным рабочим, а в свободное время писал письма к жене. Переписка для заключенных ограничивалась двумя письмами в месяц, но начальство не догадалось точно определить их объем. Письма Андрея были толстые. Лагерная цензура не усматривала в них ничего криминального: ни тебе жалоб на кормежку, на грубость начальства, на тяжесть труда, а только какие-то рассуждения о Пушкине,

о Гоголе, забавные фрагменты лагерного фольклора... Из этих писем возникли впоследствии книги Синявского — “Прогулки с Пушкиным”, “В тени Гоголя”, “Голос из хора”. Такое расхождение взглядов имело для нашего круга роковые последствия.

Будучи уже в эмиграции, Синявский как-то заявил, что у него с советской властью только эстетические разногласия, чем вызвал бурное возмущение бывших диссидентов, испортившее ему много крови. Я думаю, эстетическая позиция гораздо шире и серьезнее политической, ибо она включает в себя понятия красоты, моральных и этических норм, представление о добре и зле, справедливости и бесправии — все то, чем человек политической ориентации может легко пренебречь ради достижения высших (с его точки зрения) целей и что для Синявского (да и для меня) было главной причиной расхождений с советской властью. Политические противники могут договориться, прийти к компромиссу, наконец, переменить свои взгляды. Людям же разных — политических и эстетических — ориентаций договориться труднее. К такому умозаключению я пришел, поварившись в котле диссидентских склок. Наши диссидентствующие друзья твердо встали на позицию Даниэля. Мы не возражали, если бы в их политизированных мозгах не застрял старый советский штамп: “Кто не с нами, тот против нас”. Началось противопоставление героической позиции Даниэля приспособленческой Синявского. Синявского обвиняли в том, что он не участвует в забастовках, не подписывает писем протеста, не садится в карцер, Розанову — что она не дает Андрею включиться в общую политическую борьбу. Наши встречи сопровождались спорами, руганью, оскорблениями в адрес Майи. И это при том, что сами Синявский и Даниэль до конца своих дней сохраняли уважение, любовь и верность друг другу.

* * *

Я несколько раз сопровождал Майю на свидания с Андреем. Он сидел тогда в мордовском лагере, расположенном в поселке под грозным названием Явас (Я вас!). Тот же унылый пейзаж: колючая проволока, заборы, смотровые вышки, колонны эков, сопровождаемых охраной с собаками... В соседнем лагере сидел Алик Гинзбург. Я встречал его жену Арину на станции, когда она приезжала на свидание, устраивал на ночлег у местных жителей, подрабатывающих на такого рода бизнесе. Тогда еще все мы были вместе. Поселок стоял на холмах, и если подняться вверх, то с крыльца стоящего здесь дома была видна территория лагеря: бараки и площадь между ними, довольно опрятная на вид. Как-то — это было воскресенье, нерабочий день, — очевидно, договорившись с Майей, Андрей вышел на площадь с двумя своими сокамерниками. Я воспринял это как рекомендацию. Это были Миша Николаев и Рофалович. С тех пор наша с Ниной двадцатиметровая московская квартира превратилась в своего рода перевалочный пункт для освобождаемых из лагерей.

Первым появился у нас Леня Рендель. Леня был арестован в 1957 году вместе с группой комсомольцев исторического факультета МГУ, боровшихся за восстановление “ленинских норм”. Целью их было пробиться к власти и создать свое — справедливое — правительство. Рендель был у них чем-то вроде теневого министра иностранных дел. Во время нелегальных приездов со своего 101-го километра в Москву Леня останавливался у нас. По утрам он читал газеты, а потом нервно мерил шагами комнату.

— Леня, чем вы взволнованы? — как-то спросил я.

— Сто миллионов негров голодают.

— Леня, посмотрите на себя в зеркало!

Из лагеря он вышел, как будто его только что из печки Майданека вытащили: кожа да кости, зубы, растущие перпендикулярно к деснам...

Следующим освобожденным из лагеря Миша Николаев. Рендель встречал его на вокзале. Мишу надо было как-то устраивать, и Леня предложил ему два варианта. Первый — дом простой, там едят на газете (он имел в виду жилье Петра Якира), второй — аристократический, там еду дают на тарелках (т.е. наша квартира). Практичный Миша выбрал второе.

Настоящего своего имени Михаил Иванович Николаев не знал, а родителей не помнил. Очевидно, они были из крупных партийных руководителей, арестованы, расстреляны или сгинули в лагерях, а Миша попал в детдом для детей врагов народа, где и был окрещен новым именем, отчеством и фамилией. Перед войной детдомовцев отправляли на медицинское освидетельствование, прибавляли им два года и отсылали в ремесленные училища. Так в пятнадцать лет Миша был призван в армию и попал на фронт. После войны работал на стройках где-то на Урале, был арестован за антисоветскую пропаганду, после освобождения пытался перейти границу с Турцией, был схвачен, приговорен к расстрелу. Приговор ему заменили на 25 лет лагерей, а потом сократили до десяти. В целом он просидел 15 лет. И это был не самый большой срок. Как-то, рассказывал он, в лагерной бане он увидел могучего старика с большим деревянным крестом на груди.

— Сколько сидишь, дед? — спросил Миша.

— Да вот сорок третий год пошел.

— Так ты советской власти не видел!

— Бог миловал, — ответил дед.

Дед был из сектантов, почитавших советскую власть дьявольской, а всякую печать — клеймом нечистого. По

освобождении он паспорт выбрасывал и снова садился за антисоветчину и бродяжничество.

В отличие от Ренделя Николаев, появившись в нашем доме, выглядел вполне благополучно. Крепко сложенный, с большой черной бородой, похожий на цыгана, он в лагере предпочитал отсиживаться в карцерах, чем подрывать свое здоровье на тяжелой и вредной работе. Он много читал — книги из лагерной библиотеки, литературные журналы, художественную периодику, которые разрешалось выписывать заключенным и которыми они обменивались. Меня поражала его начитанность, внутренняя интеллигентность, не совпадавшая с его внешним обликом. Миша мог умно и со знанием дела говорить о стихах, о литературе, о Цветаевой, о Пикассо...

Однажды Розанова привела к нам свою подругу Вику Швейцер. Вика работала секретарем секции переводчиков Союза советских писателей и после ареста Синявского и Даниэля собирала подписи под обращениями в их защиту среди членов Союза. Ее специальностью было творчество Марины Цветаевой.

— Вот, — сказал Миша, когда мы сидели за столом, — какой-то мужик Швейцер здорово пишет о Цветаевой.

— А этот мужик как раз сидит перед вами, — показала Розанова на Вику.

Так начинался их роман, закончившийся женитьбой и эмиграцией в Соединенные Штаты.

Глава 14

Штрихи к портретам

Дружба — вино жизни.
Сэмюэль Джонсон

Сократ мне друг, а истин много.
Московская перефразировка Платона

После судьбоносных событий 66-го года я остался без работы, без денег, без возможностей как-то зарабатывать на жизнь. И не только я: многие протестующие, выступавшие в защиту, подписывающие письма, оказались в таком же положении. Спрашивается, как могли выжить такие отщепенцы в условиях тоталитарного режима?

Когда вскоре после ареста Синявского ко мне пришли мои ученики, у которых дома тоже был обыск, и задали традиционный русский вопрос: что делать? — я мог дать только один совет: держитесь своих. “Своих”, т.е. круга друзей, знакомых, единомышленников. Московское общество структурировалось из таких кругов, сомкнутых общностью интересов и нуждой людей в помощи друг друга.

“Нам не надо скорой помощи, нам бы медленную помощь...” — пел Галич. Чем сильнее давило на нас государство, тем крепче становились эти связи. И это работало.

Расторгнутый со мной договор на книгу о Иерониме Босхе в издательстве “Искусство” перезаключил на свое имя мой друг Валерий Прокофьев. Написанная мной книга была опубликована под псевдонимом “Г. Фомин”. Аналогичным образом поступила и сотрудница Государственного Эрмитажа А. Барская с моим расторгнутым договором в издательстве “Аврора” на большой альбом картин Сезанна в советских собраниях, подписав мой текст своим именем. Авансы, пятьдесят процентов гонорара, естественно, целиком шли в мой карман. (Остаток я не получил, потому что обе книги были изданы — увы! — уже после моей эмиграции.)

Все выживали по-разному. Розанова, тоже выгнанная со всех работ, вместе со своим учеником Сашей Петровым начала осваивать профессию ювелира. Майя работала головой, Петров — руками, она выдавала идеи, он проводил их в жизнь. Друзья-художники поделились с ними своей мастерской. Пилили, долбили, точили... сердолики, яшму, простые камушки... медь, серебро... Изделия, выходившие из их рук, по стилю были похожи на русское барокко. Их стали экспонировать на выставках прикладного искусства, Петров стал членом МОСХа. Их броши, кольца, ожерелья пользовались спросом у московских дам. На выживание этого хватало.

* * *

Александр Каменский, один из ведущих критиков МОСХа, отдал мне свою “мастерскую” на Малой Лубянке — комнату в полуподвале с замерзающими зимой водопроводом



Мой дед Самуил Григорьевич
Голомшток, мама Мэри
Самуиловна, сестра деда
Лина Григорьевна Невлер и я.
1929 г.

Левая часть фотографии
срезана, очевидно, там было
изображение отца. В то время
лица арестованных вырезались
из семейных фотографий.



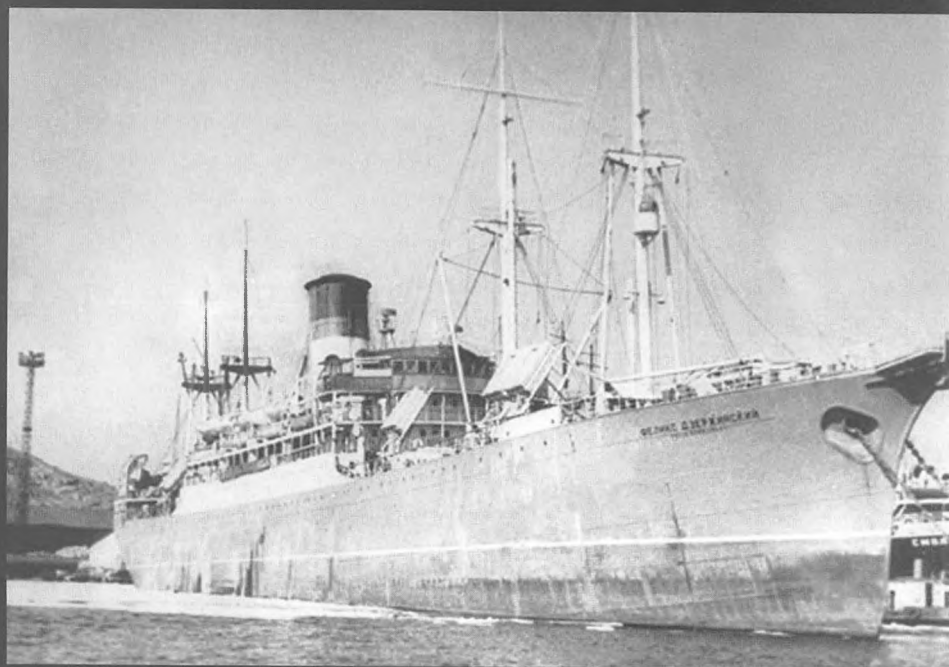
Мои родители — Наум Яковлевич Коджак и Мэри Самуиловна Голомшток.
1930-е гг.



Гильзовая фабрика Торгового Дома А. Катык и К^о.



Отец родился в богатой караимской семье, ближайшими родственниками были Катыки — владельцы известной на всю Россию табачной фирмы.
Слева: здание фабрики «А. Катык и К^о» в Москве (ныне фабрика «Дукат»).



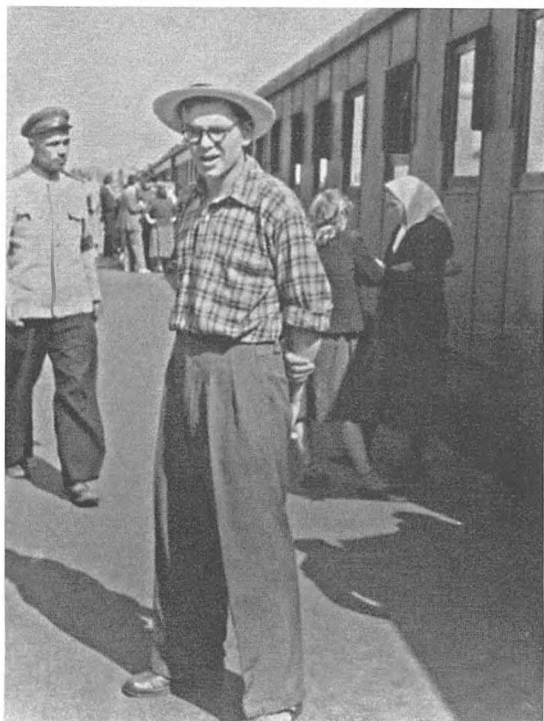
Летом 1939 года мы отправились на Колыму: двенадцать суток ехали на поезде, и еще трое — плыли на знаменитом пароходе «Феликс Дзержинский».



Несколько деревянных домишек и барачков для «спецов», а вокруг безлюдный пейзаж и ряды колючей проволоки. Рисунок заключенного лагеря «Сerpантинка». 1930-е гг.



Летом 1943-го мы прибыли в голодную Москву,
а в 1946-м я поступил в Финансовый институт.



Мои первые
московские друзья.
Слева: Юрий Артемьев.
Середина 1940-х гг.
Вверху: Мирон Этлис.
1956 г.
Внизу: С Ниной
Казаровец — моей
будущей женой — мы
встретились в институте.

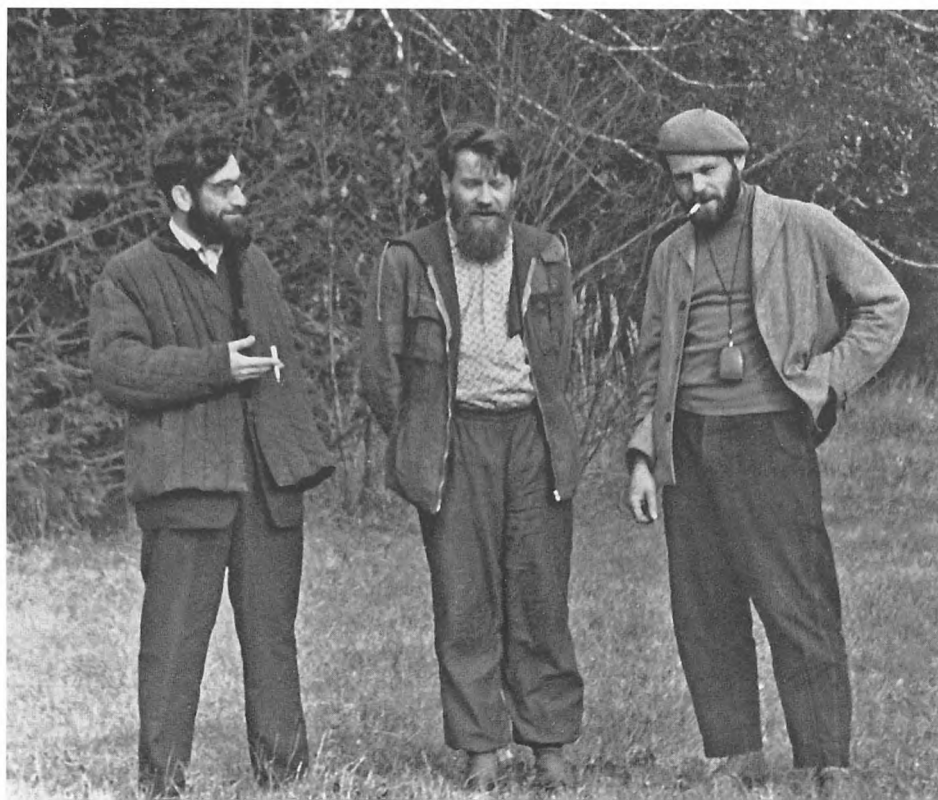




В 1948 году я познакомился с Майей Розановой-Кругликовой, будущей Марьей Розановой-Синявской, наша тесная дружба продолжается и по сей день.



Вместе с Синявскими я путешествовал по Русскому Северу.
Вверху: С Андреем на реке Мезени. Внизу: мы с Николаем Кишиловым. 1958 г.





Синявские заразили меня Севером. С тех пор почти каждое лето я отправлялся в путешествия по Двине, Вычегде, Слуди...

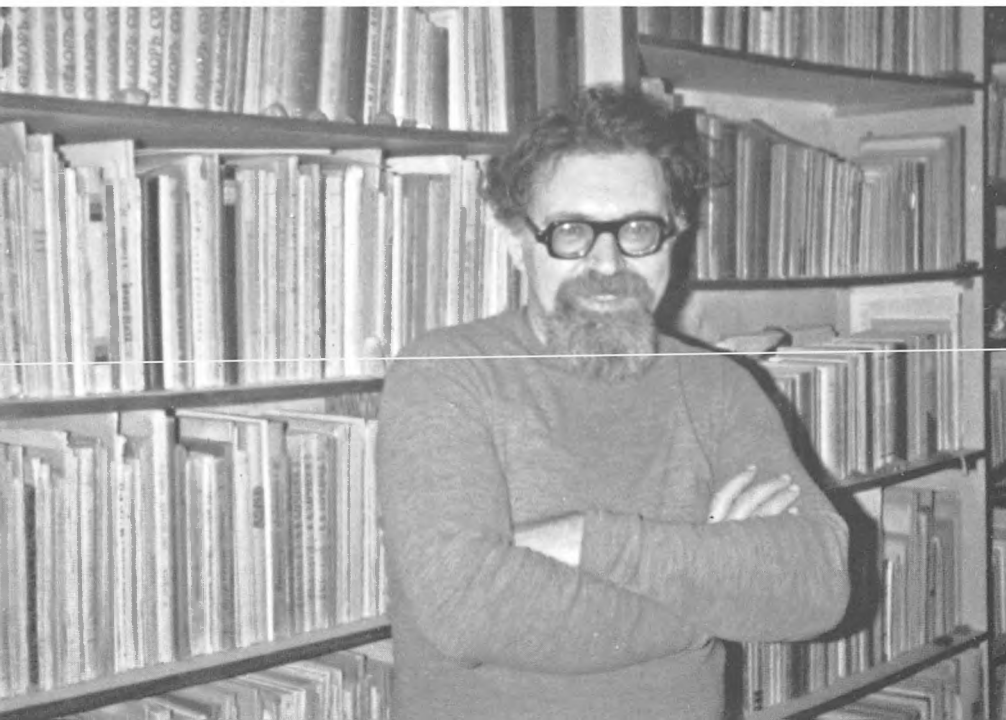


Вверху: Из тех же северных путешествий. С А. Синявским и местными жителями.
Внизу: По вечерам в Хлебном у Андрея и Марьи собиралась веселая компания.
Под водочку и скромный закусон распевались блатные песни.
На фото слева Андрей Меньшутин и А. Синявский, справа — автор. 1950-е гг.



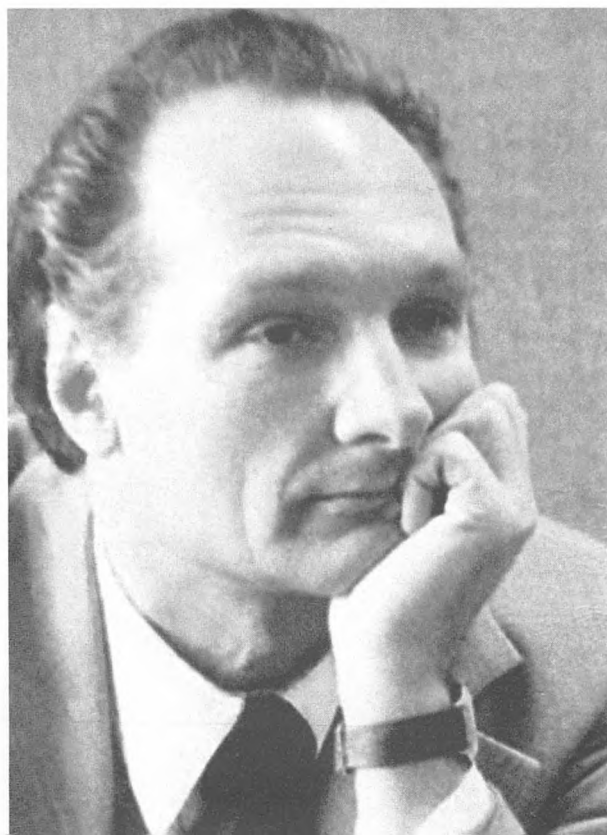


*Вверху: Передвижная выставка советского искусства. Чита, 1954 г.
Внизу: Лев Турчинский в переплетной мастерской ГМИИ им. Пушкина.
Со всей Москвы ему приносили переплестать книги и рукописи,
и его комната была полна нелегалщины.*

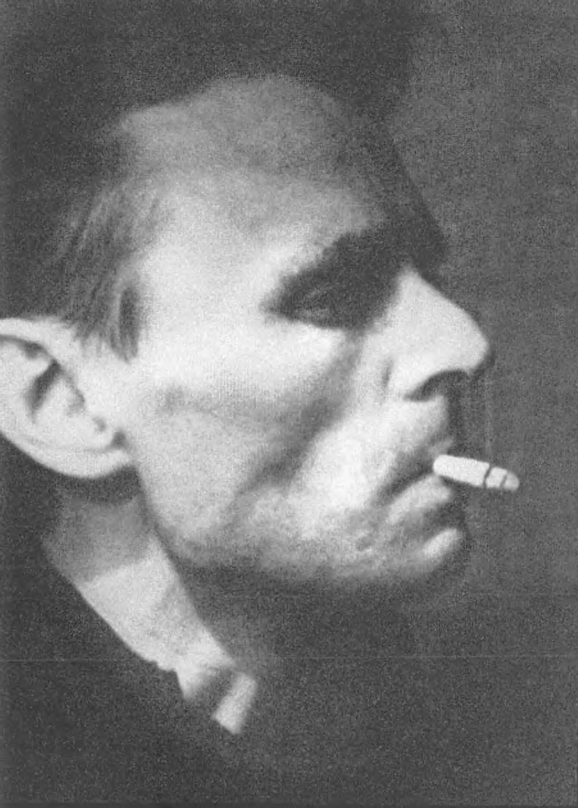




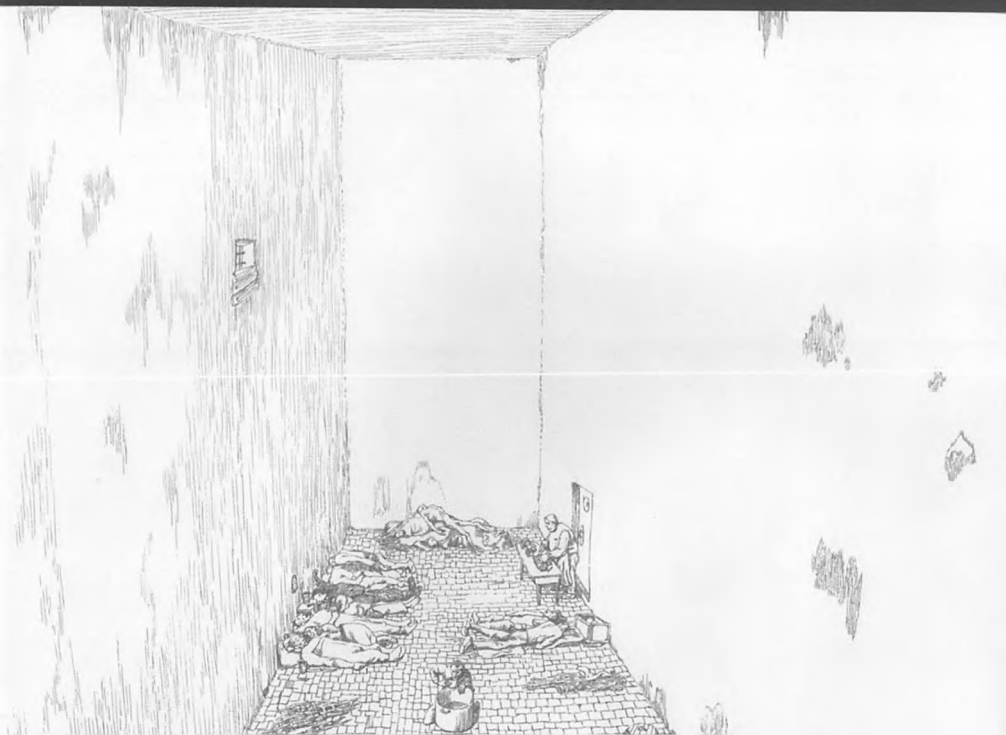
Борис Робертович
Виппер — научный
руководитель моей
дипломной работы
по нидерландскому
искусству XV века.



Георгий Петрович
Щедровицкий вел
знаменитые филосо-
фские семинары
у себя на дому;
мы с ним постоянно
спорили, но за преде-
лами дискуссий
стали друзьями.
Фото из архива
Научного фонда
им. Г. П. Щедровицкого.



Если в природе существуют художники-духовидцы, то таким был Борис Свешников. Внизу: "Камера". Рисунок Б. Свешникова.





Анатолий Зверев.



А. Зверев. Портрет
И. Голомштока. Угольный
карандаш. 1968 г.
Не отрывая руки и ни разу
не посмотрев на меня,
не больше чем
за полминуты он сотворил
удивительный по сходству
портрет.



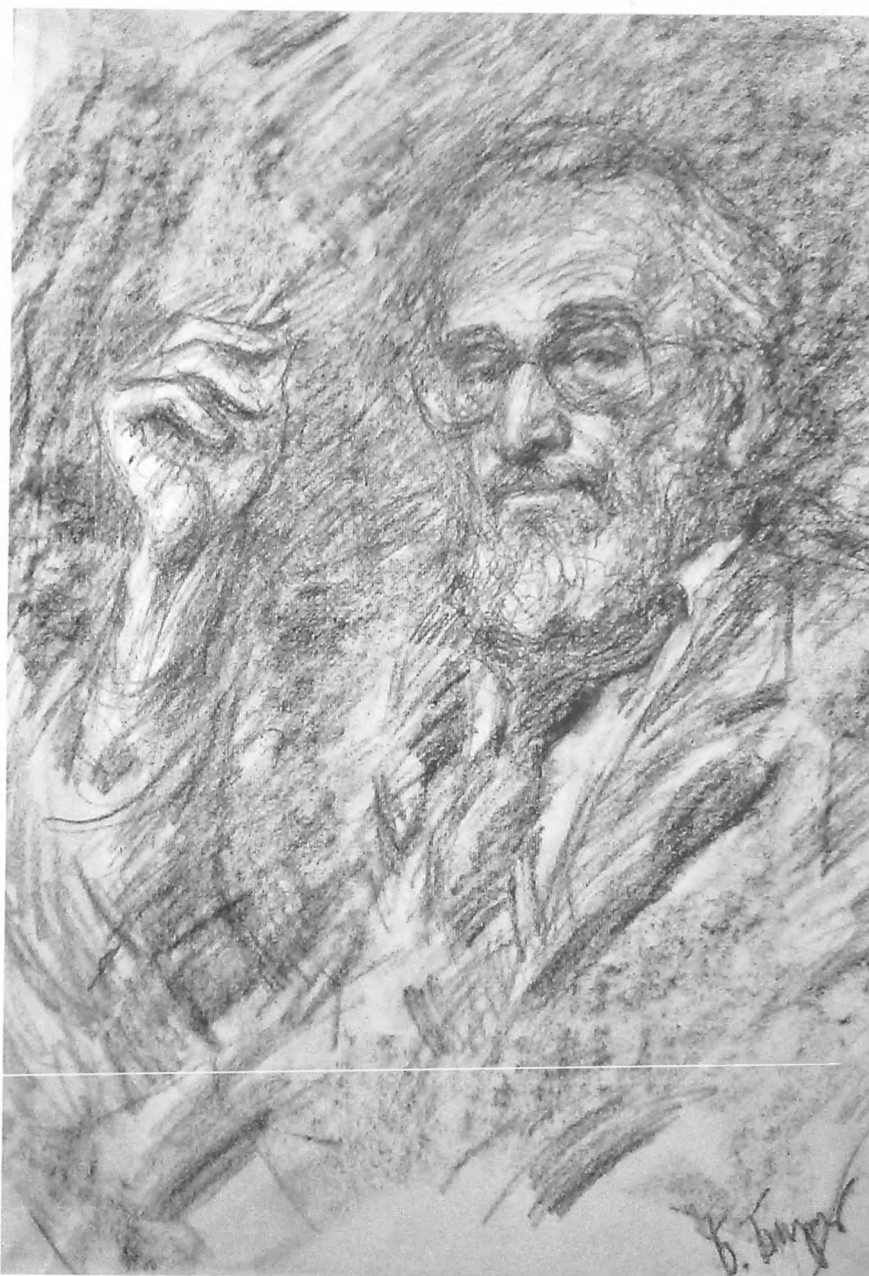
Дмитрий Плавинский, мой друг, один из основателей движения "нон-конформизма" в искусстве.



Вверху: В моей “мастерской” на Малой Лубянке по четвергам собирались друзья. Участвовать в дискуссиях на таком интеллектуальном уровне мне — увы! — больше не доводилось. Я, Вилля Хаславская, Слава Климов, Юрий Овсянников, Глеб Поспелов. 1980-е гг.

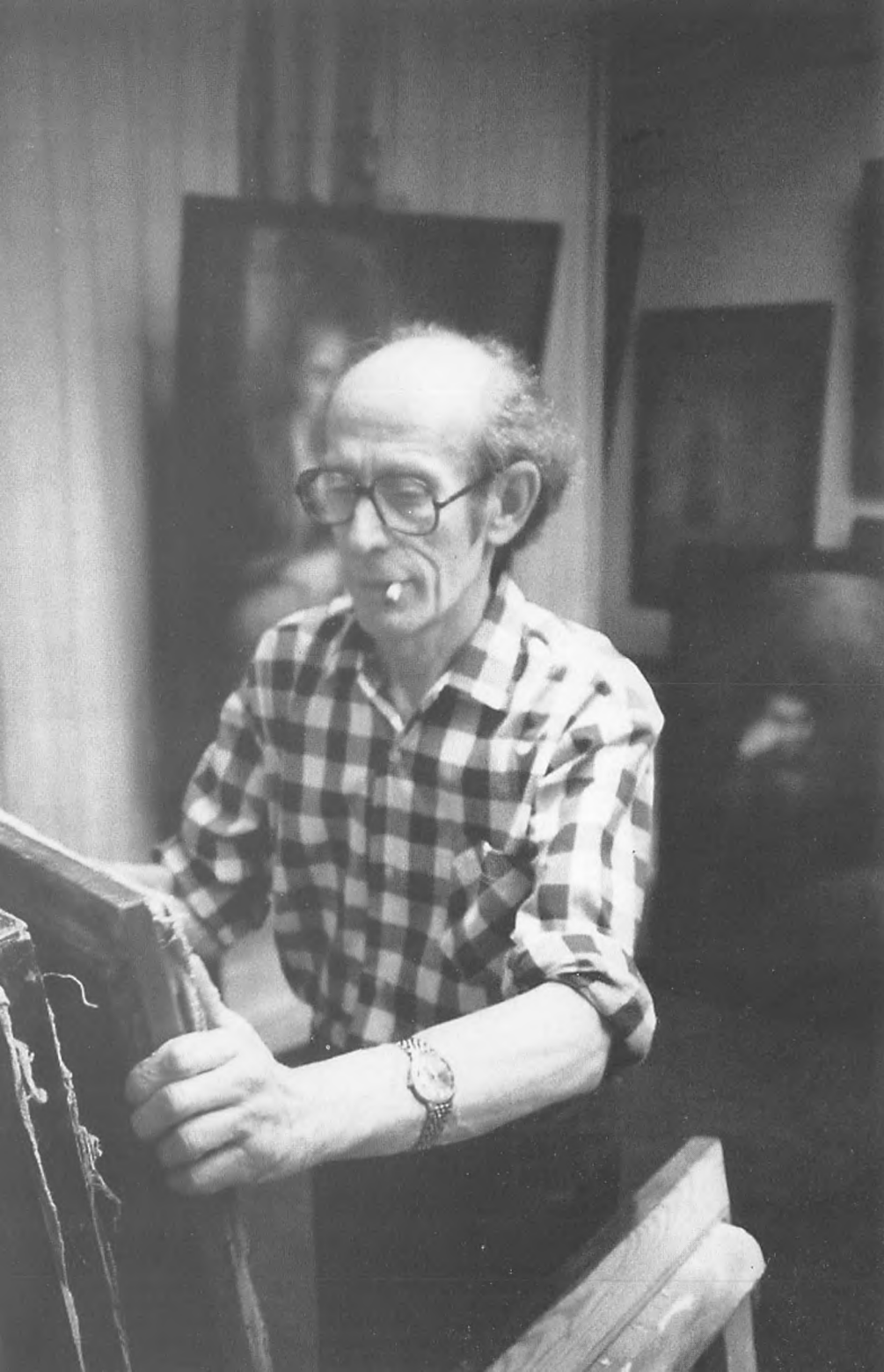
Внизу: Леонид Бажанов среди художников и коллекционеров.
Е. Нутович, В. Длугий, Л. Бажанов, И. Санович, А. Зверев, Н. Смирнов.
Москва, 1979 г. Фото И. Пальмина.





Справа: Борис Биргер. Когда я оставался один на один с его работами, то погружался в мир тишины и покоя.

Вверху: Б. Биргер. Портрет И. Голомштока.





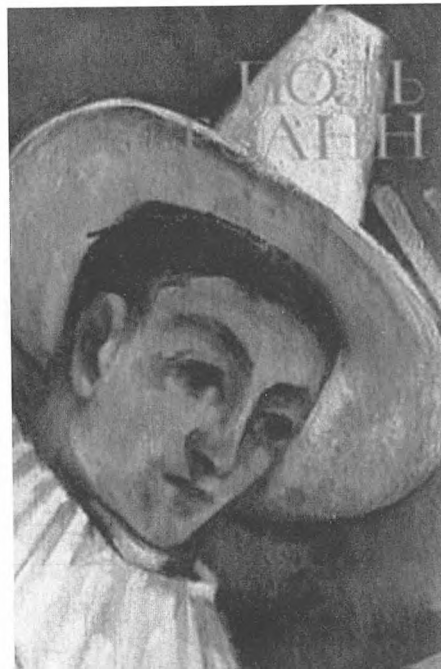
Илья Григорьевич Эренбург, Валерий Прокофьев и автор.
Вечер в Доме культуры МГУ, посвященный Пикассо. 1960 г.



Обложка первой книги
о Пикассо, напечатанной
в СССР в 1960 году.
Авторы И. Голомшток и А. Синявский.



Договоры на монографию
об Иерониме Босхе и на альбом
Сезанна были со мной расторгнуты.
Обе книги были опубликованы
под псевдонимами только после
моей эмиграции в 1974 году.

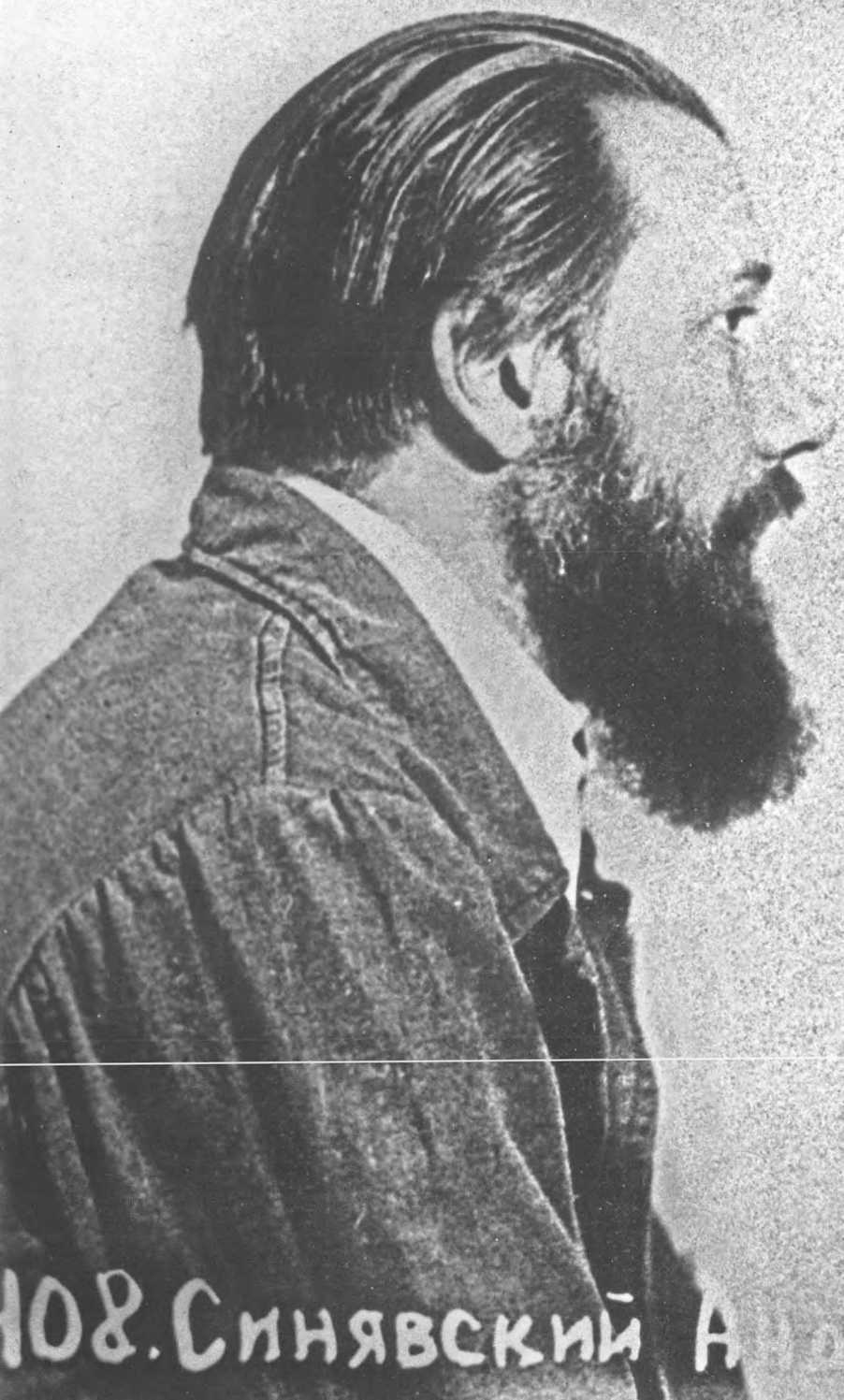




*В верхнем ряду: Лариса Богораз, Марина Домшлак-Герчук,
Марья Розанова-Синявская, Андрей Синявский.
В нижнем ряду: Юлий Даниэль и Юрий Герчук. Начало 1960-х гг.*



Первые аресты.
Вверху: Александр Есенин-Вольпин.
Арестован в 1949 году, повторно в 1959-м.
Внизу: Александр Гинзбург в заключении.
1960-е гг.



108. Синявский А. И. 1978



ЛИЦО КЛЕВЕТНИКОВ

Судебный процесс по уголовному делу Синаевского А. Д. и Даниэля Ю. М.

дрственной безопасности мерой установлено, что под псевдонимом Абрам Терц на Западе печатался старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Синаевский Андрей Донатович, а под псевдонимом Николай Аряк — его соучастник — переводчик Даниэль Юлий Маркович.

В сентябре 1965 года в отношении Синаевского и Даниэля в соответствии с законом и с санкции Генерального прокурора СССР возбуждено уголовное дело. Судит Синаевского и Даниэля Верховный суд РСФСР. Председательствует председатель Верховного суда РСФСР Л. И. Смирнов, народные заседатели — Н. А. Чечина и П. В. Соколов. Секретарь суда — Т. В. Воробьева. Государственное обвинение поддерживает помощник Генерального прокурора СССР О. П. Тенюшкин. Общественные обвинители — члены Союза писателей СССР А. Н. Васильев и З. С. Недрина. Задать осуществляют члены Московской городской коллегии адвокатов Э. М. Коган и М. М. Кисеницкий.

Председательствующий устанавливает личность подсудимых. Синаевский родился в 1925 году в Москве, до ареста работал в

должности старшего научного сотрудника Института мировой литературы имени А. М. Горького. Даниэль родился в 1925 году в Москве, являлся переводчиком. На вопрос председательствующего подсудимые отвечают, что копии обвинительного заключения им вручены. Объявляется состав суда и разъясняются права отвода. Подсудимые не дают отвода составу суда.

Начинается судебное следствие. Секретарь суда зачитывает обвинительное заключение. Превращенным следствием по делу установлено, что Синаевский и Даниэль, занимая враждебную, антисоветскую позицию, начиная с 1956 года писали и нелегально переправляли за границу клеветнические произведения, порочащие советский государственный и общественный строй.

Для переселки своих писаний на Запад Синаевский воспользовался знакомством с дочерью бывшего военно-морского атташе Франции в СССР Замойской (Пельтье) Элен. Он передал их впервые в 1956 году у себя на квартире в Москве и попросил опубликовать за границей под псевдонимом Абрам Терц. Литературные злопыхательства Синаевского были подхвачены буржуазными идеологическими центрами и стали

активно использоваться в антикоммунистической пропаганде. Обвиняемый Даниэль, разделив антисоветские взгляды Синаевского, не только одобрял его деятельность, но в свою очередь изготавилopus «Руки», который содержит клевету на социалистический строй, на политику Советского государства.

Осенью 1960 года в той же квартире Синаевского Даниэль передал Замойской эту рукопись для публикации за границей. Сознательная антисоветскую направленность своих действий и стремление скрыть свое подлинное имя, Даниэль избрал псевдоним — Николай Аряк. В последующем Синаевский и Даниэль продолжали писать и распространять антисоветские, клеветнические произведения.

Подсудимые распространяли их и среди окружающих в рукописях, а также в виде книг, изданных за границей на русском языке и доставленных в СССР нелегально Замойской.

Чтение обвинительного заключения закончилось. На вопрос председательствующего, признают ли они себя виновными, Синаевский и Даниэль отвечают отрицательно, хотя на предварительном следствии и тот и другой признавали свою вину. Они, верни, отрицают участие в антисоветской пропаганде, но вместе с тем признавали, что их произведения могут быть использованы и использовались во

вред нашей стране. Теперь они отрицают все. Однако их враждебная позиция, как говорится в обвинительном заключении, достаточно подтверждается только содержанием их антисоветских клеветнических произведений, изданных за рубежом, и показаниями свидетелей, в частности экспертами, вещественными доказательствами.

Суд переходит к допросу подсудимых.

Свои портреты Даниэль и Синаевский дорисовывают, отвечая на вопросы председателя и членов суда, государственного обвинителя. Подсудимые часто уходят от прямых ответов, изворачиваются. Во время допроса приходится читать цитаты из их книг. И становится ясным, что Даниэль и Синаевский конструируют над самим собой для каждого советского человека понятия, идеалы.

Как еще раз показывает судебное разбирательство, произведение подсудимых взяты вооружением врагам нашей страны. Однако Даниэль, например, пытается замаскировать политический характер передачи своих писаний для публикации за границей. А вынужденный признать, что его «творения» использовались в антисоветских целях, он без колебаний утверждает, что «это не я писал, что теперь он «сожалел об этом».

Ход судебного разбирательства показывает преступность намерений и действий Даниэля и Синаевского.

11 февраля суд продолжит слушание дела.

(Корр. ТАСС)

Слева: А. Синаевский. Тюремная фотография. 1965 г.

Вверху: Судебное заседание по делу Синаевского — Даниэля. 1966 г.

Внизу: Статья из газеты «Правда» от 11 февраля 1966 г.



Александр Петров. Портрет И. Голомштока.

и уборной. Здесь я работал, а по четвергам у меня собирались друзья. Постоянными членами этих собраний были Юра Овсянников, Саша Пятигорский, Славочка Климов, Саша Кондратов, когда из Ленинграда, где он жил, приезжал в Москву. Приходили Леня Баткин, Натан Эйдельман, Юра Щедровицкий, приводили своих знакомых. Выпивали, обсуждали искусствоведческие, исторические, политические проблемы, и участвовать в дискуссиях на таком высоком интеллектуальном уровне мне — увы! — больше уже не приходилось.

Персонажи стучатся у меня в голове, требуют выпустить их на бумагу. Что с ними делать? Сидите смиренно! Писатель я вам, что ли?! Не толкайтесь! Выходите по одному.

* * *

С Юрием Максимилиановичем Овсянниковым я познакомился, когда он, после фронта, работал заведующим книжной редакцией в издательстве “Искусство”. Мы тогда договорились с ним об издании большого альбома графики Пикассо, и я взялся за работу. После ареста Синявского идея показалась мне безнадежной. Но через несколько дней пришел ко мне Овсянников и сказал, что я должен продолжать работу над альбомом, что он постарается сохранить мое авторство, хотя гарантировать не может. Ему это не удалось. Альбом вышел с предисловием М. Алпатова, без имени составителя и автора комментариев. Я дарил его друзьям с надписью “от неизвестного автора середины XX века”, а Синявскому подписал — “псевдониму от анонима”. Это Юра устроил перезаключение договора на книгу о Босхе на имя Прокофьева. Рукопись на рецензию он послал С.С. Аверинцеву.

Сергей Сергеевич Аверинцев тогда называл себя “исполняющим обязанности теолога”, ибо других в Москве не было. В рецензии он указывал на ошибки автора, который, в частности, говоря о средневековых ересьях, путает их антицерковность с антихристианством... ибо “христианство — это совокупность всех живущих, живших и будущих жить людей”. Как будто он писал эту рецензию не для советского учреждения, а для духовной семинарии. Но рукопись он оценил высоко и рекомендовал для печати. Он вообще, вопреки марксизму-ленинизму, умудрялся “жить в обществе и быть свободным от общества”. Как-то на научной конференции в Институте философии Аверинцев вдруг встал с места и произнес своим скрипучим голосом: “Преыдуший докладчик говорил о какой-то ленинской теории двух культур. Я не понимаю, что это...” На него замахали руками: сиди, мол, и не нарушай благолепия научного собрания (о теории двух культур знал любой первокурсник любого советского учебного заведения). Будучи верующим, он как мало кто у нас понимал и ощущал духовную сущность культуры. Как-то в разговоре со мной он сказал о Каждане, которого считал своим учителем и уважал за ученость: “А.П. смотрит в лужу, видит отражение и думает, что это небо”. Когда Аверинцев в нашем музее читал публичные лекции о Средневековье, он движениями рук очерчивал контуры готического собора, отходил в сторону, смотрел на созданное своим воображением воздушное здание, указывал на его разные части и объяснял их сакральное значение. Как будто он видел храм, и это было поразительно.

Юрий Максимилианович Овсянников был прирожденным издателем. Основанные им серии “Города и музеи мира”, “Малая история искусств”, “Жизнь в искусстве” и др. по полиграфическому оформлению и научному уровню

были лучшими из того, что издавалось в этой области. Идеи приходили к нему одна блистательнее другой. Мне он поручил подготовить проект многотомной серии по истории мировой цивилизации. Работа была в высшей степени интересная. Я составил план серии и пригласил для участия ученых, которых считал наиболее компетентными в своей области знаний. Для обсуждения проекта директор издательства “Искусство” Севастьянов собрал у себя совещание. Пришли будущие авторы отдельных томов: С.С. Аверинцев, А.П. Каждан, А.М. Пятигорский, С.П. Маркиш, Л.Н. Гумилев... Обсуждался состав серии и ее содержание. Аверинцев говорил о необходимости ввести сюда отдельный том о еврейской диаспоре, без которой трудно понять средневековую историю, Пятигорский отстаивал дополнительный том об истории буддизма... Очевидно, Севастьянов первый раз в жизни слышал такие слова, как “этнос”, “диаспора”, “эсхатология”... После собрания он вызвал к себе Овсянникова и сделал ему внушение: “Эх вы! Какие люди собрались! Коньяком не могли обеспечить!”

Этот Севастьянов раньше был инструктором ЦК партии и вслед за Хрущевым громил советскую интеллигенцию. Когда времена потеплели, его перебрали директором в издательство “Искусство”, где он правил относительно либерально, а когда снова подморозило, он изгнал из издательства либералов, а сам по спирали взлетел на должность инструктора ЦК. В числе изгнанных был и Юра Овсянников.

Юра никогда не говорил мне о причинах своего увольнения из издательства. Но его друг Борис Бернштейн, один из крупнейших наших искусствоведов, пишет в своих воспоминаниях: “...У Овсянникова начались неприятности: история с Босхом стала известна — и теперь лишил-

ся работы сам благодетель”*. Юра был не только моим “благодетелем”: многих отщепенцев он подкармливал внутренними рецензиями, и, очевидно, не только я издавал у него книги под псевдонимом.

Какое-то время он был без работы, проедал свою библиотеку, писал книги о русской архитектуре, об истории Санкт-Петербурга. Потом его взяли в издательство “Советский художник”. И здесь тоже проявился его издательский талант. Он основал ежегодник “Советское искусствознание”, первый выпуск которого вышел в 1973 году. Я тогда уже был на Западе, но Борис Бернштейн пишет, что “ничего подобного в отечественной издательской практике не было”**.

Выше меня на голову, с копной седых волос, Юра обладал большим человеческим обаянием и внутренним благородством. Иногда после наших собраний на Малой Лубянке мы с ним отправлялись “добрать” в какую-нибудь забегаловку. Как-то сидели мы в баре “Метрополя”. За стойкой молодая красивая девушка, сильно уже поддавшая, сцепилась с соседями и начала поносить советскую власть. Атмосфера накалялась. Юра подошел, вывел ее из бара, посадил в такси, отвез домой и через полчаса вернулся обратно.

С началом перестройки Юра то один, то с женой, очаровательной, умной Ириной, и сыном приезжал к нам в Оксфорд и Лондон. Я познакомил его с моим другом Эндрю Нюрнбергом — владельцем крупного литературного агентства в Лондоне, и в конце восьмидесятых, в самое тяжелое для москвичей время, Юра мог зарабатывать на жизнь в московской конторе Нюрнберга. Наша крепкая дружба продолжалась до смерти Юрия Максимилиановича в 2001 году.

* См.: *Бернштейн Б.* Старый колодец. Спб., 2008. С. 311.

** Там же, с. 312.

* * *

С Александром Моисеевичем Пятигорским я был знаком ровно пятьдесят лет. В Москве мы общались почти ежедневно, потом наши пути разошлись. Могу ли я утверждать, что знал его хорошо? Востоковед и философ, он парил в высоких, недоступных мне сферах буддийской метафизики и европейской рациональной философии, и с такой перспективы наше повседневное бытие, очевидно, представлялось ему не очень серьезным объектом для размышлений. Так я сейчас его представляю, и писать о нем нелегко.

Окончив философский факультет МГУ, он поступил в Институт востоковедения, где работал в кабинете Ю.Н. Рериха, учеником которого себя считал. Пятигорский стал буддологом, но почему-то считал себя буддистом. Каждый раз за столом, перед тем как опрокинуть рюмку водки, Саша погружал в нее пальцы, обрызгивал присутствующих, произнося при этом, очевидно, сакральную буддийскую формулу — “магама... магама...” и еще что-то неразборчивое. В чем кроме этого заключался его буддизм, я не понимал. Для меня, законченного агностика, все это было, по выражению Джеймса Джойса, йогабогумуть, что не мешало самым теплым отношениям между нами. Буддологом он стал выдающимся. И не только буддологом.

Мысль его работала как мотор, и меня удивляла его способность писать при любых условиях — на кухне, в баре, за столом, держа бумагу на коленях. Вместе с Ю.М. Лотманом Пятигорский разрабатывал новую в то время область науки — семиотику. Я присутствовал на первом семиотическом конгрессе, состоявшемся в Москве в 1961 году. Сама по себе семиотика меня мало интересовала, но неортодоксальность очень далекого от марксизма подхода к пробле-

мам науки, звучащая в докладах всех выступающих на конгрессе, меня привлекала. На последнее заседание явилась группа ортодоксов с намерением дать отпор пропагандистам этой идеалистической буржуазной лженауки. Речь главного из них, Мейлаха, была агрессивной по содержанию, хамской по тону и заканчивалась угрозой типа “мы еще поговорим с вами в другом месте”. На это красный от гнева Вячеслав Всеволодович Иванов (Кома, как называли его друзья) своим скрипучим голосом, повышая октаву на каждом периоде, прокричал: “Я в качестве семиотика классифицирую речь Мейлаха как гнусный! политический!! донос!!!” Пятигорский, председательствующий на этом заседании, прореагировал мгновенно: “Я протестую! Предлагаю Вячеславу Всеволодовичу снять слово “гнусный!”” Иванов кивнул, и ортодоксы с возмущением покинули зал конференции, унося с собой прилипшее к ним клеймо доносчиков. Как я понимаю, разговора “в другом месте” не последовало.

В многочисленных застольях, столь обычных тогда в Москве, Саша развлекал нас легендами и историями из восточного фольклора. Одну легенду про мудрого старика-буддиста я запомнил (Саша повторял ее неоднократно). Когда сына его убили, старик молчал. Когда изнасиловали его жену, старик молчал. Ну и т.д. Ибо для этого мудреца жизненные перипетии, по сравнению с буддистской надмирной гармонией, в которой он пребывал, были лишь мелкой рябью на иллюзорной поверхности бытия. Такая мораль могла быть поводом для серьезных размышлений, но со временем я стал подозревать, что она в чем-то определяет поведение и самого Пятигорского.

Саша не принимал участия в диссидентском движении — говорю это не в укор ему. Но когда арестовали известного буддийского монаха Дандарона, он встал на его

защиту. Начались неприятности с властями, его положение в России стало непрочным. Я тогда уже пребывал на Западе и помогал ему с эмиграцией: устроил вызов и визу в Англию, добился его назначения на освободившееся место преподавателя в Школе восточных исследований при Лондонском университете, где он и проработал вплоть до пенсии, организовал для его семьи временное жилье... Все это стоило мне немалых хлопот. Но, приехав в 1974 году в Лондон, Саша, так сказать, отряхнул со своих ног прах прошлого. В эмигрантских распрях, которые нам, его бывшим друзьям, доставляли много неприятностей, он занял позицию строгого нейтралитета. Он молчал, как тот старик из буддийской притчи, когда травили Синявского, когда навешивали ярлыки русофобов на его бывших друзей. С другой стороны, в лекциях, выступлениях, появляясь на экране телевизора, он сыпал парадоксами, раздражался, кричал, поучал своих оппонентов. Его философские экстравагантности привлекали к нему учеников; постепенно он превращался в гуру, своего рода культовую фигуру. Мне это не нравилось, и в последние двадцать лет мы редко встречались.

Но я снова сильно забежал вперед.

* * *

Ростислав Борисович Климов (Славочка, как звали его друзья) жил неподалеку, на Сретенском бульваре, в доме бывшего страхового общества "Россия". В университете на искусствоведческом он учился на два курса старше, чем я. Ученик Б.Р. Виппера, он был звездой своего курса, и прямой путь ему был в аспирантуру, но партийное начальство выступило против — общественной деятельностью не за-

нимается, в комсомоле не состоит, политически не подкован... С тех пор и до конца дней Климов проработал главным научным редактором издательства “Искусство”.

С детства Славочка страдал эпилепсией и находился под наблюдением врачей. Лечение затормозило болезнь. По крайней мере при мне с ним случился припадок только однажды — когда умер его постоянный лечащий врач. Я привел к нему Мирона Этлиса, Мирон, уезжавший в Магадан, передал его Юре Фрейдину, одному из талантливых московских психиатров, и, кажется, припадки больше не повторялись.

Работал он дома и в издательство ходил только за зарплатой. Ему это прощалось не только по болезни: как научный редактор Климов был незаменим. Под его редакцией выходили самые престижные книги издательства: многотомные “Всеобщая история искусств”, “Памятники мирового искусства” и многое другое. Работал он по ночам, а днем спал. Я часто забегал к нему после работы в музей, часов в шесть-семь. Славочка с трудом просыпался: “Что-то плохо я чувствую себя по утрам”, — говорил он.

Но делом жизни для Климова была его работа над проблемой эволюции всего мирового искусства — “от бизона до Барбизона” и далее. Иногда мы с ним засиживались до утра, и он излагал свои концепции развития: циклы, стадии, этапы, периоды... схемы, таблицы, графики... В общей сложности он занимался этим почти сорок лет. Славу беспокоила такая медлительность работы, он опасался, что его идеи кем-нибудь и где-нибудь будут реализованы. Я его успокаивал: его концепции настолько оригинальны, настолько несут на себе отпечаток его личности, что ни в какую другую голову, какой бы гениальной она ни была, они прийти не могут. В этом я был убежден.

Я бы не назвал Славочку большим эрудитом. Свои идеи он черпал не из книг. Он смотрел и думал. Смотрел он в основном на репродукции. Подлинники в зарубежных музеях были для него закрыты. Только однажды он с группой искусствоведов побывал в Голландии и, кажется, еще раз в Италии. Но у него был такой глаз, такое понимание увиденного (не прочитанного!), каких я ни у кого, кроме Климова и Виппера, не встречал. К сожалению, он мало писал. Но его статьи о Брейгеле, Рафаэле, Матиссе стали классическими образцами глубокого искусствоведческого анализа, на которых училось следующее поколение историков искусства.

В его облике, манерах, в отношении к людям было что-то от аристократического демократизма, унаследованного им, очевидно, от своих предков. Недаром он хранил как реликвию шапокляк (складной цилиндр), иногда надевал его и тогда становился похож на английского сэра из романов Честертона. Мурочка Бекер, его жена еще со студенческих времен, была внебрачной дочерью митрополита обновленческой церкви Введенского, хотя ничего церковного в ней не замечалось. Она работала редактором в издательстве “Аврора”, и мы с ней делали тот самый большой альбом картин Сезанна из советских собраний, о котором я уже писал. Я горжусь этим альбомом, потому что нам удалось все фрагменты картин Сезанна показать в натуральную величину.

На Мурочке держался дом. Вокруг их дочери Маши вилась молодая поросья, Ростислав Борисович был для них “дядюшка”, и он воспринимал такое обращение как должное. По праздникам устраивались веселые вечеринки с выпивкой, танцами, а главное, с разговорами. Приходили друзья — Валерий Прокофьев, Женя Левитин, Римма Собко, приходил Юрий Золотов...

Золотов был сокурсником Климова по университету и партийным (или комсомольским) здесь деятелем. Именно он был одним из тех, кто преградил Климову дорогу в аспирантуру. Сам он сделал академическую карьеру, стал профессором, специалистом по французскому искусству XVIII века. Свою первую лекцию, еще будучи аспирантом, он читал на нашем вечернем отделении. В перерыве он имел несчастье подойти к нам и спросить, понравилась ли его лекция. “Нет, не понравилась”, — ответил один из наших великовозрастных студентов и, повернувшись спиной, продолжал прерванный разговор. Думаю, это травмировало Золотова на всю жизнь.

На вечеринках у Климовых он скромно сидел где-нибудь в уголке, а Слава спокойно, в академическом тоне разбирал его серые сочинения и объяснял автору, что тот плохо понимает, о чем пишет. Золотов удрученно кивал головой. Очевидно, он чувствовал несоизмеримость своего с Климовым научного потенциала, и на душе у него кошки скребли.

Перед моей эмиграцией я поехал попрощаться с Климовым в Коктебель, где Слава отдыхал каждое лето. “Пусть бы все это обрушилось, хотя бы на мою голову”, — говорил он тогда, имея в виду режим, при котором надо навсегда (как мы думали) расставаться с друзьями.

После перестройки каждый раз, когда я приезжал в Москву, мы встречались. Год от года его положение становилось все более угрожающе нестабильным. Когда умерла Мурочка, и жизнь Славы пошла под откос. Его, беспомощного в вопросах житейских, опекала Римма Собко. Когда я преподавал в университете, она училась на моем курсе, и более талантливой студентки я никогда больше не встречал. После аспирантуры она сама стала популярным преподавателем искусствоведческого отделе-

ния. Римма перепечатывала и редактировала рукописи Климова, хранила у себя его научный архив, снабжала литературой... Все мы думали, что они поженятся. Но “сидина в бороду, бес в ребро”: Слава влюбился в другую, женился, и женитьба оказалась в высшей степени неудачной. Разваливающийся советский режим обрушился и на его голову. При бешеной инфляции конца восьмидесятых его зарплата в издательстве стала почти символической. Жил Слава буквально впроголодь.

И все же один раз ему удалось получить свой профит от изобилия перестройки. Один его знакомый архитектор, ставший теперь процветающим и богатым дизайнером по интерьерам, как-то спросил, не согласится ли он прочитать курс лекций по истории искусств его жене. “Знаете, — сказал он, — я ее очень люблю, но она дура, и мне с ней совершенно не о чем говорить”. Слава задумался, а потом сказал мне: “Пожалуй, я проверну на ней свою теорию развития искусства”. На полученный гонорар Климов, кажется, в последний раз смог поехать в свой любимый Коктебель.

В 2000 году мне сообщили, что Слава тяжело болен и хочет меня видеть. Из Лондона я прилетел в Москву. Слава лежал в общей палате Боткинской больницы. Был он худой, как скелет. Меня он узнал, но почти не реагировал, а только ел то, что принесла ему дочь Маша. На следующий день он умер. Лечили Климова от двустороннего воспаления легких, но умер он от рака.

* * *

Саша Кондратов (Александр Михайлович) жил в Ленинграде и, приезжая в Москву, останавливался у нас. Вы-

пускник Ленинградского института физкультуры и спорта им. Лесгафта, он стал журналистом и популяризатором в самых разных областях научных знаний. С Туром Хейердалом он расшифровывал письма острова Пасхи, с Ю.В. Кнорозовым занимался языком древних майя, с академиком А.Н. Колмогоровым — проблемами математики... Я не встречал человека с такой способностью моментально абсорбировать любые идеи и тут же переносить их на бумагу. Саша мог после серьезной пьянки, когда все присутствующие уже лыка не вязали, смахнуть со стола тарелки и объедки, поставить на их место пишущую машинку и с пулеметной скоростью печатать свое очередное сочинение. Он издал три десятка книг, не говоря уже о бесчисленных статьях и публикациях о лингвистике, кибернетике, древних цивилизациях, биологии, палеонтологии, математике, геологии... Мы с ним собирались написать книгу об эволюции зарубежного искусства XX века от Марселя Дюшана до минимализма (под названием “От нуля к нулю”) на основе моей концепции о развитии. В самиздате ходили его сюрреалистические стихи и рассказы, произведшие на меня тогда сильное впечатление. Но, по-моему, самым значительным его достижением в области научной мысли была основанная им новая наука — удология. Вопреки теории Марра, Кондратов доказал, что в основе славянских языков лежал лишь один первоэлемент — УД. Элемент этот составлял здесь корень всех слов, имеющих положительное значение: сУД, пУД, мУД(рец), чУДо, УДа (удочка), прУД, холУ(о) Д, (холить уд — любимое занятие славян во время морозов), блУД (понимаемый ими как нечто хорошее) и т.д. Кондратов сопровождал свою теорию словарем на двести слов русского языка с этим корнем. Было бы очень жаль, если он не сохранился.

Для нас Саша был своего рода точкой координат: он сводил друг с другом интересных людей; Овсянникова знакомил с Бобой Бродским, Кнорозова — с Пятигорским, меня впервые привел в дом Климовых (или Климова к нам — я уж не помню). В наших посиделках у меня в “мастерской” на Малой Лубянке он был четвертым постоянным членом. Из его рассказов мне запомнился один, относящийся ко временам его журнализма, когда Кондратов брал интервью у академика Е.С. Варги, и тот поведал ему об одном эпизоде из своей жизни.

Варга занимал пост директора Института мирового хозяйства и мировой политики и был чем-то вроде консультанта Сталина по этим вопросам. В 1947 году над ним, как тогда и надо многими, начали сгущаться тучи: замолчал телефон, друзья и коллеги уклонялись от встреч. И в один прекрасный день в его квартиру явились майор и лейтенант КГБ с ордером на арест. У Варги был телефон прямой связи со Сталиным, и он попросил разрешения позвонить. Трубку взял сам Сталин. “Иосиф Виссарионович, меня пришли арестовывать”, — сообщил Варга. Сталин помолчал и велел передать трубку старшему. Их разговор Варга слышал лишь со стороны майора:

— Да, товарищ Сталин... слушаюсь, товарищ Сталин... так точно, товарищ Сталин... нет, товарищ Сталин... не могу, товарищ Сталин... номер пистолета... — и передал пистолет и трубку лейтенанту. И следующий разговор:

— Так точно, товарищ Сталин... слушаюсь, товарищ Сталин... — и выстрелил в майора.

Лейтенант вызвал шофера, они сняли со стены ковер, упаковали в него тело майора и удалились. Очевидно, бедолага-майор считал, что должен подчиниться приказу только своего непосредственного начальника, за что и поплатился жизнью. Быль это или легенда, сочинил ее Варга

или приукрасил Кондратов, думаю, рассказ этот стоит сохранить как свидетельство времени.

О дальнейшей судьбе Кондратова я знаю только со слов его друзей. Он занимался инвентаризацией восточных древностей в антирелигиозном музее, находившемся в Казанском соборе, выступал в цирке с номерами из практики йоги... Саша умер в 1993 году, ему не было еще шестидесяти.

* * *

И жил одно время в моей “мастерской” грустный человек по имени Саша Морозов. Современные моралисты поставили бы его не последним в длинном ряду московских чудаков.

Окончив классическое отделение филологического факультета МГУ, Саша получил работу в отделе эстетики издательства “Искусство”. Дали ему на редактуру том “Маркс и Энгельс об искусстве” под общей редакцией М.А. Лившица. Саша жаловался: “Я, конечно, не марксист, но нельзя же так искажать цитаты классиков” (Маркса он читал по-немецки). Произошел конфликт, и Морозов ушел из издательства. Подрабатывал в московской патриархии переводами с древних и современных языков, но поступить на постоянную службу в советское учреждение он не мог (да, очевидно, и не хотел), а на работу сторожем, дворником или истопником его с университетским дипломом не принимали. Наконец общими усилиями его удалось пристроить шофером на автобазу. Здесь Саша тоже вел себя не по общепринятым правилам: километров себе не приписывал, бензином не приторговывал, начальству на лапу не давал, чем вызывал всеобщую ненависть здоро-

вого коллектива. Со временем шоферня поняла, что перед ними юродивый, а юродивых на Руси уважали испокон веков. Ему стали помогать, защищали его перед начальством, приглашали в компании распить бутылку-другую. И тогда Саша ушел с работы. Почему?! “Не мог соответствовать”, т.е. отвечать взаимностью, объяснял Морозов на этот законный вопрос. Тогда бездомного Морозова и поселили в моей “мастерской”.

Для себя Морозов занимался Мандельштамом. Именно он по разным сохранившимся спискам и устным рассказам реконструировал подлинный текст “Разговора о Данте” великого поэта. Вместе с Женей Левитиным, Юрой Фрейдиным и Юрой Левиным он был членом комиссии по архиву и наследию Мандельштама при Надежде Яковлевне, вдове поэта. Но и тут его сверхчувствительная натура не выдержала каких-то несправедливостей, и с комиссией он порвал.

Последний раз я видел Сашу Морозова осенью 1989 года на митинге на площади Дзержинского, посвященном открытию привезенного с Соловков камня, когда во второй раз после шестнадцатилетнего перерыва приехал в Москву. Площадь была буквально забита толпой. Около большого валуна, рядом с бронзовым изваянием основоположника концлагерей и тайной полиции, была сооружена трибуна, с которой старые соловчане и лидеры перестройки произносили речи, посылая проклятия кровавому режиму КПСС-КГБ. Темнело, и по мере сгущения сумерек в здании напротив зажигались огни. К концу митинга все огромное здание КГБ сияло огнями, как рождественская елка. Несмотря на волны народного гнева, КГБ работал. Уже тогда это воспринималось как зловещий символ времени. На трибуну поднялся и Саша Морозов. Он читал стихи Мандельштама и плакал.

* * *

И были знакомства, встречи, иногда мимолетные, иные продолжающиеся на протяжении нескольких лет, которые оставляли след в моей жизни. Они тоже стучатся и просят-ся на бумагу.

Где-то в конце пятидесятых годов Андрей Волконский со своим ансамблем давал концерт барочной музыки во французском зале нашего музея. Кажется, тогда мы с ним и познакомились, хотя наши тесные отношения начались гораздо позже.

Не знаю, что притягивало этого потомственного Рюриковича и выдающегося музыканта к моей скромной особе. Очевидно, это была моя восприимчивость к музыке.

Музыкой я загорелся в семь лет, когда услышал по радио “Шествие гномов” Грига. Потом в этом моем увлечении наступил длительный перерыв: с нашими бесконечными московскими переездами было не до музыки, на Колыме радиоприемники были запрещены, а из черных тарелок громкоговорителей можно было услышать исключительно советские песни и фольклор народов СССР. По приезде в Москву это мое увлечение вспыхнуло с новой силой. Я начал ходить на концерты в Консерваторию, посещать здесь занятия профессора В.А. Цуккермана, которые он устраивал для таких же, как я, безграмотных меломанов, объясняя нам значение музыкальных терминов, разбирая сонатную форму и иллюстрируя это исполнением на рояле отрывков из произведений великих композиторов. Это было великолепно! Мама работала в поликлинике старых большевиков в Старопанском переулке, куда прикрепляли переживших террор революционеров “местного значения”. Одна из ее пациенток служила билетершей пятого яруса филиала Большого театра и пропускала меня без би-

лета. Ночами мы простаивали за билетами на концерты зарубежных гастролеров — Вилли Ферреро, Леонарда Бернстайна, Исаака Стерна... Когда же билеты было достать невозможно или денег не было, я занимался подделками: счастливый обладатель билета проходил через контроль, через барьер передавал надорванный билет мне, я заклеивал его с обратной стороны прозрачной наклейкой для марок, передавал следующему... и так несколько раз. Я любил музыку, как можно любить женщину, ничего в ней не понимая.

Волконский — блестящий композитор, клавесинист, создатель “Мадригала” — первого в России ансамбля старинной западной музыки — обладал еще качеством, не часто встречающимся у представителей этой профессии: стремлением донести музыку до восприятия дилетантов вроде меня, получая при этом удовольствие от сопереживания при прослушивании произведений. Это нас и сблизило в первую очередь.

Помню его полупустую комнату, украшенную лишь полками с пластинками и книгами, где по ночам он ставил мне записи Малера, Шенберга, Штокгаузена и объяснял принципы атональной музыки. Мы слушали и пили водку (как для кого, а для меня алкоголь лишь обострял восприятие). Как-то Андрей привел меня к своему другу — слепому музыковеду (не помню его имени), у которого, по его словам, было самое крупное в Москве собрание записей композиторов XX века. И опять — Шенберг, Пуленк... Для меня это было открытием современной музыки.

Приехав после войны с родителями из Франции, Волконский привнес в нашу затхлую атмосферу европейский дух раскованности и свободы. Многих привлекал его подлинный, природный демократический аристократизм. Никаких сословных и национальных предрассудков для него

не существовало. Он мог общаться на равных с московской богемой, с интеллектуальной элитой, с высокопоставленными чиновниками советских учреждений, с алкашами... Он как-то сказал мне, что его удивляет какое-то почтительное отношение к себе со стороны партийных бонз. Действительно, его не притесняли, как многих тогда модернистов в музыке и изобразительном искусстве. В 1964 году в переполненном Малом зале Московской консерватории исполнялась его знаменитая “Сюита зеркал”, “Мадригал” гастролировал по городам Советского Союза. Дело было, конечно, не в изменившемся отношении начальства к современной музыке. Пресловутым “классовым чутьем” эти партийные бонзы уже учуяли воз дух грядущих идеологических перемен: не столько народ, сколько дворянство, аристократия были опорой величия святой Руси.

Когда в начале семидесятых Волконский решил эмигрировать, я знакомил его со своими бывшими студентками, намылившимися в Израиль и готовыми вступить в фиктивный брак, чтобы вывезти несчастного гоя из Страны победившего социализма. Одной из таких okazji Андрей и воспользовался. Он терпеть не мог всякого чванства происхождением или кровью. Один эпизод уже из времен эмиграции как нельзя лучше его характеризует.

Это относится уже к началу восьмидесятых годов, когда среди русской эмиграции началась травля Андрея Синявского как русофоба и еврея (?!). В редакцию журнала “Синтаксис”, издаваемого Синявскими в Париже, пришло тогда письмо от некоей г-жи Рожковской, в котором она клеймила разных синявских, амальриков, паустовских и прочих представителей нации, поработавшей русский народ. Волконский откликнулся письмом, тоже присланным в “Синтаксис”. Привожу его целиком.

“Г-жа Рожковская!

Ваше письмо в редакцию “Синтаксиса” застало меня врасплох. Вы вынуждаете меня, прямого потомка Рюрика в XXX колене, раскрыть большую семейную тайну: Рюрик вовсе не был варягом, а был обыкновенным жидом. Вот с каких пор мы начали порабощать вас, русских!

Признаюсь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это особенно хорошо удавалось.

После ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться в подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску, мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского, а заодно и французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским недорослем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он-то семилетку закончил, а я нет.

Князь Андрей Волконский”

Но мой мемуар становится похожим на мартиролог: большинства тех, о ком я пишу, уже нет в живых.

* * *

Пожалуй, следует вернуться к повести о жизни и необычайных приключениях моего друга Мирона Этлиса.

В 1956 году Этлис вернулся из лагерей. Еще в Рязани он женился на простой женщине безо всякого образования, работавшей в детском саду для неполноценных. Во время его отсидки Шура по лимиту перебралась в Москву, работала штукатурицей на стройках, получила квартирку где-то на окраине. Она приезжала к нему на свидания, а когда началось время реабилитаций, приехала в Караганду, устроилась официанткой в офицерскую столовую

и умудрилась в списке кандидатов на освобождение передвинуть его фамилию из конца куда-то в начало (реабилитация производилась в алфавитном порядке). Мирона не реабилитировали, а амнистировали — на нем еще висело дело “о готовящемся покушении на Маленкова”. В Москве он оказался на нелегальном положении: без прописки, без работы, безо всяких средств к существованию.

А дальше история развивалась как будто по сценарию судьбы, специально написанному для этого человека.

Прочитав в газете постановление ЦК от июня 1957 года об антипартийной группе Кагановича, Молотова, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова, Мирон помчался на Дзержинку, написал на листе ватмана заявление, смысл которого сводился к “за что вы меня, сволочи, посадили?!”. Бумага за один день прошла все инстанции и спустилась с резолюцией о реабилитации (как будто покушение на впоследствии осужденного партией снимало вину с покушавшегося!).

Мирон начал работать дежурным психиатром города Москвы. По вечерам он часто заходил к нам на Петровку и выдавал истории из своей врачебной практики. О том, как он брал на Ваганьковском кладбище женщину, которая пришла с лопатой и стала разрывать могилу своего мужа, потому что он явился ей во сне и просил принести кое-какие вещички, требующиеся для его загробного существования. Ее документы удостоверяли, что она является штатным лектором Общества по распространению политических и научных знаний и что тема ее лекций — сон и сновидения. О том, как его вызвали на Казанский вокзал, где сидел какой-то узбек и ни на какие вопросы не отвечал. Его отвезли в психушку, где он продолжал молчать, пока Мирон не догадался привести к нему дворника-татарина. Услышав речь на понятном языке, тот заплакал и разговорился. Кре-

стьянин из глухого аула, он решил впервые посмотреть на Москву, но, оказавшись в вокзальной круговерти, подумал, что попал в ад, и на всякий случай решил замолчать. Ему собрали деньги и отправили назад. О том, как брал замдиректора музея Скрябина, где тот по ночам вкупе с женским персоналом устраивал сексуально-мистические камлания, якобы следуя учению великого композитора. Здоровенный мужик встретил Мирона ножом. О том, как спасал студентку, которая, стоя на карнизе десятого этажа нового здания МГУ, разговаривала со звездами и собиралась к ним присоединиться. Мирон вылез из соседнего окна, прошелся по карнизу и втолкнул девицу внутрь помещения. О героическом подвиге врача Этлиса даже писали в газете. Помимо работы в качестве дежурного психиатра, Мирон принимал участие в разного рода комиссиях, консультациях, осмотрах больных в клиниках. Мы как-то подсчитали время его работы — получалось двадцать пять часов в сутки. Дело в том, что Мирон был экспресс-диагностик. Я как-то присутствовал на его приеме. Заводская медсестра привела парня, которого только что вынули из петли. Парень был в полной отключке и на происходящее не реагировал. Мирон спросил у него что-то, совершенно для меня непонятное, и вдруг пациент пришел в себя, начал говорить, и тут же Мирон выписал для него направление в психбольницу. На мой вопрос, что с парнем, Мирон ответил, что у него сексуальные проблемы с женой. Все это заняло не больше пяти минут.

Практическая психиатрия не могла целиком удовлетворить интеллектуальные запросы человека, стремящегося к научной деятельности. Но за время отсидки Мирона наука сильно продвинулась вперед: то, чем он занимался еще в Рязани, то, что он называл тогда классификацией наук, теперь обретало официальный статус отвергаемой ранее

кибернетики. И Мирон понял, что безнадежно отстал. С горя он, как говорится, пошел по бабам. Бывает, с кем не случается, но Мирон по не изжитой за сталинские времена привычке русского интеллигента еще и вел дневник, и дневник этот прочитала Шурочка. Как-то она подстерегла меня у выхода из Ленинской библиотеки и устроила скандал. Она кричала, что убьет этого негодяя, а заодно и меня: она почему-то считала меня соучастником в его любовных похождениях. Кончилось все это трагически.

В один прекрасный летний вечер, когда Мирон пришел домой и лег поспать, ворвалась Шурочка с бритвой и три раза полоснула его по груди. Мирон умудрился встать, спуститься по лестнице к соседям, позвонить в “скорую помощь”, после чего потерял сознание. На суде он принял вину на себя, и Шура получила срок условно.

Оставаться в Москве Мирон уже не мог. Я посоветовал ему Колыму — край, мало исследованный, открывающий много возможностей для научной деятельности. С тех пор и до настоящего времени Мирон проживает в Магадане. Недавно я получил библиографический указатель работ Мирона Марковича Этлиса, изданный в Магадане к его 80-летию. Чем только не занимался там Мирон за эти почти пятьдесят лет! Он был одним из основателей Института биологических проблем Севера, работал над вопросами образования, над архитектурным планированием в северных условиях, занимался борьбой с алкоголизмом путем примеси к водке биологической добавки, что на треть снизило ее потребление на Севере (в наркологии этот проект до сих пор считается экспериментом века); он был председателем магаданского отделения общества “Мемориал”, помогал Эрнсту Неизвестному в установке здесь памятников жертвам режима; он опубликовал сотни статей, очерков по самым разным вопросам...

При этом я не знаю, защитил ли он хотя бы кандидатскую диссертацию.

Шурочка приходила к нам на Петровку, полная ярости и негодования. “Капустка вот, Шурочка, водочка...” — успокаивали мы ее. Но она продолжала негодовать: “Собака, гад... тра-та-та... тра-та-та... я его все равно убью, я ему теплые кальсоны послала, ведь замерзнет как собака...” И все это на одном дыхании. Да, есть еще женщины в русских селеньях!

Глава 15

Спор о вере

В то время начиналось повальное увлечение молодежи церковью. Солженицын объявлял это духовным возрождением России. За годы моей преподавательской деятельности я достаточно насмотрелся на новообращенных. Многие крестились просто из диссидентства, выражая тем самым протест против политики атеистического государства. Некоторые носом почуяли запах православного русофильства, которое три десятилетия спустя определило официальную идеологию путинской России. Едва ли таким неопитам крещение шло на пользу. Невежественные в вопросах веры, они сразу же начинали проповедовать такие идеи, от которых стошнило бы подлинного христианина. И были, очевидно, немногие, кто приходил к вере по зову сердца или сохранял ее по семейной традиции.

Старые друзья Синявского Андрей и Лидия Меньшутины, ставшие и моими друзьями, были верующие по традиции. Искренне убежденные в спасительной роли христианства, они по доброте душевной стремились путем

крещения распространить это благо и на своих друзей, в том числе и на меня. Как-то они привели меня к о. Дмитрию Дудко, благо жили они неподалеку друг от друга, в районе метро “Щелковская”. Был день рождения священника, и в довольно обширной прихожей толпилось много народа — в основном новообращенная молодежь. Как-то так случилось, что я стоял близко от закрытой двери в столовую, и когда последовало приглашение к столу, я вошел первым, прошел вперед и оказался стоящим прямо перед иконостасом. Вдруг вся компания опустилась на колени, устремила взоры на иконостас, т.е. на меня, и запела что-то церковное. Я опуститься на колени не мог в силу своей непричастности к религии и стоял, опустив голову, как идиот. Большого конфуза я, кажется, в жизни не испытывал.

Несколько раз мы выходили из-за стола на лестничную клетку покурить, и я разговаривал с новообращенными. По моему мнению, это был сброд*.

* * *

Где-то в начале шестидесятых мои молодые друзья привезли меня в поселок Семхоз, где находился приход о. Александра Меня, и с тех пор я стал бывать у него. Отец Александр давал мне читать свои рукописи (неизданных тогда еще книг) о библейских Малых и Больших Пророках, об истории Ветхого Завета... Меня поражали яркость их литературного языка и живость воссоздания природы древней

В 1980 году о. Дудко был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, в тюрьме написал покаянное письмо, был прощен и начал выступать в духе русофильского православия вплоть до объявления Сталина верующим христианином, по-отечески заботящимся о России. Когда в конце восьмидесятых умирал Андрей Меньшутин, он отказался исповедоваться этому священнику. “Нельзя делать вид, что ничего не было”, — были его слова перед смертью.

Иудеи, на фоне которой происходили события Библии, а главное — новая для меня идея о неправомерности разрыва между иудаизмом и христианством. Меня считал этот разрыв досадной исторической ошибкой. В начале шестидесятых годов (так он говорил мне) он собирался уехать в Израиль, чтобы проповедовать иудеохристианство; через несколько лет он счел, что время для этого еще не пришло.

Я не был религиозным по воспитанию, но само занятие искусством определяло серьезное отношение к вопросам веры. Экуменизм о. Александра находил отклик в моей душе. Может быть, во мне играли гены предков — внерелигиозных евреев и караимских раввинов. Может быть, свою роль сыграла Библия, которую я прочитал довольно рано. В Ветхом Завете меня привлекла идея не Бога, очеловечившегося в образе Христа, а Творца без лика и образа, предписывающего людям нормы поведения и не дающего рациональных объяснений необходимости их исполнения. Почему нельзя смешивать мясное и молочное, почему можно есть мясо животных только с раздвоенными копытами, зачем обрезать крайнюю плоть? А это не твоего ума дело, поступай как сказано, иначе — кара. (Точно так же я в первый и, кажется, в последний раз шлепнул по попе Веньку (сына), когда годовалый младенец пытался вставить пальчики в электрическую розетку. Ну мог ли я объяснить ему природу электричества, даже если бы сам ее понимал?) А за хорошее поведение будет тебе вознаграждение в этой жизни, что же будет потом — тебе этого все равно не понять. Формула смерти: “И приобщился к народу своему”. Ни больше, ни меньше. Неясные упоминания об аде и рае я встречал лишь у поздних пророков. Если Бог существует, решил я, то его отношения с человечеством должны были бы быть как у мудрого старца с неразумным младенцем. И я стал

ощущать себя чем-то вроде иудеоагностика, если такая категория существует.

За гостеприимным столом в своем доме о. Александр выглядел человеком светским. Разговаривали мы на самые разные темы; я в основном слушал, он говорил и много рассказывал о себе.

Его отец был ортодоксальный иудей, мать принадлежала к Катакомбной православной церкви, и сын с детства воспитывался в двух вероисповеданиях. Мень рассказал, что в жизни его произошло два чуда, в результате чего он стал священником.

Он учился в Московском пушно-меховом институте и одновременно прислуживал в церкви, что, естественно, повлекло за собой репрессии (кажется, его исключили из института). Он уехал из Москвы, поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, но и оттуда был исключен за религиозные убеждения. А за этим последовало то, чего и следовало ожидать, — повестка в военкомат. Мень явился в это учреждение и откровенно, как на исповеди, изложил военному свою ситуацию. И этот типичный военный бюрократ, подумав, вдруг посоветовал Меню немедленно уехать из Иркутска, а что касается следующей повестки, то он ее задержит. Это было первое чудо. Приехав в Москву, Мень пришел к какому-то церковному иерарху (ни имени, ни чина его я не помню) с просьбой принять его в духовную семинарию. Они беседовали целую ночь. Наутро иерарх сказал, что при знаниях Меня никакая семинария ему не нужна и что он готов его тут же рукоположить. Что и было сделано. Мень считал это вторым чудом.

В процессе наших бесед я спросил у о. Александра: как может он крестить людей, совершенно не подготовленных к принятию религии? “Я не могу отказать в крещении, —

ответил он (привожу его слова по памяти), — а времени доводить их до моральной кондиции у меня нет... Что же касается церковных инспекторов, проверяющих законность крещения, то я просто ставлю на стол водку, и они, уходя, уносят в карманах бутылки с коньяком”.

Экуменизм Меня был для православной церкви ересью, а еретики не только в религии, но и в идеологии, и в политике представляются ортодоксам страшнее прямых противников. Недавно я прочитал в газете, что во дворе какого-то московского монастыря жгли книги о. Александра. И у меня нет сомнений в том, кто был инициатором событий 9 сентября 1990 года, когда так и оставшийся нераскрытым убийца размозил топором голову о. Александра Меня.

* * *

Ни в какую веру обращать меня Мень не собирался, в отличие от некоторых моих доброжелателей, в том числе Меньшутиных. Я не поддавался, но их склонность к миссионерству приносила плоды.

В начале шестидесятых годов принял крещение Синявский. Я удивился: почему христианство, православие? На эти мои вопросы Андрей ответил, что, если бы он был евреем или турком, он принял бы иудаизм или ислам. Вера была для него вопросом традиции, желанием, так сказать, “приобщиться к народу своему”, делом сугубо внутренним, не нуждающимся в поддержке церковным обрядом. Я ни разу не видел, чтобы он перекрестился или произнес слова молитвы; не думаю, чтобы в Москве он часто ходил в церковь, если ходил вообще. Был ли Синявский религиозным по натуре? По воспитанию он был скорее нейтраль-

ным в вопросах веры. Но если понимать под этим не церковную обрядовость, а некий моральный императив, то да: вся его жизнь, его лагерные годы, годы эмиграции служат тому доказательством.

Не без влияния Меньшутиных крестилась и дочь Сталина Светлана Аллилуева. Она работала в Институте мировой литературы им. Горького, там же, где работали Меньшутин и Синявский. После хрущевских разоблачений сотрудники стали ее сторониться. Как-то после работы в институтской раздевалке Синявский по врожденной вежливости подал ей пальто. Она заплакала. С тех пор они стали общаться.

Я встретился со Светланой один раз у Меньшутиных. Она хотела, чтобы я давал уроки по истории искусства ее сыну Осе. Мы сидели за столом, и от нее шла такая тяжелая волна мрака, что мне стало не по себе.

Возможно, это была аберрация: за ней невольно возникла тень ее отца. Я отказался, сославшись на свою некомпетентность.

Глава 16

Перед эмиграцией

Уехать я хотел, сколько себя помню. С середины шестидесятих годов узкий ручеек эмиграции потянулся в Израиль, но влиться в него я не мог, потому что, во-первых, боялся своим отъездом навлечь дополнительные неприятности на Синявского и, во-вторых, хотел дождаться его освобождения. Оставалось только ждать.

В конце 1968 года умерла мама от лейкемии. Я бегал по врачам, старался достать какие-то недоступные заморские лекарства... На поминках здорово напился и в присутствии сослуживцев отчима — партийных хозяйственников — на чем свет стоит поносил советскую власть. Хотя при чем тут советская власть?

В жизни мы мало соприкасались. Мама до последнего дня перед тем, как лечь в больницу, работала на двух или полутора ставках, а потом лечила друзей, родственников, знакомых, соседей. Денег она не брала, только иногда в доме появлялись коробки конфет, а на шкафу стоял фаянсовый белый медведь с золотой надписью: “Врачу Мэри Самуи-

ловне Голомшток от благодарных пациентов”. У меня были свои дела, и я редко появлялся в бабушкиной квартире. Мама не пыталась меня воспитывать. Она, конечно, боялась за меня и только старалась направить меня по обычному пути, с которого я постоянно сбивался. Моих интеллектуальных завихрений она не понимала. Я часто обижался: когда я увлекался музыкой и надеялся на день рождения получить новую пластинку, она подарила мне рубашку; когда я отпустил бороду (а вернее, перестал бриться), мне была преподнесена электрическая бритва...

В следующем году у нас с Ниной родился сын. Мы пошли на этот шаг по строгой договоренности: мы уезжаем из этой страны. Ибо взять на себя ответственность за его воспитание в условиях страны победившего социализма я не мог. Ну чему мы могли его научить? Делать из него антисоветчика и кандидата в тюрьгу или врать, закрывать ему глаза на действительность, как поступали тогда многие родители со своими детьми?

Говорят, что на созревание ребенка во чреве матери очень влияет то, что видит в своем окружении его будущая родительница. Во время Ниной беременности я сочинял книгу о Иеронимусе Босхе, и по всей нашей квартире были разбросаны репродукции картин этого великого провидца: фантастические монстры, inferнальные чудовища, адские муки грешников... Может быть, это и определило пристрастие Вениамина с детских лет к ужасам, фантастике, триллерам в кино, телевидении, литературе.

Перебивался я в те годы внутренними рецензиями, авансами под договоры, заключенные на других лиц, и статьями, публикуемыми под чужими именами. Пока на какой-то конференции не подошла ко мне Ирина Александровна Антонова и спросила, не хочу ли я вернуться в музей. Не думаю, что она сделала это предложение по

собственной инициативе. Очевидно, где-то в верхах решили нашего брата куда-то пристраивать. А то сидит такой диссидент дома, стучит на машинке, а что, спрашивается, он печатает? Дешевле и проще было отдать его под надзор коллектива, чем держать у его дома топтунов и радиофицированные машины. Так в 1970 году я снова оказался сотрудником отдела Запада Музея изобразительных искусств.

За время моего семилетнего отсутствия музей мало изменился. Новый (после смерти Виппера) замдиректора по науке И.А. Данилова была серьезным специалистом по итальянскому Возрождению и привлекала на наши лекции и конференции выдающихся ученых; блистали своими докладами Аверинцев, Михайлов, Гуревич, Гаспаров, Эткин... Расширилась и выставочная деятельность, налаживались связи с зарубежными музеями. Но общесоюзный бардак распространялся и на нашу скромную деятельность.

В 1970 году в музее проходила огромная выставка работ Ван Гога из голландских собраний, первая по межгосударственному соглашению — между СССР и Голландией. Я должен был принять работы по их прибытии на аэродром. Собственно, моя функция заключалась лишь в том, чтобы подписать бумаги приемки и сопроводить груз в музей. Все остальное — погрузка, доставка, разгрузка, — как и всегда в таких случаях, осуществлялось Дирекцией выставок и панорам Министерства культуры СССР.

Утром в музей приехал культурный атташе голландского посольства г-н Ханнема — человек высокой культуры и большого обаяния. Мы на его машине отправились в “Шереметьево”, ведя по пути высокоинтеллектуальные разговоры об искусстве, о Босхе (в Амстердаме тогда проходила его выставка). Ровно в три часа по расписанию приземлился специальный лайнер с работами Ван Гога. Подъехала милицейская машина с мигалками, которая должна

была сопровождать груз. Прошел час, другой, а машина с работниками дирекции не появилась. Подъехал автобус с пассажирами на обратный рейс, пилот занервничал и заявил, что сейчас же отправляется вместе с грузом обратно в Амстердам. Я мотался по аэродрому в поисках рабочих и машины, наконец договорился с какой-то разболтанной полуторкой и подогнал ее к самолету. Был март, слякоть, и мы с директором голландского музея господином Кроллер-Мюллером, сопровождавшим выставку, стаскивали ящики с картинами в подтаявший снег, в лужи, а потом грузили их на грузовик, чтобы отвезти на шереметьевский склад. Наконец появился представитель дирекции и с ним один пьяный рабочий. Машины при них не было. Я называл Антоновой, Антонова называла в министерство, начали подъезжать посольские лимузины и министерские “Волги”. Не представляю, чем бы все это кончилось, если бы тут не подвернулся управляющий (или директор) амстердамской авиалинии — тертый голландец, указавший на стоящий в стороне пустой почтовый фургон. “Куда ехать-то?” — спроил шофер. “Следуйте за милицейской машиной”. У парня отвисла челюсть. А дальше картина, достойная кисти самого Ван Гога.

Впереди на красный свет движется милицейская машина, сзади — кавалькада посольских машин, в середине — шофер, не понимающий, куда его везут, а внутри фургона — я, упираясь спиной о стенку, придерживаю ногами ящики с картинами, чтобы их не растрясло.

Часам к десяти вечера подъехали к музею. Перед входом выстроилось музейное и министерское начальство. “Это что, — возгласил пьяный рабочий, — их еще наверх тащить? Да пошли вы все!..” Начальство скромно потупилось. И мы с Леоновичем и директором музея Кроллер-Мюллером потащили ящики вверх по Красной лестнице.

Брать деньги перепуганный шофер наотрез отказался.

Помимо своих прочих обязанностей я выступал в музее еще в двух ипостасях: с одной стороны, я был председателем похоронной команды, т.е. провожал в последний путь наших старичков и старушек, а с другой — был директором музейных капустников. Когда конференсье после имен действующих лиц провозглашал: “Директор капустника — Голомшток!”, зал почему-то разражался хохотом. Этим мое директорство и ограничивалось.

* * *

В 1970 году заканчивался срок заключения в лагерях Юлия Даниэля, и мы с нетерпением ожидали его освобождения. В это время мне вдруг начали приходить повестки из военкомата: мне, как младшему лейтенанту финансовой службы, предписывалось явиться на полугодовые (или трехмесячные?) офицерские сборы. Первая мысль, пришедшая мне в голову: просто меня на всякий случай хотят убрать из Москвы из-за возвращения Даниэля. Я эти повестки игнорировал, пока меня не поймали на работе и вручили таковую под расписку. Пришлось мне явиться в военкомат.

Никаких обычных следов военных сборов, на которые призываются сотни человек, я здесь не обнаружил. В пустом помещении за столиком сидел офицер с голубыми погонами. Я объяснял ему, что у меня только что родился ребенок, что жена не работает, что я единственный кормилец семьи и что, наконец, я уже двадцать лет не имел дел ни с какими финансами. Он только смотрел на меня рыбьими глазами, а в конце сказал, что я завтра должен предстать пред главным военкомом Москвы.

Я предстал и привел полковнику те же самые аргументы. На что получил строгое предупреждение: если я завтра в 10:00 не явлюсь с вещами на сборы, мое дело передается в суд и я получаю семь лет лагерей (это он преувеличивал) за уклонение от военной службы.

День прошел в колебаниях. Честно говоря, я боялся. За двадцать лет я совсем отошел от финансовых дел (да и раньше мало в них понимал) и, будучи посланным в воинскую часть, мог натворить в ее финансах такое, что лагеря уж точно были бы мне обеспечены. Решил не являться и начал готовиться к посадке, в который уже раз. Нина по своей инициативе и против моего желания добилась встречи с этим военкомом, но получила тот же ответ. Друзья отвели меня в коллегиию адвокатов к адвокату Каспарову, который должен был защищать на процессе Даниэля, но не получил доступа от КГБ. Выслушав мою историю, он сказал, что все это чушь, что я имею все юридические основания просить отсрочки от военных сборов и что он берет на себя мою защиту. Но, узнав мою фамилию, адвокат развел руками: дело это, сказал он, явно инспирировано КГБ, и в таком случае ничем помочь мне он не может.

История эта закончилась самым неожиданным и несколько фантастическим образом.

Моя старая приятельница по ВНИИТЭ Галя Демосфенова была хорошо знакома с новомирским сотрудником И.А. Сацем и рассказала ему о моих неприятностях. Сац тогда вместе с каким-то важным маршалом писал мемуары этого старого ветерана, чуть ли не помощника Жукова во время войны. Услышав от Саца мою историю, маршал возмутился. То ли у него, как часто в армии с тайной полицией, были свои счета с КГБ, то ли делать ему было нечего, но он облачился в полную маршальскую форму, нацепил —

до пупа — свои ордена и медали, сел в машину и отправился к военкому.

О чем они говорили, я не знаю и объяснить подоплеку этой истории и причины ее завершения не берусь. Во всяком случае, из военкомата меня больше не беспокоили.

* * *

Приближалось время освобождения Синявского. Как я понимаю, его пребывание в лагере повисло на КГБ тяжелым грузом. Процесс Синявского—Даниэля, задуманный как средство устрашения либеральной интеллигенции и завинчивания гаек, провалился. Протесты внутри страны не прекращались, советские делегации за рубежом продолжали подвергаться обструкции, для некоторых деятелей стало затруднительным попадание в потребительский рай. Глава КГБ Семичастный был смещен, и на пост начальника тайной полиции был назначен более гибкий и расчетливый Андропов.

Розанова писала наглые (с моей точки зрения) письма и заявления властям с требованием освобождения Синявского. Я хватался за голову, кричал, что за такие формулировки Синявского вообще могут не выпустить. Но Розанова, очевидно, лучше меня понимала, как следует обращаться к грубой силе с уже ослабевшей мертвой хваткой.

Власти были готовы пойти на уступки. Но тут дело застопорилось из-за позиции самого Андрея. Во-первых, Синявский отказывался идти на какие бы то ни было переговоры, пока не освободят Даниэля, а с Даниэлем КГБ сводил счеты за его вызывающее поведение в лагере. Во-вторых, надо было подавать просьбу на досрочное освобождение,

так называемую помиловку, что означало признание своей вины и раскаяние во грехах. На это Андрей пойти не мог.

Синявского освободили за полгода до окончания срока. В общей сложности он отсидел шесть с половиной лет.

Андрей появился в Москве в июне 1971 года. Тощий, казалось, уменьшившийся в росте, косоглазый, с большой бородой, он был похож на старого потертого гнома. Семья сняла небольшой домик в Динькове под Москвой. Синявский доводил до кондиции тексты, которые в письмах из лагерей посылал жене. Из текстов рождались книги: “Толос из хора”, “Прогулки с Пушкиным”, “В тени Гоголя”. Розанова изготавливала свои кольца и броши и кормила семью. Семилетний Егор ходил в школу, и в нем уже заиграли отцовские гены: он начал сочинять рассказы. Синявский избегал широких общений. Только близкие друзья заезжали в Диньково, под водочку обсуждали новости самиздата, делились впечатлениями от книг, фильмов, выставок. В те дни все издания повести Солженицына “Один день Ивана Денисовича” негласно изымались из публичных библиотек. Я помню мнение Синявского об этой книге, которое звучало примерно так: это его шедевр, лучше он уже не напишет, потому что может описывать только то, что видит; ему недостает творческого воображения. Думаю, что с этого и начались “стилистические расхождения” между Солженицыным и Синявским.

Положение Синявского в Москве оставалось неопределенным. На преподавательскую и научную работу его бы не приняли, издавать свои литературные труды в России ему было заказано. Я уговаривал Синявских эмигрировать, но они колебались: ну что делать русскому писателю в стране без близкого окружения, без языка, без знакомого быта, служащего осевым материалом для литературы?

У меня же с освобождением Андрея руки оказались развязанными. В мае 1972 года мы с Ниной подали в ОВИР заявление на эмиграцию в Израиль. В музей я пришел к Антоновой, сказал, что эмигрирую, что не хочу подводить музей и поэтому подаю заявление об увольнении. Антонова в кабинете произнесла гневную речь, указывая при этом пальцем на потолок. Потом мы вышли на улицу и долго бродили вокруг музея. Единственно, о чем она попросила, — не говорить плохо о музее. Как я понял, она не хотела, чтобы я на Западе распространял информацию о хранящихся в секретных запасах музея художественных ценностях, награбленных во время войны из немецких собраний. Я обещал и слово сдержал.

Ирина Александровна по долгу службы причинила мне ряд неприятностей, но, несмотря на это, я ее уважаю: она не только сохранила музей, но и значительно расширила его, превратив в настоящий культурный центр столицы. Когда я из эмиграции приезжал в Москву, мы встречались как добрые родственники.

Глава 17

Отъезд. Скачки с препятствиями

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Михаил Лермонтов

Прошу прощения за банальность эпиграфа, но эти строки все время звучали в моей голове, когда я готовился к отъезду.

В московских кухнях шли ожесточенные споры: уезжать — не уезжать. Щедровицкий эмиграцию не одобрял. Надо, говорил он, создавать тут культурный слой. Этот слой, возражал я, власти используют, чтобы прикрывать им хаос бескультурья. Кто был прав? Думаю, у каждого человека своя правота и у каждого свой путь следования своей правде.

Лето 1972 года выдалось на редкость жаркое. Москва окуталась дымом — горели каширские торфяники. В ожидании ответа из ОВИРа мы обитали на даче у наших дру-

зей в Домодедове. Гуляли по лесу, читали, слушали передачи Би-би-си, благо из-за соседства с аэродромом труднее было глушить вражеские голоса.

Как-то Нина поехала в Москву закупить продукты. Не успела она открыть дверь в нашу квартиру, как раздался телефонный звонок: “Говорят из ОБИРа. Вы получили разрешение на выезд в Израиль. Берите карандаш, записывайте”. Дальше следовал перечень того, что надлежало предъявить в это учреждение: паспорта, военный билет, справки с места работы, из домоуправления... “И еще: вы должны заплатить за образование”. “Сколько?” — спросила Нина. “29 тысяч рублей”.

Оказывается, в апреле этого года, т.е. еще до того, как мы подали прошение на эмиграцию, был принят закон о плате за образование для всех отъезжающих в эмиграцию. Никто об этом законе понятия не имел, и мы, кажется, были первыми, кто услышал о таковом. Майя вспоминает, как я пришел к ним и сообщил с идиотской улыбкой, что получил разрешение, но никуда не еду. Сумма в 29 тысяч рублей была неподъемной (надо было заплатить еще за отказ от гражданства, за визу, билеты и еще какие-то мелочи). Я подсчитал, что за 23 года работы, включая все мои гонорары за книги, лекции, статьи, я таких денег не заработал. Наши надежды на отъезд рухнули, натолкнувшись на непробиваемую стену государственного произвола. Но Розанова считала иначе.

С присущей ей энергией и страстью распутывать самые острые, казалось бы, безнадежные ситуации она приступила к сбору денег на наш выкуп. Приходили друзья, знакомые и вовсе незнакомые, приносили кто десятку, кто сотню; пришел Евгений Борисович Пастернак и сказал, что хочет выкупить сто грамм Голомштока. Но что можно было собрать с полунищей московской интеллигенции?

Синявские продали икону XVI века, я начал распродавать книги, привезенные с Севера прялки, икону, нам вернули деньги за кооперативную квартиру (две тысячи рублей). К осени в результате всех этих продаж и подаяний набралось около десяти тысяч (чуть меньше или чуть больше); по всей вероятности, это был предел.

По Москве ходили слухи о каких-то зарубежных фондах, о помощи евреям, собирающимся на историческую родину. Но где эти фонды? Как к ним пробиться? С иностранными корреспондентами я знаком не был, с еврейскими организациями связей не имел. Оставалось искать информацию среди диссидентов.

За два примерно года с начала еврейской эмиграции в Москве, и не только в Москве, возникли новые группы диссидентов, так называемые отказники. Советское государство ставило на пути эмиграции не только материальные барьеры. Многие люди технических профессий сразу же получали отказ на выезд под предлогом якобы секретности их работы. Естественно, что такие отказники объединялись в группы борьбы за право на эмиграцию. Как и некоторые другие диссидентские объединения, они обрели характер организаций со своей структурой, иерархией, лидерами, групповыми интересами, со своими каналами связи, которые предпочитали держать для себя.

В Москве группа отказников-ученых основала машинописный журнал "Евреи в СССР" и по своим каналам пересылала его в Израиль для публикации. Лидировал здесь наш старый знакомый крупный физик Александр Воронель. Я явился к ним с традиционным русским вопросом: "Кто виноват и что делать?" Кто виноват, было и так понятно, а вот что делать, т.е. как найти материальную помощь для эмиграции, для меня был вопрос загадочный и жизненно важный. Меня похлопывали по плечу, совето-

вали не беспокоиться, говорили, что у них есть возможности, связи, каналы, а на мои вопросы — как? где? куда обратиться? — отвечали, что это не моя забота. Все будет сделано. Не сделано было ничего. Одна моя знакомая обратилась в аналогичную организацию и на просьбу о помощи для меня получила ответ: “Перед сионистским движением у Голомштока нет никаких заслуг”. Что правда, то правда. К сожалению, мой случай не был исключительным.

* * *

Наша денежная проблема разрешилась неожиданно. Где-то ближе к осени из далекого Лондона позвонил нам мой старый приятель по университету Алик Дольберг. Он учился на романо-германском отделении филологического факультета МГУ, в 1956 году был включен в список на экскурсию в ГДР, в Берлине сел в метро, вышел на первой станции Западного Берлина (тогда еще не было Берлинской стены), миновал контроль и попросил политическое убежище у американцев. О наших затруднениях он узнал из английской прессы. По телефону он морочил голову (не столько мне, сколько КГБ) рассказами, что деньги на наш отъезд дает сам Пикассо и что какие-то английские издательства готовы выплатить авансы под мои будущие труды. Конечно, все это было липой. На самом деле Алик стал собирать для нас деньги, однако добыть такую сумму даже на Западе было непросто, если бы не его друг Байард Осборн-Лафайетт. Байард происходил из старого и очень богатого американского рода. Сам он не был богат, ибо по завещанию его предков всеми деньгами и имуществом семьи распоряжался фонд, и, как у многих почтенных американских фондов, в его бюджете существовала и статья расходов на

благотворительность. Байард просто позвонил бухгалтеру и получил для нас чек на пять тысяч долларов. Дольберг обеспечил нас и английской визой.

Итак, я оказался перед выбором: Лондон или Иерусалим?

С детства я ощущал себя евреем, хотя семья была достаточно ассимилирована и никакого, кроме государственного, антисемитизма я на себе не испытывал — в школе меня не дразнили, на улице не оскорбляли, на работе не притесняли... Но и государственного юдофобства было достаточно, чтобы бежать куда глаза глядят. В московских спорах я стоял стеной за отъезд в Израиль. Да и Ветхий Завет, несмотря на мой агностицизм, был мне ближе всего.

С другой стороны, в области культуры я был англофилом. Любимыми моими писателями были тогда Стерн, Филдинг, Диккенс, а позже Честертон, Хаксли, Оруэлл, Кестлер, Джойс (отрывки из “Улисса” были опубликованы в журнале “Интернациональная литература” в середине тридцатых), на большой выставке искусства Великобритании у нас в музее я впервые увидел в подлинниках картины английских мастеров. Во времена господства соцреализма история зарубежного искусства строилась по французскому образцу. Давид, Делакруа, Энгр, Курбе, революционеры и реалисты, шли во главе художественного прогресса, а о Тернере и Констебле мы из университетских лекций узнавали только, что Делакруа, увидав их картины в Лондоне, переписал свою “Резню на Хиосе” (хотя по сравнению с новациями английских мастеров его знаменитая “Свобода на баррикадах” выглядела политическим плакатом). “Франция после 1789 года, — пишет английский историк искусства Э. Грэм-Диксон, — была революционной нацией с консервативной культурой, Британия после 1789 года была консервативной нацией с революционной культу-

рой”. По официальной советской трактовке выходило как раз наоборот. Из кусочков истории, почерпнутых из книг (из Карлейля, того же Диккенса), складывалась картина страны с ее плавным, без сдвигов и революций на протяжении трехсот лет развитием, где личное ставилось над общественным, права человека — над государственными интересами, что выражалось в загадочном, не переводимом дословно на другие языки словечке *privacy*. Все это было непохоже на то, чем нас пичкали в школе и в университете.

Итак, Англия или Израиль?

Мне было сорок три года. К физическому труду и ратным подвигам я был неспособен, а это, как мне казалось тогда, в первую очередь и требовалось Израилю. А что делать искусствоведа-западнику, не видевшему ни одного западного музея? Только что висеть на шее у государства, чего мне не хотелось. К тому же с моим лингвистическим кретинизмом овладеть ивритом было бы проблематично.

К Англии меня склоняли не только культурные интересы. Я считал своим долгом отчитаться за полученные деньги, источника которых я тогда не знал, и отблагодарить людей, помогающих нам эмигрировать. В конце концов все это вместе определило решение. Трехлетний Венька в московском метро перед остановками объявлял: “Следующая станция — английская!” Но до Англии пока было очень далеко. Мне еще предстояло поучаствовать в скачках с препятствиями, чтобы добиться права на эмиграцию.

* * *

Чтобы оформить документы на выезд, надо было пройти через ряд процедур, перепрыгнуть через ряд барьеров, которые власти ставили на пути эмиграции. Для меня таким

барьером, перескочить который я так и не смог, была необходимость иметь согласие родителей на отъезд. Мама уже умерла, отец, которому перевалило за восемьдесят лет, проживал в Свердловске. Пришлось лететь к отцу, которого последний раз я видел в 1943 году.

Отец жил на окраине города с женой — простой милой женщиной. К моей идее эмигрировать он отнесся как к неправдоподобной фантастике, как будто я собирался улететь на Марс. “Зачем ты уезжаешь? — снова и снова спрашивал он. — Наша страна сейчас выпускает в год столько-то тонн стали, строит столько-то самолетов...” — “Папа, а ты летал когда-нибудь на самолете?” — “Нет, не летал”. Так что ему было до!.. Он все еще жил советскими представлениями тридцатых годов. Тем не менее бумагу со своим согласием он подписал. Этого было недостаточно: надо было еще заверить его подпись в домоуправлении или у нотариуса. Домуправ, прочитав мне мораль на тему, как безнравственно покидать престарелых родителей, заверить его подпись отказался. По сугробам и колдобинам свердловских окраин отец ковылял за мной от нотариуса к нотариусу, но слуги закона, прочитав в бумаге слово “Израиль”, наотрез отказывались от заверения подписи. Добрались до самого горкома партии, но и там кроме ругани и нравоучений ничего не добились. В Москву я возвращался ни с чем.

В московском ОВИРе я долго объяснял его начальнику тов. Золотухину ситуацию в Свердловске, но в ответ слышал одно: без подписи нотариуса и печати документ недействителен. Тем не менее на окончательное и положительное решение о нашей эмиграции такая недействительность не повлияла. Мне казалось, что тогда в Союзе одновременно действовали две силы: центробежная и центростремительная. Одна выталкивала нас наружу, другая

втягивала внутрь. Одна находилась в ведении конторы Андропова и стремилась очистить страну от диссидентов, другая проходила по ведомству ЦК КПСС, и всякие эмиграции были ей глубоко противны. Взаимосогласия между ними не было. Когда эти силы вступали в равновесие, мы оказывались в неопределенном состоянии, когда одна перевешивала другую, мы либо выкидывались наверх, либо опускались вниз — в тягостное ожидание нового соотношения этих сил.

Однажды вызвали меня в московское отделение Союза советских художников под предлогом уточнения каких-то анкетных данных. Секретарша достала папочку, полистала какие-то бумажки и вдруг спросила: “А уезжать вы не собираетесь?” “Собираюсь, — ответил я. “Ну, тогда напишите заявление, заполните анкету...” — сказала она с явным облегчением. Очевидно, тут срабатывали центробежные силы; Золотухин из ОВИРа был частью сил центростремительных.

Интересно: то, что носилось в воздухе, что мы ощущали на собственной шкуре, уже тогда понимали наиболее проницательные западные писатели и политологи. Так, еще задолго до перестройки Грэм Грин писал: “Любимая моя теория заключалась в том, что в один прекрасный день контроль над страной перейдет к КГБ... КГБ набирает самых блестящих студентов из университетов, владеющих иностранными языками, знающими мир, для которых Маркс не является авторитетом”. То же говорил мне Щедровицкий: самые способные студенты с его курса философского факультета МГУ шли в КГБ. Через пятнадцать лет так и произошло: народ, свергнув хозяина, возвел на престол его пса.

* * *

В октябре пришли деньги из Лондона — пять тысяч долларов. Вместо долларов государство выдавало тогда получаемые суммы в неких валютных рублях, причем шестьдесят процентов оставляло себе. Эти странные рубли высоко ценились на черном рынке, ибо на них можно было покупать недоступные товары и продукты в расплывшихся тогда валютных магазинах — “Березках”. За такой валютный рубль давали шесть или семь рублей обыкновенных; нам удалось за несколько дней распродать их среди знакомых по три рубля за штуку. Не помню, какой получилась эта сумма, но ее хватило с избытком на погашение недостающей доли выкупа (примерно в двадцать тысяч рублей). Огромную кучу бумажек мы запихали в портфель, и я в сопровождении друзей Димы Сильвестрова и Миши Штиглица (каждый под два метра ростом) отправился сдавать их в московский банк.

Оставалось только купить билет на самолет и лететь по избранному маршруту. Но и это оказалось непросто; предстояло перепрыгнуть еще через один барьер. В международной кассе на Казанском вокзале мне было заявлено, что билеты на Лондон они не продают и что мне, как всем прочим евреям, полагается лететь в Вену. Но чтобы лететь в Вену, надо было иметь израильскую или австрийскую визу, а без таковых билеты мне все равно бы не продали. И опять наше дело с отъездом зашло в тупик.

Я в который раз побежал к Розановой жаловаться на судьбу. Майя буквально руководила нашим отъездом — решала денежные дела, распутывала сложные ситуации. По каким-то своим связям она добилась моей аудиенции с начальником всесоюзного ОВИРа генералом Вереиновым. Я шел туда, кипя от возмущения, с намерением бросить

в лицо властям заранее приготовленную фразу: “Я не спрашиваю, за что вы деньги взяли, и не ваше дело, куда я уезжаю”. Но в кабинете начальника я сразу же натолкнулся на непредвиденное. За столом сидел интеллигентного вида сравнительно молодой человек с университетским значком на пиджаке. “А, Голомшток. Марья Ивановна, — обратился Вереинов к женщине, сидящей за пишущей машинкой, — позвоните в кассы, чтобы Голомшoku продали билет на Лондон”. На этот раз в кассах меня встречали как важную персону. Очевидно, звонок из всесоюзного ОВИРа означал для них, что за рубежом направляется человек с какой-то секретной миссией.

Оставалось еще одно дело. В посольстве Голландии, которое выполняло тогда роль посредника между СССР и Израилем (с последним дипломатические отношения были прерваны) по не вполне понятной мне причине принимали от отъезжавших евреев какие-то вещи для отправки их в страну назначения. Друзья попросили меня воспользоваться этой оказией и передать в голландское посольство ряд их бумаг. В основном это были трактаты по физике Воронеля и его коллег. Я запаковал их в чемодан и отправился в посольство. Был обеденный перерыв, и перед кабинетом культурного атташе стояла огромная очередь. Прошло с полчаса, и я увидел, как по проходу, ни на кого не глядя и повторяя одну и ту же фразу: “Не могу работать в зверинце”, продвигался к своему кабинету мой старый знакомый г-н Ханнема. Можно было понять, почему цивилизованному голландцу толпа, стоящая у его кабинета, могла показаться зверинцем. Люди, прошедшие через ряд мучительных процедур, униженные, ограбленные, надеялись пронести с собой в неведомое хоть частицу прежнего благосостояния, быта, памяти... В очереди до меня доносились разговоры о каких-то золотых часах, брошках,

долларах, валютных курсах... Нетрудно представить, чего только не просили, что не предлагали взамен несчастному культурному атташе эти люди, воспитанные на советском беззаконии. Подошла моя очередь, и я с чемоданом вошел в кабинет. “Что в чемодане? Откройте”, — весьма недружелюбно потребовал Ханнема. “А ведь мы с вами знакомы. Помните выставку Ван Гога?” “Так и вы уезжаете? — спросил он грустно. — Почему?” “Ну, знаете, — прокричал я в запальчивости, — одного этого безобразия достаточно, чтобы дернуть из этой страны!” “Марья Ивановна (почему-то в кабинетах и начальника всесоюзного ОВИРа, и голландского культурного атташе сидели марья ивановны), возьмите чемодан”.

Перед моим отъездом Виктор Никитич Лазарев по собственной инициативе за собственной подписью выдал мне справку о том, что в такие-то годы я был преподавателем искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ и вел здесь курсы истории современного западного искусства. Увы! — в эмиграции справка эта мне не пригодилась.

* * *

На прощальный вечер собрались почти все наши друзья. Стол ломился от яств: шотландский виски, голландский розовый джин, французские вина, кетчуп, тоник, колбасы — все эти недоступные простым москвичам дары “Березки” и валютных рублей. Кажется, первый раз в жизни я не пил. С Майей и Андреем на кухне мы обсуждали наши дела. Синявский от своих бывших французских студентов, а теперь маститых славистов получил приглашение на постоянное профессорское место в парижской Сорбонне,

и Синявские подумывали об отъезде. Уже была переслана за рубеж рукопись Абрама Терца “Голос из хора”. Мне предстояло получить ее из Израиля и постараться опубликовать к какому-нибудь небольшому, не ярко выраженному антисоветскому издательству. Мы составляли шифровку, по которой я в письмах буду информировать Синявских о событиях.

Разошлись далеко за полночь. В середине ночи постучали в дверь: это Андрей Волконский, Никита Кривошеин и еще кто-то спрашивали, не осталось ли чего-нибудь недопитого, и я вынес им бутылки с остатками алкоголя.

5 ноября 1972 года нас провожала в “Шереметьево” толпа друзей. Поднимаясь на посадку, я с галереи помахал на прощание стоящим внизу Венькиным ночным горшком, который держал в руке. У меня было чувство, что никого из них я уже не увижу никогда.

Часть II



Эмиграция

Глава 1

Лондон

Кто устал от Лондона, устал от жизни.

Сэмюэль Джонсон

Шестого ноября 1972 года мы приземлились в лондонском аэропорту Хитроу. Встречал нас Алик Дольберг. В Лондоне мы были в числе первых эмигрантов “третьего потока” из СССР. Сведения о моих злоключениях на процессе Синявского и выкуп за право на эмиграцию просочились в английскую прессу, и меня принимали не то что как важного диссидента, а скорее как любопытный экземпляр *Homo Sapiens* из страны, которую “умом не понять и аршином общим не измерить”.

Во время интервью с представителями Министерства иностранных дел Великобритании, после того как я изложил свою биографию, мне предложили просить политическое убежище. Я отказался. Я не был политиком, свою эмиграцию не считал политической и заниматься политикой здесь не собирался. Впоследствии некоторые знакомые

упрекали меня в безответственности и непрактичности: политическое убежище обеспечивало эмигранта квартирой, пособием, устройством на работу и прочими материальными благами. Отчасти они были правы.

Никаких общественных фондов и организаций по устройству эмигрантов в Англии не существовало (в отличие от Израиля и США). По еврейской линии нас временно поселили в гостинице, благо зимой лондонские отели практически пустовали, и предоставили нам пособие в размере десяти фунтов в неделю на три месяца, после чего мы должны были долг возратить. На эти деньги тогда можно было питаться, пользоваться общественным транспортом, иногда ходить в кино, но не более (художественные музеи в Великобритании были тогда и в основном остаются и сейчас бесплатными). Отказ от политического убежища лишил нас многих благ, но я не жалею: вместо того чтобы попасть под опеку политических структур, я вошел в круг людей, близких мне по духу и профессиональным интересам.

Надо было как-то устраиваться, а вернее, нас надо было устраивать, потому что без денег, без связей, практически без разговорного языка мы были беспомощны. Этим и занялись наши новые доброжелатели: устраивались вечеринки, своего рода смотрины, куда приглашались люди, которые могли бы быть нам полезны. На одной из таких *party* и были решены наши проблемы на ближайшее будущее.

В богатой квартире в Челси, в огромной гостиной с баром собралось довольно много народу: преподаватели университетов, слависты, историки... После обычных представлений и разговоров я увидел где-то в уголке пустое кресло с низеньким столиком перед ним, на котором стояло блюдо с черными солеными сухариками. С кружкой пива я сел и приготовился насладиться обычной рус-

ской закуской. Подошел кот и сунул морду в блюдо. Я его отогнал. Кот с обиженным видом уселся рядом, а я продолжал закусывать пиво сухариками. Никто из англичан, наблюдая это постыдное зрелище, глазом не моргнул: если джентльмену нравится кошачья еда, почему нет? Так я начал постигать английский национальный характер.

Мои *faux pas* не ограничились историей с котом. Как-то меня пригласили в роскошный индийский ресторан. После закусок подали главное блюдо, и я по привычке решил закурить. Но как только я зажег сигарету, подбежал официант и блюдо унес. Оказывается, если джентльмен закурил, значит, он кончил обедать. Ну кто же мог знать такие тонкости?! Я со своим английским — тыр... пыр... — и сделал вид, что все в порядке. И опять сидевшие за столом мои английские друзья предпочли промолчать, чтобы не ставить меня в неудобное положение.

В конце вечера, о котором шла речь, подошел ко мне заведующий кафедрой славистики университета в Колчестере Падди О'Тулл: "Может быть... в следующем триместре... у нас, возможно, будет место преподавателя разговорного русского языка... если бы вы согласились..." Естественно, я согласился. За ним подошел Френсис Грин — сын Грэма Грина: "Знаете... в моем доме есть пустая квартира... очень неудобная, неприбранная... я привожу ее в порядок... если бы вы согласились..." Конечно, я согласился.

После этого в течение нескольких дней я получил два письма. Одно было от Падди О'Тулла, в котором он, напомнив о нашем разговоре, извещал, что вопрос о преподавательском месте решен, что, если я не раздумал, они будут очень рады и я могу приступить к работе в следующем сентябре. Другое было от Френсиса Грина: квартира готова, и если я согласен... плата пять фунтов в месяц.

Это были две огромные комнаты, занимающие весь четвертый этаж дома в престижном лондонском районе Ноттинг-хилл Гейт, недалеко от знаменитого антикварного рынка Портобелло. Над квартирой находился пустой чердак, который я сразу же с согласия Френсиса приспособил под свой рабочий кабинет. Плата за такое жилье в пять фунтов была чисто символической: Френсис просто хотел, чтобы мы не чувствовали себя приживальщиками. Здесь мы прожили больше года.

Я понял: недаром Англию называют родиной филантропии.

До начала триместра в Колчестерском университете было еще далеко, и меня устроили на временную работу в фототеку Института искусствоведения Курто. Я должен был восполнять отсутствующие в этом огромном собрании репродукции произведений, находящихся в советских музеях на условиях взаимобмена (естественно, что переписку я вел не от своего имени). Позвонили мне из “Радио Свобода” и предложили сотрудничать, т.е. делать программы по искусству. Таким образом, наши материальные проблемы были так или иначе решены.

Более серьезной оказалась проблема языка. Я свободно читал по-английски и думал, что за короткое время в Англии освою разговорный язык. Не тут-то было. Оказалось, что письменный и разговорный английский — это два разных языка и последнему надо учиться заново. Меня устроили на языковые курсы, но больше трех занятий я не выдержал. Там молодые веселые ребята из Франции, Германии, Латинской Америки бойко отвечали на вопросы, перебрасывались между собой английскими фразами, моя же голова была забита московскими заботами и лондонскими делами. Надо было получить из Израиля рукопись “Голоса из хора” Синявского, готовить почву для эмигра-

ции Синявских, писать им письма с зашифрованной информацией о положении дел; надо было извлекать из Москвы Пятигорского, делать рекламу ученым евреям-отказникам, объявляющим голодовки в Москве, а все это означало беготню по редакциям, сочинение статей для прессы, встречи с нужными людьми; надо было выполнять просьбы и поручения моих московских друзей и знакомых.

Незадолго до моего отъезда Надежде Яковлевне Мандельштам исполнялось 73 года. Обычно в день ее рождения в ее убогой однокомнатной квартирке на Большой Черемушкинской собиралась куча поклонников. Но на этот раз, сообщила мне Майя Розанова, старуха сидит без денег и не представляет себе, как будет принимать гостей. Мы отправились в “Березку” и на мои валютные рубли, присланные мне для выкупа (аббревиатуру ОВИР я тогда расшифровывал как Отдел Выкупа Из Рабства), накупили джина, виски, разных заморских деликатесов вроде кетчупа и принесли все эти дары волхвов на Большую Черемушкинскую. К моему отъезду Надежда Яковлевна отнеслась с полным пониманием. Она попросила меня только об одном одолжении. Два года назад в Лондоне издательством *УМКА-press* была опубликована ее “Вторая книга” и прошла с большим успехом. Сколько там причитается ей гонорара, ее не интересовало. Она только попросила меня связаться в Лондоне с ее старой приятельницей, вдовой Хемингуэя Мартой Геллхорн, чтобы та получила из издательства хоть какие-нибудь — небольшие — деньги и переслала ей.

В Лондоне мы с Аликом Дольбергом раздобыли ее адрес и отправились на свидание. Еще не старая, спортивного вида женщина занимала в Челси обширную мансарду, обставленную строго и со вкусом. Марта соединила меня по телефону с главой издательства *УМКА-press* Никитой

Струве. Я рассказал ему о плачевном положении Надежды Яковлевны, и в ответ, к моему удивлению, из трубки раздалось неясное бормотание: какие деньги?.. почему?.. банки закрыты... В конце концов Марта выхватила у меня трубку, и через несколько минут разговора я услышал, как она честит Струве отборным английским матом. “Ничего, — сказала Марта, шваркнув трубку на рычажки, — я пошлю Наде свои тысячу долларов, но из Никиты эти деньги выбью”. Таково было мое первое столкновение с теми представителями старой эмиграции, которые считали себя распорядителями судеб и творчества оставшихся в России писателей.

И были еще соблазны: музеи, фильмы, музыка, сам Лондон с его художественными сокровищами, масштабами центральных парков, уютом пабов на окраинах, великолепием библиотек... Меня сразу же поразило величие и какое-то сдержанное благородство этого города, любовь к которому я сохраняю до сих пор. К тому же надо было еще и зарабатывать на хлеб насущный. Все это не способствовало сосредоточению на странностях английского произношения.

Лондон приносил мне всё новые сюрпризы, в частности, в отношениях между людьми. Приехала из Израиля московская скрипачка Дора Шварцберг со своим трио дать концерт в зале Вигмор-Холла — главном зале камерной музыки в Лондоне. Мы подружились, и как-то Алик Дольберг повел нас в свой клуб “Белый слон” при отеле “Риц”. Дора играла в рулетку впервые и по каким-то магическим законам рулетки все время выигрывала. Мы заметили, что стоящий по другую сторону стола респектабельный джентльмен начинает ставить фишки на наши номера. В какой-то момент мы замешкались и прекратили игру. “Ну, что же вы, ставьте, ставьте”, — вдруг на чистом русском языке произнес джентльмен.

Часа в три ночи мы столкнулись с ним в раздевалке. “Князь Голицын”, — представился он и спросил, не хотим ли мы немножко выпить у него дома, благо он живет тут рядом — на Керзон-стрит. Очевидно, князь не часто общался со своими соотечественниками, недавно прибывшими из России, и ему было любопытно. В своей квартире он сначала рассказал о себе. Чилийский подданный, он во время войны был пилотом в английской армии (он показывал нам старые газетные вырезки — его послевоенную беседу со знаменитым немецким асом о том, как они в воздухе гонялись друг за другом), а теперь занялся бизнесом то ли по продаже, то ли по строительству самолетов. После чего спросил, кто мы такие.

Дора сказала, что она скрипачка и что хочет попасть на прием к главному английскому музыкальному импресарио Хоххаузеру, но не может к нему пробиться. “Виктор? Да это мой друг. Позвоните мне завтра”. Уже под утро он на своей машине развез нас по домам.

Дора позвонила, и Голицын свел ее с Хоххаузером. Тот, прослушав ее, сказал, что ей надо участвовать в конкурсе молодых скрипачей, который состоится этой осенью под эгидой Иегуди Менухина. На этом конкурсе, самом престижном для скрипачей, Дора завоевала первую премию. Правда, были протесты — Доре в том году уже исполнилось 34 года, а это был предельный возраст для молодых музыкантов. Но Менухин отверг все возражения, заявив, что по таланту Дора Шварцберг вне конкуренции. Это положило начало ее блестящей карьере. Дору приняли на работу в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, потом она стала профессором Венской консерватории.

Приехал в Англию с концертами Андрей Волконский. К сожалению, большого успеха он здесь не имел: в Москве Андрей был такой один, а в Англии хороших клавишини-

стов было достаточно. Мы пошли с ним на рынок Портобелло, который занимал длинную улицу и несколько примыкавших к ней переулков. Чего только тут не было: лавки со старыми гравюрами и географическими картами, музыкальными шкатулками, каретами, водолазными принадлежностями... Был здесь и павильон, где продавалось списанное военное снаряжение английской армии. Волконский купил за два фунта плащ старого английского сержанта: черная накидка с двумя бронзовыми львами, скрепленными бронзовой же цепью на груди. Позже до меня доходили слухи, что этот сноб разгуливает по Парижу в пижонском пальто с цепью и золотыми львами.

* * *

После длительной переписки я получил наконец из Израиля рукопись “Голоса из хора”. Оставалось, в соответствии с пожеланиями Синявского, найти небольшое и не очень антисоветское издательство для ее публикации. Этот вопрос решился довольно просто. Близкий друг Алика Дольберга лорд Николас Бетелл был владельцем маленького частного издательства “Стенвалли” и согласился быстро напечатать книгу. Так что, когда в 1974 году в Париж приехали Синявские, я имел удовольствие вручить Андрею только что полученный из типографии экземпляр “Голоса из хора” с моим послесловием.

Глава 2

Добрая старая Англия

Коллега Алика Дольберга переводчик Сергей Вульф, с которым я познакомился в Лондоне, рассказывал свою историю.

После прихода к власти в Германии Гитлера Сергей эмигрировал в Англию. Въездную визу ему устроил его брат — лондонский адвокат, еще раньше бежавший от нацизма. Жена Вульфа была на последнем месяце беременности, в поезде Берлин—Гамбург ее несколько растрясло и на английском пароходе, плывшем из Гамбурга в Дувр, у нее начались родовые схватки. Сергея интересовал главный вопрос: будет ли ребенок, родившийся на английском пароходе, считаться гражданином Великобритании? С этим он обратился к капитану.

— Да, — занервничал капитан, — но вы не представляете, сколько у меня будет по этому поводу хлопот в Адмиралтействе. Не могла бы ваша жена подождать?

— Не слушайте вы этого дурака, — сказал помощник капитана. — У меня четверо детей; ну как женщина может воздержаться от родов?!

С родами обошлось, и Вульфы благополучно доплыли до Дувра. На таможне, когда Сергей подошел к столам, чиновник сразу же сказал:

— Проходите!

— Но у меня тут ложки серебряные, часы...

— У вас жена рожает — проходите!

— Тогда, может быть, я завтра приду?

— Завтра вам будет не до этого. Проходите.

На перроне вокзала к нему подошел полицейский.

— Вы мистер Вульф? У вас жена рожает? Пройдемте в первый вагон, при выходе будет стоять “скорая помощь”.

— А откуда вы узнали, что я Вульф?

— Да я тут у всех спрашиваю...

* * *

Мы застали еще кусочек этой доброй старой Англии. В метро от Ноттинг-хилл Гейт до Ливерпульского вокзала, откуда я ездил на работу в Колчестер, клерки, направлявшиеся в Сити, в котелках, белых рубашках с галстуками читали утренние газеты — совсем как на рисунках Карела Чапека тридцатых годов. При посадке люди спокойно ждали, когда из вагона выйдут приехавшие, повсюду раздавалось вежливое *Please... Sorry... Excuse me...*

Лондон не переставал удивлять меня атмосферой спокойного доброжелательства, приятной старомодностью отношений между людьми — продавца с покупателем, железнодорожного служащего с пассажиром, учрежденческого бюрократа с просителем и всех без исключения с полицией.

Как-то к нам в гости приехала из Парижа мать Коли Кишилова с двумя маленькими внучками. В шестидесятих годах Коля женился на французенке и жил с семьей в Париже. Я поехал их встречать на вокзал Виктория, но оказалось, что в этот день объявлена всеобщая забастовка железнодорожников и парижский поезд прибывает на вокзал Паддингтон. Но и там поезда не было. Никто ничего не знал, и на свои вопросы я получал самые противоречивые ответы. Тот, кто помнит описание этого вокзала начала прошлого века из романа Джерома К. Джерома “Трое в лодке, не считая собаки”, может легко представить себе картину, которую я наблюдал сто пятьдесят лет спустя. Пометавшись между двумя вокзалами, решил вернуться домой и ждать новостей по телефону. Действительно, во второй половине дня позвонили из полиции: гости ждут меня на вокзале Виктория. Впоследствии старая женщина с умилением вспоминала часы, проведенные на вокзале. Полицейские приносили кофе, кормили бутербродами, развлекали детей игрушками... Английская полиция занималась тогда своим традиционным делом: следила за порядком, помогала перейти через улицу старикам и собакам и найти правильный путь заблудившимся в городе...

Приезжал к нам Виктор Платонович Некрасов. Ему надо было поехать из Лондона на какую-то встречу или конференцию в Глазго. Ночной поезд прибывал сюда в пять часов утра, но пассажирам разрешалось спать до восьми, а до этого им полагался завтрак.

Перед отправкой проводник опрашивал пассажиров: что они предпочитают на завтрак — чай или кофе? Второй класс представлял собой двухместное купе с умывальником и тумбочкой, в которой прятался ночной горшок. По

утрам над постелями выдвигался столик, на который ставился поднос с завтраком. Виктор Платонович позавтракал и уснул, а когда проснулся, поезд уже шел в каком-то непонятном направлении. Некрасов пошел по вагонам — поезд был абсолютно пуст. Наконец попался ему какой-то шотландец, которому писатель попытался объяснить свое положение на английском, не зная языка. Шотландец поморгал глазами, подумал, сказал: “О’кей”, и исчез. Через несколько минут поезд остановился, поехал в обратном направлении и доставил проспавшего пассажира на вокзал города Глазго.

Когда в Лондон приехал Пятигорский, мы как-то допоздна засиделись в ресторанчике. Спohватившись, Саша помчался в метро, сел не в тот поезд и вышел не на той, притом конечной, остановке. Было поздно, и метро уже прекратило работу. Пятигорский объяснил водителю ситуацию, его посадили в пустой поезд, состав поехал назад и доставил заблудившегося пассажира на нужную ему станцию.

В Лондоне я познакомился и подружился с писателем Анатолием Кузнецовым. До своего бегства из России он тихо сидел в Туле, состоял членом местного отделения Союза советских писателей и публиковал талантливые рассказы, принесшие ему всесоюзную известность. Ему удалось добиться командировки в Лондон под предлогом собирания материалов для романа о Ленине, для чего пришлось согласиться на сотрудничество с КГБ. В Лондоне в 1969 году, оторвавшись от сопровождающего его гэбэшника, он добрался до полиции и попросил политического убежища. Он решил порвать свои отношения с Россией до такой степени, что даже собственное имя переделал на иностранный лад из Анатолия в Анатоля.

Но, как я понимаю, когда он оказался на Западе, с ним случился культурный шок. Толя не знал языков. Увидев в лондонских книжных магазинах тысячи томов иностранных писателей, он, очевидно, решил, что все это — великие шедевры, и бросил писать. Почему? Это, сказал он мне про себя, как если бы школьному преподавателю арифметики предложили рассчитать полет космического корабля.

Толя был заядлый грибник. Он ездил по заветным, только ему известным грибным местам, и когда я попросил взять меня с собой, он сказал: “Только с завязанными глазами”. Как-то под вечерок (это его рассказ) отправился он на машине в одно такое место, выехал к морю, разжег на берегу костерик, начал жарить сосиски, чтобы на рассвете начать охоту за грибами, и неожиданно был ослеплен фарами подъехавших военных машин.

— Что вы здесь делаете? — спросили его офицеры.

— Собираю грибы.

— Зачем вы собираете грибы?

— Ну, чтобы их жарить, солить...

Этого англичане понять не могли. Подозрение вызвала у них лопата, найденная в багажнике.

— Почему у вас лопата?

— Но я же шофер!

Это тоже было им непонятно: о состоянии российских дорог они понятия не имели. Но окончательную уверенность в шпионских намерениях этого русского вызвала у англичан найденная у него карта этой местности, помеченная в разных местах крестиками и ноликами. Толя объяснил, что крестики — это места пикников, вокруг которых почему-то особенно обильно произрастают грибы, а нолики — это другие точки их произрастания.

Только под утро, проверив на местности эти крестики и нолики, офицеры пришли к нему с извинениями:

— Так ведь тут же базы нашего военно-воздушного флота расположены, — сокрушались они.

К сожалению, мое знакомство с Кузнецовым длилось недолго. Вскоре Толя умер от инфаркта. Случилось так, что его смерть совпала с забастовкой работников лондонских кладбищ, и гроб с его телом три дня простоял в православной церкви на Эмерсон Гарден.

И еще дружил я с Олегом Прокофьевым, сыном великого композитора. Московскую профессию востоковеда Олег в Лондоне сменил на занятия вольного художника. Он не был большим живописцем, но в его экспрессионистических по преимуществу полотнах просматривалось что-то от специфической индивидуальности автора. Он также создавал абстрактные деревянные скульптуры, которые хранил у меня на чердаке. Олег часто рассказывал о прошлом, о семье, и одну его историю мне хочется тут изложить.

Он жил тогда с отцом на даче в поселке, где проживали самые высокопоставленные партийные боссы. Как-то к их даче подъехали черные “Волги”, в дом вошли офицеры КГБ и велели отцу одеваться. Шел недоброй памяти 1948 или 1949 год, и естественно было догадаться о дальнейшем маршруте. Однако Сергея Прокофьева повезли не в тюрьму, а на дачу к самому тов. Жданову, у которого расстроился рояль, и ему сказали, что здесь неподалеку живет какой-то музыкант, который может исправить дело. Олег только не сказал, заплатил ли Жданов великому композитору за настройку рояля.

* * *

Когда я в первый раз приехал в Париж, мне показалось, что я попал в Москву: толкотня, грубость, сломанные телефоны, стены, расписанные серпами-молотами и коммунистическими лозунгами. То было время студенческих волнений, и волна левых настроений перекидывалась из Европы в Англию.

Глава 3

Дела московские

Где-то в это время я получил письмо из Москвы. На вырванной из школьной тетрадки страничке в клеточку отправитель спрашивал, не мог бы он получить какой-нибудь грант в Англии. И подпись под письмом — Олег. Что за Олег? Идея, что Кудряшovy могут решиться на эмиграцию, мне в голову не приходила.

Там не менее это оказалось так. Кудряшovy по еврейской линии прилетели в Вену, а потом, после обычных эмигрантских процедур, оказались в Италии. Высокое графическое мастерство Кудряшова было оценено и итальянцами, с которыми он познакомился в Риме. Им восхищались, ему отпускали комплименты, но дальше дело не шло. Перспективы на получение тут гранта или постоянного заработка были более чем сомнительны.

Я понял, что для человека с характером Кудряшова единственным местом, где он мог бы чувствовать себя более-менее спокойно, была Англия — страна с высоким уровнем художественной жизни, с традиционно толерант-

ным отношением к иностранцам, с ее развитой сетью благотворительных организаций. Я посоветовал Кудряшовым перебраться в Великобританию, через лорда Беттла устроил въездную визу, и в 1974 году Олег, Дина и их шестилетний сын Пашка приземлились в лондонском аэропорту Хитроу. Они поселились в нашей квартире в доме Френсиса Грина. Времена для нас начались тяжелые.

По психологическому складу Олег принадлежал к редкой сейчас категории “одержимых” художников, каковыми были до него Ван Гог, Хаим Сутин, Фрэнсис Бэкон... “Я рисую, пишу, режу, ваяю, следовательно, я существую”, — мог бы сказать про себя Олег, если бы занялся саморефлексией. Других форм существования он не признавал. Мы с Дольбергом водили его по лондонским галереям, владельцы которых были готовы покупать его работы — по 40–50 фунтов за маленький офорт. Но что такое деньги, Олег не знал. “Обман, — кричал он, — в Италии мне предлагали по 200–300 тысяч!” Разницу между итальянской лирой и английским фунтом он не понимал.

Профессор Ноак, сам беженец из нацистской Германии, ставший одним из основателей в Великобритании искусствovedения как академической дисциплины (раньше эта наука не преподавалась в университетах), к которому я обратился за помощью, чтобы решить вопрос об университетской стипендии для Олега, хотел просмотреть его работы, только без присутствия автора. “Без автора?! — возмутился Олег. — Да пошел он...”

Надо было его как-то устраивать, и с этим я обратился к Майклу Скеммелу, с которым у меня завязались самые дружеские отношения. Он был тогда председателем Общества помощи преследуемым ученым и писателям в недемократических странах и главным редактором журнала “Индекс цензуры”. В Лондоне существовала благотворитель-

ная организация *АКМЕ*, опекавшая бродячих художников, с которой Майкл был связан по роду своей деятельности. По договоренности с районными муниципалитетами *АКМЕ* предоставляла таким художникам старые, предназначавшиеся на слом дома, из которых уже выехали их прежние владельцы. Своих подопечных эта организация снабжала небольшими деньгами на ремонт — крыши починить, щели в полу зашпаклевать... В один из таких домов в восточной части Лондона и вселились Кудряшovy. Позже их переселили в такой же брошенный дом поближе к центру города: три этажа, шесть комнат, традиционный садик сзади. Здесь Кудряшovy прожили до конца своей 25-летней эмиграции.

Оказавшись в Англии, Кудряшов, казалось бы, делал все, чтобы погрузиться в нищету и безвестность. С первых же дней он отказывался работать на заказ, участвовать в групповых и коммерческих выставках, иметь дело с маршанами и галерейщиками, для которых произведения искусства были лишь товаром на художественном рынке. Движимый потрясающим инстинктом самосохранения, он предпочитал стирать руки, укладывая кирпичи на стройках, чем подвергать опасности приспособленчества ту хрупкую субстанцию, которую принято называть творческой индивидуальностью.

Однако погрузиться в безвестность Олегу не удалось. Умные кураторы лондонской галереи Тейт — главного музея современного искусства в Великобритании — рано обратили внимание на этого оригинального, ни на кого не похожего художника из России. Галерея Тейт начала покупать его работы, а вслед за ней — лондонский музей Виктории и Альберта, музей Фицуильям в Кембридже, потом крупнейшие иностранные собрания — Вашингтонская национальная галерея, Бостонский музей изобрази-

тельных искусств, Роттердамский музей Бойманс, Дрезденская национальная галерея и многие другие собрания в Европе и Америке. В 1983 году работы Кудряшова уже представляли английское искусство на Третьей международной биеннале в Баден-Бадене.

Диапазон его творчества был чрезвычайно широк. От изысканных миниатюр он переходил к огромным, иногда гигантским графическим триптихам и полиптихам, от бумажных рельефов — к металлическим конструкциям, от гротескного фигуративизма — к чистой абстракции. Но при этом упорно называл себя реалистом. В этом не было ничего парадоксального. Для художника определенного склада наполнение его внутреннего мира, будь то ощущение зияющей пустоты бытия (как у Марка Ротко, который тоже называл себя реалистом) или память — густой осадок прошлого, сквозь который воспринимается сиюминутное настоящее (как у Олега), есть объективная реальность.

Может быть, самую точную оценку творчества Кудряшова дал сэр Роланд Пенроуз* в своем предисловии к выставке работ художника, которая с триумфом проходила в лондонской галерее.

Роверсайд в 1983 году: “С искусством опытного ремесленника, с безошибочной точностью пользующегося своими инструментами... он открывает перед нами новое видение скудости и красоты нашего современного окружения. Он изобрел оригинальный и выразительный язык... и предлагает нам предметную живопись... где свет сияет или оборачивается тенью на том, что оказывается крышами и трубами наших темных бесконечных городов, которые, чудным образом видоизменяясь, вдруг превращаются

Сэр Роланд Пенроуз — художник, патриарх английского искусствознания, друг и первый биограф Пабло Пикассо, основатель Центра современного искусства в Лондоне.

в горные вершины пейзажей счастливой Аркадии, через них Олег ведет нас к новым открытиям”. Едва ли кто из художников-эмигрантов третьей волны завоевал на Западе столь высокую репутацию, как Олег Кудряшов.

* * *

Несколько лет мы жили неподалеку друг от друга в лондонском районе Кембервелл, часто общались, и я с удовольствием наблюдал, как Олег из безвестного русского эмигранта превращается в крупного английского художника. При этом Кудряшов оставался Кудряшовым — каким он был и в Москве: та же одержимость работой, то же полное пренебрежение к практической стороне жизни. Когда работа не шла, Олег начинал нервничать, в голову его лезли подозрения, фантазии, химеры... В последнее время я стал замечать, что эти его фантазии приобретают всё более зловещие формы. В своих соседях, обитателях его улочки, он видел преступников, антисемитов, даже оккультистов, которые какими-то магическими манипуляциями стараются ему навредить. В конце концов он заявил, что больше оставаться в своем доме они не могут и решили вернуться в Россию. Он был на грани нервного срыва, и я предложил ему перебраться к нам. Здесь Кудряшovy и прожили до своего отъезда.

В чем причина такого неожиданного решения? Думаю, что фантазии Кудряшова были только предлогом и что дело заключалось в творческих проблемах. Даже его абстракции — это кристаллизации его визуальных впечатлений от реальной среды, это сама сконденсированная, сгущенная реальность. Он впитывал в себя воздух, особенности конструкций домов и сооружений данного места,

города, страны, в которых жил, а потом преображал все это в форму рисунка или офорта. Поэтому, например, его итальянские работы отличаются от московских, а жители Британских островов узнают в них краски их собственных рек, воздуха, неба, напряженную вибрацию плоти и нервов их городов. Очевидно, за двадцать лет состав лондонского воздуха был для Олега исчерпан, и художник стал задыхаться в безвоздушном творческом пространстве.

Летом 1997 года Кудряшovy вернулись в Россию, бросив свой дом со всем имуществом, в том числе и большую скульптуру из металла, стоящую в саду, — средств для ее перевозки, как и других скульптур, у них не было. Никаких иллюзий относительно будущей жизни в Москве Олег не питал.

* * *

В середине семидесятых годов поток эмигрантов из России устремился в Европу. Власти тогда не очень препятствовали, а иногда и способствовали диссидентствующим интеллигентам покинуть советскую родину. Приехали Синявские, Александр Пятигорский, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Галич, Солженицын, художники Оскар Рабин, Эрнст Неизвестный, Лев Нусберг, Эдуард Зеленин, Игорь Шелковский и многие другие.

Одним из первых прибыл в Париж Александр Глезер со своей коллекцией советского неофициального искусства и сразу же связался со мной. Ящики с его собранием пребывали на складе парижского вокзала, денег у него не было, и что делать с коллекцией, он не знал. У меня сохранились добрые чувства к моим московским друзьям-художникам, и я бросился ему помогать. Возникла идея

устроить выставку советского неофициального искусства в Лондоне и тем самым определить судьбу его собрания. С этим планом я обратился к тому же Майклу Скеммелу.

Для организации выставки Майкл привлек сэра Роланда Пенроуза, который предоставил для экспозиции помещение своего Института современного искусства, расположенного недалеко от Букингемского дворца. Для отбора произведений я и Пенроуз отправились в Париж. Патриарху английского искусствознания было тогда за семьдесят, но он бодро взбирался по крутым лестницам на чердаки и мансарды, где обитали приехавшие из России неофициальные художники.

Лондонская выставка “Неофициальное искусство из Советского Союза” 1974 года была первой такого масштаба в Англии, да, пожалуй, и в Европе. Открывал выставку Генри Мур, она широко освещалась на страницах английской прессы. Во время ее обсуждения большая аудитория Института современного искусства была переполнена — люди стояли в проходах, сидели на ступеньках... Глезер с сигаретой в длинном мундштуке восседал в президиуме, рассказывал с трибуны о том, как во время голода в Поволжье ели детей, о зверствах большевиков, преследовании интеллигенции, а потом выпрашивал у английских художников (у Генри Мура в частности) их работы для какого-то якобы им основанного фонда помощи детям политзаключенных. Все это в глазах англичан превращало выставку в событие чисто политическое, затемняя ее эстетический аспект.

На другой день после открытия выставки Генри Мур пригласил нас — ее организаторов и участников — в свое имение в Перри Грин, находящееся примерно в ста километрах от Лондона. Здесь на обширном пространстве среди лугов, иногда на искусственно насыпанных холмах, ве-

ликий скульптор разместил свои масштабные работы. Ему было тогда уже под восемьдесят. Невысокий, коренастый, похожий на йоркширского фермера, он, давая свои объяснения, в течение почти двух часов водил нас от скульптуры к скульптуре, между которыми паслись овцы, заглядывая в окна его рабочих мастерских.

Лондонская выставка во многом определила и судьбу коллекции Глезера. Старая русская эмиграция согласилась на наши просьбы отдать под музей советского неофициального искусства усадьбу Монжерон под Парижем. Это был вместительный дом, купленный эмигрантами сразу же после войны для приюта бездомных детей разных стран и национальностей, выброшенных войной на улицы. Теперь он пустовал, и Глезер разместил в нем свое собрание. Часть этих работ Глезер по дешевке покупал в России, часть ему давали художники для предполагаемого музея. Я убеждал Глезера завести инвентарные книги, где обозначить, что принадлежит ему, а что есть собственность музея (или передавших музею свои работы художников). Но как-то разницу между своей и чужой собственностью Глезер не различал. Впоследствии я зарекся иметь дело с этим слишком практичным и не в меру амбициозным человеком.

* * *

В 1976 году в Париже появился художник Игорь Шелковский, одержимый идеей создания посвященного советскому неофициальному искусству журнала «А-Я». Никаких средств на издание у него не было. Игорь сооружал книжные полки в частных домах, делал ремонты, обивал пороги редакций, пытаясь достать хоть какие-нибудь деньги на это благородное дело. Мы старались ему помогать. Первый

номер “А-Я” печатался у Синявских в типографии, которую Розанова устроила в их доме. К моим делам прибавились новые заботы: я стал лондонским корреспондентом “А-Я”.

Журнал получился отличный. Шелковский сам делал макеты, редактировал, корректировал, подбирал авторов, уговаривал переводчиков (журнал выходил на русском и английском языках, иногда с приложениями на французском). В его восьми номерах проходит пунктиром история четырех десятилетий этой “второй культуры”, и сейчас “А-Я” стал главным источником для ее исследования.

Но вскоре в ткань художественного журнала начали вкрапливаться политические мотивы, что ставило под удар московских членов его редколлегии и корреспондентов. Из Москвы приходили тревожные сообщения о давлении на его друзей-художников. Мы уговаривали его воздерживаться от резких политических высказываний, но Игорь был упрям, как осел, и упорно стоял на своем. С одной стороны, это можно было понять. Шелковский родился в тюрьме, где его мать отбывала срок по политической статье, и его отношение к советской власти было соответствующим. Но политика редко помогает культуре.

В этом я смог убедиться еще раз, когда в Париж приехал Владимир Емельянович Максимов, тоже с идеей создания журнала — общественно-политического.

Глава 4

Журнал “Континент”

Создание собственного журнала было настоящей идеей фикс у многих представителей нашей писательской и диссидентской эмиграции. Максимов не был исключением. Ему удалось убедить немецкого газетного магната Ансельма Шпрингера в целесообразности вложения капитала в политический журнал, который объединил бы всю русскую эмиграцию. Журнал должен был быть толстым (400–500 страниц), авторам обещались европейские гонорары, сотрудникам — приличные зарплаты. Для сотрудничества Максимов привлек Синявских, Синявские соблазнили меня. Уже поварившись в котле эмигрантских склок, я поначалу скептически отнесся к идее: собрать под одной крышей овец и козлиц представлялось мне безнадежной утопией. Однако возможность поработать вместе с Синявским, Галичем, Некрасовым, Коржавиным меня привлекла.

Для обсуждения работы будущего журнала Синявских и меня пригласили в Вену, где находилось принадле-

жащее Шпрингеру издательство “Ульштейн”. Прием нам был оказан царский. Нас поселили в старом австрийском замке, где в коридорах стояли рыцарские доспехи, а в галерее висели портреты его бывших владельцев. Нас возили по музеям, по мастерским художников, мне подарили многотомное издание *Propilean Kunstgeschichte*, по которому я еще в университете изучал историю искусства.

На учредительном собрании, на котором присутствовали только представитель издательства “Ульштейн” Джордж Бейли, Максимов, Синявские и я, вопрос о создании нового журнала был решен. Я был назначен его ответственным секретарем.

Так начиналась история журнала “Континент”, которая кончилась печально, по крайней мере для нас.

* * *

В Вене Максимов говорил, что у него в портфеле находится чуть ли не весь самиздат из России и стран Восточной Европы. Когда летом 1974 года я приехал во Франкфурт делать первый номер журнала, где он должен был печататься в типографии издательства “Посев”, у Максимова практически не было почти ничего. Ему удалось с трудом уговорить по телефону Солженицына прислать приветственное слово журналу, такое же прислал Сахаров, кое-что он получил от “Посева” — органа самой активной антисоветской организации НТС (Народно-трудовой союз), часть — от диссидентов Восточной Европы. Я привез во Франкфурт целый чемодан рукописей. Большую их часть я получил от профессора Ван Хет Реве, тогда редактора издательства им. Герцена, к которому я специально ездил в Амстердам; кое-что было у меня. Я привез статью

“Литературный процесс в России” Синявского, “Заметки о метафизической ситуации” А. Пятигорского, свою статью о выставке советского неофициального искусства в музее Гренобля, а также три стихотворения Иосифа Бродского.

С Иосифом я познакомился еще в Москве, а когда впервые приехал в Нью-Йорк, зашел к нему на Гринич-Виллидж, где он жил. Он пригласил меня в китайский ресторан и заказал маринованные свиные уши, явно испытывая мое еврейство. Но я плохой еврей и свинину ем с удовольствием. Летом Бродский приезжал в Лондон, мы встретились, и я уговорил его дать стихи для готовящегося нового журнала. Он дал три стихотворения: “На смерть Жукова”, “Конец прекрасной эпохи” и “В Озерном краю”. Но через несколько дней прибежал ко мне возмущенный и потребовал стихи обратно. Ему не понравилось название журнала — “Континент”. Я долго уговаривал его и наконец сказал, что мне надоело общаться с гениями. На этом он успокоился. Эти три стихотворения были впервые опубликованы в первом номере “Континента”.

Вначале наши отношения с Максимовым были самые доброжелательные. Как-то в нашей квартире (мы тогда еще жили в доме Френсиса Грина) собрались Синявские, Максимов, недавно приехавший Галич. Обсуждали перспективы журнала, выпивали, Галич пел под гитару. Часа в три ночи я не выдержал и разбудил своего пятилетнего сына Веньку, чтобы он посмотрел на живого Галича. Александр Аркадьевич спел ему свою “Колыбельную”: “А когда придет Кощей, зафуячит в КПЗей...” Венька заплакал.

Наши расхождения с Максимовым начались сразу же после того, как я прочитал во Франкфурте вступление от

редакции к первому номеру журнала — его своего рода идеологический манифест. Его цели и принципы были сформулированы следующим образом: “1. БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛИЗМ, при главенствующей христианской тенденции... 3. БЕЗУСЛОВНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ... 4. БЕЗУСЛОВНАЯ БЕСПАРТИЙНОСТЬ...” И заканчивалось обращение любимым изречением Максимова: “Имеющий уши да слышит!” Это звучало так, словно не слушающий Максимова ушей не имеет.

Я спросил Максимова: почему религиозный идеализм, да еще безусловный? Ведь авторы даже первого номера далеко не все являются религиозными идеалистами христианского толка. Возмущенный Владимир Емельянович побежал к телефону жаловаться на меня Синявским: зачем они подсунули ему атеиста?! Андрей, которому подобные заявления Максимова тоже были не по душе, просил меня, принимая во внимание необузданный нрав нашего редактора, подождать. Конфликт временно уладился, но за ним последовали новые серьезные расхождения.

Максимов был самородок с вытекающими отсюда достоинствами и недостатками его характера. Родившись в простой рабочей семье, он рано бежал из дома, беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступников, был осужден по уголовной статье и несколько лет провел в лагерях. Безрадостная юность и советское окружение, в которое он попал, став членом Союза советских писателей, сформировали такие его черты, как хватка, упорство в достижении цели, недоверие к чужим, нетерпимость и презрение к оппонентам. И при этом он обладал самобытным языковым талантом и при-

родным острым умом. Решив бороться с советской властью, он взял на вооружение ее же извечный лозунг — кто не с нами, тот против нас! Со временем он все больше начинал казаться мне таким деятельным секретарем обкома, единственным обладателем истины, безапелляционно раздающим кому бублик, а кому дырку от бублика.

Он не был националистом и антисемитом, но ради пользы дела прислушивался к мнению таких авторитетов, как Солженицын, Шафаревич, и идеологов старой эмиграции. Так, в состав лиц, “сотрудничающих” с журналом, наряду с Робертом Конквестом, Эженом Ионеско, Милованом Джиласом, Солом Беллоу и другими видными западными интеллектуалами Максимов включил главного редактора газеты “Русская мысль” Зинаиду Шаховскую, которая уже успела испортить отношения с нашей эмиграцией. На наш вопрос, зачем он это сделал, Максимов закричал: “Да я ее после какого-то номера — поганой метлой! Но она нужна, нужна...” Естественно, с таким порядком ведения дел мы согласиться не могли.

И была еще одна хитрость в структуре журнала, на которую сначала мы не обратили внимания. В состав редакционной коллегии Максимов включил главного редактора (т.е. себя) и ответственного секретаря (т.е. меня). Список же лиц на обложке, который в любом издательстве именовался бы редакционным советом или коллегией, в “Континенте” был обозначен “при сотрудничестве”. Там самым Максимов оставлял за собой единоличное управление журналом, ибо “сотрудничающие” права голоса не имели, а я влиять на проводимую главным редактором политику журнала не мог.

Список “сотрудничающих” расширялся от номера к номеру и превращался в своего рода иконостас знаме-

нитостей. Многие из них, дав когда-то согласие на участие в журнале, быстро забывали о самом его существовании. Это была чистая показуха. А вскоре начались чистки: Максимов изгонял из журнала тех, которых считал левыми. Были изгнаны Сол Беллоу, Виктор Некрасов, Вольф Зидлер, Людек Пахман, Михайло Михайлов и другие известные восточноевропейские диссиденты — сторонники “социализма с человеческим лицом”. Всё агрессивнее звучали колонки редактора, печатавшиеся в каждом номере, и статьи Максимова, в которых он обрушивался на левых интеллектуалов. Слова “плюрализм”, “толерантность” для него, как и для Солженицына, звучали как бранные.

Среди немецкой интеллигенции после кошмаров Третьего рейха были широко распространены левые настроения, а Шпрингер, на деньги которого издавался “Континент”, считался здесь политиком крайне правым. Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс предупреждали Максимова об опасности оказаться в лагере крайне правой реакции. В ответ Максимов печатно называл их носорогами и чуть ли не советскими агентами.

Болезнь политической нетерпимости обострилась и у наших диссидентов. Приезжал в Лондон Валерий Чалидзе. В большом зале, где состоялось его выступление, он подошел ко мне и спросил, не присутствуют ли здесь члены НТС и работники “Радио Свобода”, чтобы не подать им руки. Да и мой друг Боря Шрагин ругал “Континент” за его правизну. Мы спорили целую ночь и остались каждый при своем мнении и в то же время близкими друзьями.

Для меня, как и в Москве, деление на левых и правых не имело значения — лишь бы человек был хороший. Однаж-

ды в Париже меня разыскали два молодых француза и просили помочь им в организации выставки советского неофициального искусства, после чего робко признались, что они троцкисты. Я сказал, что это меня не интересует: если кто-то, независимо от политических взглядов, собирается предпринять полезное дело, я готов помогать. Я дружил с Борисом Миллером — активным энтээсовцем и хорошим человеком, добрые отношения были у меня и с руководством НТС во Франкфурте, где печатался “Континент”, хотя никаких симпатий к их политической программе я не питал.

Синявскому деление людей на левых и правых было так же несвойственно, как и мне. “Есть доля правды в революции и доля правды в черносотенстве”, — цитировал он близкого ему по духу философа В.В. Розанова в своей монографии о нем. Это трудно назвать просто толерантностью, это было объективное неидеологическое отношение к истории. Конечно, с таким мировоззрением Синявский был бельмом на глазу у Максимова, для которого правда была одна, и она должна была сиять как золото, а все остальное — чернеть как деготь. Убрать его из “Континента” вызвало бы скандал — слишком крупная фигура был Синявский в России и в эмиграции. И Максимов пошел другим путем.

В пятом номере “Континента” появилась блестящая статья Андрея Синявского о романе Г. Владимова “Верный Руслан” с предуведомлением читателю, что редакционная коллегия не согласна с ее содержанием. С чем тут можно было не соглашаться? И кто не соглашался — Максимов и я? Это было просто глупо, и компромиссы с Максимовым стали невозможны. С пятого номера Синявский вышел из числа “сотрудничающих”.

Когда я открыл пятый номер “Континента”, в качестве ответственного секретаря здесь значилась уже другая фамилия. Максимов даже не счел нужным известить меня об увольнении. “И зятя Мижуева тоже!” — как написано у Го голя.

“Нервный народ пошел: в рожу плюнешь — в драку лезут”, — часто с удовольствием произносил Максимов. Но в драку лезть я не стал.

Глава 5

Мои университеты. Колчестер, Сент-Эндрюс, Оксфорд

В сентябре 1974 года начались занятия в университете Колчестера и моя там работа. Я должен был разговаривать со студентами на любые темы по-русски, чтобы они оттачивали на мне язык.

Зарплата была маленькая, но оставалось много свободного времени. Свои часы занятий в неделю я распределил на два дня и из Лондона ездил в Колчестер — старинный городок в графстве Сассекс, примерно в часе езды на поезде.

Колчестерский университет был новым, построенным уже после войны и, пожалуй, самым “левым” в Великобритании. Его обширный вестибюль был украшен портретами Мао Цзэдуна, Че Гевары, Ленина, студенты устраивали обструкции преподавателям, реакционным с их точки зрения, объявляли бесконечные забастовки. По английским законам полиция не имела права входить на территорию университета, пока действия забастовщиков не принима-

ют криминальный характер. Вскоре такая возможность была ей предоставлена: студенты ворвались в административное здание, взломали шкафы и похитили ключи от всех университетских помещений. Было арестовано что-то около двухсот человек. Сутки их продержали в тюрьме, а потомпустили. Мои студенты жаловались мне, что кормили их плохо — мясо было слишком жирное. Большую часть года университет не работал, и хотя мне это было на руку, чувствовал я там себя не в своей тарелке. Поэтому, когда мне предложили такое же место в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, я согласился.

Деваться мне было некуда. Рассчитывать на преподавательскую работу по специальности с моим разговорным английским я не мог. Друзья привели меня к директору Варбургского института сэру Эрнсту Гомбриху. Гомбрих, сам бывший эмигрант, беженец из нацистской Германии, отнесся ко мне с полным сочувствием. На его вопрос о моих научных интересах я показал ему тезисы (заранее переведенные на английский) своей начатой еще в Москве работы “Проблема времени и пространства в искусстве Северного Возрождения”. Прочитав, сэр Эрнст грустно покачал головой: “С такой темой даже я здесь прокормиться бы не мог”, — сказал он. Конечно, претендовать на работу в этом центре научного искусствознания я не мог. Гомбрих подарил мне свою “Историю искусств” и повел пообедать в институтскую столовую. Этот крупнейший ученый удивил меня своей простотой и каким-то старомодным обхождением, почти исчезнувшим в Европе: в раздевалке он подавал пальто своим студенткам.

За это время я получил несколько заманчивых предложений, в том числе на исследовательскую работу в университете Лидса и на ведение курса истории русского искусства в институте Курто, где предполагалось учреждение

такой дисциплины. Но в 1974 году к власти в Великобритании пришло лейбористское правительство и страна пока- тилась под откос. Были резко сокращены расходы на науку и культуру, и все возможности найти серьезную работу для меня лопнули.

Итак, осенью 1974 года мы тепло распрощались с нашими хозяевами — Френсисом Грином и его женой Анной, послали последний привет Лондону и отправились в Шотландию.

* * *

Университет Сент-Эндрюс, основанный в XVI веке в древнем городке под тем же названием, был самым старым университетом Шотландии и третьим по старине после Оксфорда и Кембриджа в Великобритании. Городок когда-то был центром шотландского католицизма. Его гигантский готический собор был разрушен, когда в Великобритании победил протестантизм, и, как я понимаю, из его камней были построены более новая часть города и часть университетских зданий. А вокруг расстился настоящий Вальтер Скотт: развалины древнего замка с сохранившимися подземельями, суровое Северное море, холмы, поросшие вереском...

Нас встретила доктор Джейн Грейсон — молодая специалистка по Набокову, отвела в заранее снятый для нас домик, представила меня коллегам. Работа моя была та же, что в Колчестере, но атмосфера здесь была совершенно другая: университет строго придерживался своих древних традиций.

В шотландские университеты студентов принимали на год раньше, чем в английские. В Сент-Эндрюс, место уеди-

ненное, со всех концов приезжали 16-летние юноши и девушки — неопытные, незнакомые с университетской жизнью. Поэтому, согласно древнему обычаю, к каждому вновь прибывшему приставлялся студент старшего курса, который должен был ввести новичка в свою компанию, свой клуб или паб, знакомить с университетскими порядками. Во второй понедельник учебного года новички должны были дарить своим опекунам фунт изюма, а те в свою очередь одаривать своих подопечных, после чего последние были обязаны пронести эти подарки по городу. И они несли — старые матрасы, женские панталоны, стулья, куклы, чемоданы... День этот назывался “Изюмный понедельник” и был веселым праздником для всего города.

Здесь было несколько холоднее, чем в Англии, и студенты носили сделанные из плотного сукна красные мантии, заменявшие им пальто, и четырехугольные шапочки-конфедератки. И был обычай: студентки приходили на экзамены в шапочках, а особы мужского пола не имели права покрывать голову. Потому что где-то в середине XIX века в этот традиционно мужской университет начали принимать женщин, и тогда студенты в знак протеста вышли на мол и выбросили свои конфедератки в море. Обычай этот сохранился и до нашего времени.

Все это мне нравилось. Свободного времени было много, и я использовал его для работы в “Континенте”: вел обширную переписку, привлекая новых авторов, редактировал присланные статьи, ездил во Франкфурт делать очередной номер журнала. Студенты были серьезные, атмосфера — крайне доброжелательная, Джейн Грейсон возила нас по старым городкам, рыбачьим деревенькам, по древним памятникам Шотландии. Наверное, я бы так и остался в Сент-Эндрюсе, если бы не узнал, что в Оксфорде освободилось такое же преподавательское место.

Два раза за годы эмиграции я чуть не заплакал: когда впервые попал в лондонский паб и оксфордский колледж — чего мы были лишены! Оксфорд находился в полутора часах езды на автобусе от Лондона со всеми его соблазнами, отсюда было проще добираться до Парижа, где жили Синявские и Максимов, там было удобнее работать для “Континента” (я тогда еще был ответственным секретарем журнала). Я съездил в Оксфорд, прошел собеседование и был принят.

Летом 1975 года мы распрощались с Джейн, дружба с которой у нас сохраняется и по сей день, и снова вернулись в Англию.

* * *

Оксфорд по сравнению с Лондоном показался мне королевством в табакерке, правда, табакерка эта включала в себя сорок университетских колледжей и сто тысяч населения, в том числе десять тысяч студентов. Здесь я проработал четыре года. Мой колледж, где находилась кафедра славистики, назывался “Новый” (*New College*), потому что в XV веке, когда он был основан, в Оксфорде уже действовало несколько колледжей (сам Оксфорд был основан в XII веке). Традиция тут сохранялась на протяжении почти тысячелетия. Когда я пришел записываться в главную университетскую библиотеку Бодлейн, мне вручили текст правил, которые я должен был поклясться соблюдать. В числе этих правил были и такие: “Посетитель обязуется не приносить в помещение библиотеки свечей... не разжигать огонь...” Удивительно: кому в XX веке могла прийти в голову идея принести в библиотеку свечи или разжигать здесь огонь? Но текст был составлен лет на пятьсот раньше, когда в Бод-

леане случился пожар и часть библиотеки выгорела. Столь же древними были и обычаи, накладывающие своеобразный отпечаток на жизнь университета.

Так, где-то в XVII веке горожане Оксфорда восстали против университета; был даже год, когда он был закрыт. И вот однажды какой-то студент бежал от разъяренной толпы, стремясь укрыться в своем колледже Тринити. Толпа догонила его, и, не успев добежать до Тринити, он начал стучаться в дверь Баллиол (колледжи находились рядом). Было уже после девяти вечера, и колледжи были закрыты. Ему не открыли, и он был убит. С тех пор каждый год в этот день колледж Баллиол в знак раскаяния ставит колледжу Тринити бочку пива (в наши дни бочка заменяется символической кружкой).

Все законы, принятые со времени основания университета, сохраняют свою силу и в наши дни. Средневековье здесь вторгалось в XX век, и такая смесь часто порождала комические ситуации.

Во время письменных экзаменов встает студент и нахально требует, чтобы ему принесли кружку пива, ссылаясь при этом на закон какого-то XIII или XIV века, по которому такая кружка сдающим письменные экзамены полагается. После некоторого замешательства профессоров ему велено обратиться из экзаменационного зала, потому что он не при шпаге, которую студентам полагалось иметь по столь же древнему закону.

Группа студентов приходит на Корнмакет — самое оживленное место Оксфорда — и начинает стрелять из луков. Полиции, пытающейся их разогнать, они предъявляют документ, по которому студенты обязаны учиться стрельбе именно на этом месте. Замешательство продолжалось до тех пор, пока не появился какой-то старый оксфордский волк и предложил им прекратить безобразие,

потому что они не одеты в форму стрелков и головы их не украшены тирольской шляпой с пером.

Подобным же веселым шоу выглядела церемония присвоения Ростроповичу степени почетного доктора Оксфордского университета. По улицам города двигалась торжественная процессия: впереди шли трубачи в пестрых мундирах королевской гвардии, за ними выступал ректор университета в длинной мантии со шлейфом, который нес паж, а за ним следовали в черных мантиях оксфордские доны; в театре Шелдон, где завершалась церемония, спикер зачитал обращение к Ростроповичу на чистой латыни, и в торжественное звучание языка цезарей вторгались комические прозаизмы нашего времени: Ростропович тут сравнивался с Караяном, потому что пластинки с записями их концертов стоят рядом на полках университетской библиотеки. Аудитория забавлялась.

Конечно, все это было игрой — игрой с традицией, и сочетание серьезной учености с юмором и иронией — как в украшающих ограду библиотеки Бодлеан гротескных огромных бюстах древних мудрецов, созданных в XVIII веке, — во многом определяло духовную и поведенческую атмосферу Оксфорда. Никакой чопорности в отношениях преподавателей и студентов, полная свобода в выборе одежды, и в то же время строгое соблюдение правил при еде, выпивке, во время торжественных церемоний. Многие из них казались странными.

Меня избрали гостевым членом *University College*. Это был самый старый колледж Оксфорда, но со временем его первоначальное здание разрушилось и было вновь отстроено в XVII веке. Я получил кучу бумаг, в том числе с извинением в том, что в погребах колледжа отсутствует портвейн выдержки до 1945 года. Перед ужином преподаватели собирались в библиотеке, где можно было курить и пить

виски. Потом поднимались в трапезную: преподаватели — на подиум, студенты — к столам внизу. Во время еды обслуга подливала вино в бокалы преподавателей; студентам вино не полагалось. После ужина профессорский состав шел в особую комнату для разговоров. Стены ее были обиты резными панелями XVI века, посередине стоял длинный овальный стол, а на нем по рельсам двигался паровозик с вагончиками, которые везли бутылки с портвейном разных марок. Каждый из присутствовавших подталкивал паровозик и выбирал напиток по вкусу.

* * *

Мне, окончившему Московский университет, а потом преподававшему там, было непросто включиться в систему английского образования. Никаких обязательных лекционных курсов по истории, скажем, литературы или искусства в Оксфорде не существовало. Обучение строилось главным образом на отношениях ученика и тьютора. Студент должен был регулярно подавать учителю эссе на определенную тему: сегодня, скажем, о Маяковском, завтра о Толстом, Пушкине, Тургеневе вне всякой хронологической последовательности. Считалось, что исторические связи студент сам может почерпнуть из литературы по данному вопросу. Это была жесткая тренировка мозгов. Оксфорд не столько давал студентам определенную профессию, сколько учил навыкам для овладения любой профессиональной деятельностью.

Каждый год после получения студентами дипломов Оксфордского университета фирмы самых разных направлений выставляли на улицах города свои стенды с проспектами и предложениями условий работы. Их представители

понимали, что для выпускника Оксфорда — неважно, слаvista или ядерного физика — овладеть новым родом деятельности — не проблема. Так, один мой очень талантливый студент Дэвид Франклин поступил в фирму по продаже противопожарного оборудования. Ему просто предложили годовичную стипендию в любой университет, чтобы он изучил мировой рынок и предоставил фирме отчет о своем исследовании. После чего Дэвид занялся другими делами. Другого своего студента я встретил через год после окончания университета. Оказалось, что он работает в турецком посольстве, а на мой вопрос о языке он сказал, что за год спокойно выучил турецкий.

Помимо прямых моих обязанностей — болтать со студентами — я вел еще класс перевода с английского на русский и читал курс лекций для аспирантов о развитии современного русского языка, понимая язык как язык культуры. Я объяснял, как социальные пертурбации порождают новые формы языка в искусстве, литературе, музыке, как в его магистральное развитие вливается периферия, иллюстрируя это примерами из Бабеля, Шукшина, Шаламова...

После одной из таких лекций подошел ко мне Роберт Чандлер, который заинтересовался Шаламовым, и я дал ему почитать “Колымские рассказы”. Роберт был потрясен и начал их переводить. Он был прирожденный переводчик (сейчас он один из самых крупных в Англии и Америке). Темой его диссертации был язык Платонова, и он решил изменить тему: вместо Платонова заняться Шаламовым. Кто такой Шаламов, университетская администрация понятия не имела, и в изменении темы ему было отказано. И тут произошел эпизод, произведший на меня сильное впечатление.

Как-то собрались в нашем доме несколько аспирантов, и Чандлер объявил, что он уходит из университета: надо

составить свой план работ на будущий год, а сделать это он не может в связи с изменением темы. “Роберт, — сказал я, — да напишите пару страничек о Платонове и занимайтесь два года Шаламовым. Ведь никто проверять вас не будет”. Аспиранты посмотрели на меня удивленно и осуждающе. С их точки зрения, можно хитрить с налоговым управлением, но со своим университетом... Точно так же на меня посмотрели офицеры английской разведки, когда вскоре после приезда в Англию у меня было собеседование в Уайт Холле (“Наш КГБ”, — пошутил один из офицеров) и я рассказал, как во время допроса в “Лефортово” врал следователю Хомякову.

Я не только учил, я учился — учился понимать страну, в которой оказался, ее национальный характер, ее людей — Френсис Грин, Падди О’Тулл, Джейн Грейсон, Мартин Дьюхерст и многие другие, с которыми я познакомился и подружился, — я понял, что англичане отвечают за свои слова, что им можно верить и что они всегда готовы помочь.

Я часто встречался в Оксфорде с Исайей Берлиным, названным по одному из опросов населения первым интеллектуалом Англии. “Как вы живете?” — всегда спрашивал он. “Хорошо, Исайя Маркович”, — отвечал я. “Нет, вы действительно хорошо живете?” Он явно хотел помочь, что-то сделать для нас, как он помогал многим приезжавшим из России. Я переводил для Би-би-си его воспоминания о том времени, когда в сороковых годах он был культурным атташе при английском посольстве в Москве. Берлин часто приглашал меня к себе. Он рассказывал о своих встречах с Пастернаком, Чуковским, Ахматовой... Когда же речь заходила о “Поэме без героя”, где Исайя Берлин выступал как “гость из будущего”, и о мнении Ахматовой, что именно их встреча вызвала возмущение Сталина и по-

служила причиной начала широкой кампании, в ходе которой сама она, Зоценко, Чуковский и многие другие были объявлены чуть ли не врагами народа, брови Исаяи Марковича ползли кверху и на лице проступало выражение крайнего недоумения.

С другой стороны, как-то в Париже я встретился с одним видным французским славистом. “Не согласились бы вы прочитать лекцию в нашем университете?” — спросил профессор. Я с радостью согласился и даже начал готовиться к лекции. Прошел год, два — ни ответа, ни привета. Встречались мы с ним еще и еще, и каждый раз тот же вопрос и тот же ответ. Наконец при очередной встрече я сказал, что вскоре нам бы следовало отпраздновать десятилетний юбилей со дня этого его приглашения.

Артур Кестлер с его богатым эмигрантским опытом жизни в самых разных странах Европы писал в своих воспоминаниях, что француз, встретившись с эмигрантом, наговорит ему кучу комплиментов, а потом оставит его на улице под дождем; англичанин приведет его, как бродячую собаку, в свой дом и накормит. Я убедился в этом на собственном опыте.

Глава 6

Дело Энтони Бланта

В самом начале моей эмиграции дело о советских шпионах в Англии заинтересовало меня как чисто детективная история. Выпускники Кембриджа, занимавшие высокие посты в английской разведке, в Министерстве иностранных дел, имевшие доступ к самым секретным документам, в начале пятидесятых годов были разоблачены как советские агенты. Это считалось здесь самым крупным предательством за всю историю Англии. Трое из них — Гай Берджесс, Доналд Маклейн и Ким Филби — уже бежали в СССР. Нераскрытым оставался четвертый, и пресса была полна догадок и подозрений. Я же полущутя говорил своим друзьям, что знаю, кто четвертый, и это — сэр Энтони Блант. А дело было так.

В 1965 году Юрий Максимилианович Овсянников, работавший тогда главным редактором книжной редакции издательства “Искусство”, прислал мне на рецензию рукопись Энтони Бланта о “Гернике” Пикассо. Рукопись, сообщил он, поступила в издательство непосредственно из

ЦК КПСС с указанием срочно опубликовать ее. Рукопись как рукопись, примерно в сто страниц, уже переведенная на русский, с большим количеством иллюстраций. О Бланте я знал только по его небольшой монографии о раннем творчестве Пикассо, и, естественно, моя рецензия была вполне положительной.

Это был, повторю, 1965 год, когда (о чем я узнал уже в Англии) английская разведка разоблачила Бланта как советского шпиона. Издание в Советском Союзе книги известного прогрессивного английского искусствоведа, подвергающегося преследованиям на родине, явно было подготовкой к его перемещению в Москву. Но английская разведка обещала Бланту за его открытое признание держать дело в секрете, не ставя в известность даже королеву и премьер-министра, и слово сдержала. Прозябанию в СССР Блант предпочел сохранить свое положение в Англии в качестве директора института Курто, хранителя королевских коллекций и репутацию искусствоведа с мировым именем. Публикация его книги потеряла всякий смысл, и она так и не вышла в Советском Союзе.

Четырнадцать лет этот “искусствовед в штатском” продолжал свою двойную деятельность. Только в 1979 году было произведено второе расследование и дело Бланта было открыто для публики. Дело было страшное.

Энтони Блант был завербован советской разведкой во время его обучения в Кембридже или вскоре после окончания университета. В те времена кембриджская элита (члены так называемого Общества апостолов, куда вместе с Блантом входили Берджесс и Филби) в большинстве своем придерживалась марксистских взглядов. Что же касается морали, то, воспитанные на античной литературе, многие, в том числе и Блант, сердцем восприняли идею древних мудрецов, что любовь между мужчинами выше, чем лю-

бовь к женщине. Неудивительно, что такой коктейль из марксизма и гомосексуализма делал Кембридж одним из главных объектов проникновения сюда советской разведки: марксизм был удобным средством для превращения его молодых адептов в друзей Советского Союза, а гомосексуализм, который до 1964 года считался в Англии уголовным преступлением, — для шантажа и вербовки.

В 1940 году Блант начинает работать в отделе контрразведки английской Интеллидженс Сервис и получает доступ к самым сверхсекретным ее документам. Он был осведомлен о сверхсекретных планах высадки союзных войск на побережье Нормандии летом 1944 года. Он принимал участие в операции “Двойной крест”, касавшейся двойных агентов, как немецких, так и советских. Он осуществлял слежку за иностранными посольствами в Лондоне, в том числе посольствами Польши, Чехословакии, Литвы, Эстонии и других государств, враждебно относившихся к сталинскому режиму. Все сведения он передавал своему куратору от КГБ — первому секретарю советского посольства в Лондоне Анатолию Горскому. И кто знает, сколько людей было уничтожено по его спискам машиной сталинского террора.

Во время второго расследования на допросах Блант утверждал, что после 1945 года он прервал все свои отношения с КГБ. Доказательств обратного у английской разведки не было. У меня же на руках было неопровержимое доказательство его вранья — решение ЦК КПСС опубликовать в СССР его книгу в 1965 году.

Журналисты стаями бегали по Лондону, собирая крупицы сведений об этой сенсационной истории. Обратиться со своими разоблачениями к прессе я не мог, понимая, какими неприятностями это грозило бы Овсянникову. Когда некоторое время спустя я рассказал ему об

этой истории, Юра, по его словам, покрылся холодным потом.

Я позвонил своему профессору Фенеллу, описал ситуацию и спросил, что мне делать? “Хорошо, — сказал Джон, — я позвоню сейчас в наш КГБ”. Во время войны Фенелл, как и многие его сверстники, работал в английской разведке. Вскоре он позвонил мне: “Они сказали, пускай он молчит”. Естественно, после скандала с сокрытием в течение четырнадцати лет преступлений Бланта даже от королевы английская разведка была не заинтересована в дальнейшем распространении этой истории.

Энтони Блант был лишен дворянского титула сэра, был смещен с постов директора института Курто и хранителя королевских коллекций, но сохранил свободу и даже членство в Королевской академии наук. “Мы избирали его не как шпиона, а как ученого”, — заявили мудрые академики.

Глава 7 “Радио Свобода”. Галич

Еще в Лондоне я начал делать программы для “Радио Свобода”. Когда на станции появился Галич, он убедил начальство приглашать меня в качестве замещающего начальника Отдела культурных программ Б. Литвинова во время двух летних месяцев его отпуска. С тех пор в течение нескольких лет часть лета я проводил в Мюнхене. Помимо очень приличной зарплаты, мне платили и за мои собственные программы, так что, вернувшись в Оксфорд, мы под моргедж (банковскую ссуду) купили дом — три этажа, шесть комнат и садик. Так мы прочно обосновались в Оксфорде: Нина, моя жена, до сих пор проживает там.

Состав сотрудников на радиостанции был тогда смешанный. До влившегося сюда потока новых выходцев из Советского Союза здесь работали в основном потомки первой и представители второй (послевоенной) эмиграций. Первые, воспитанные на ностальгической любви к иллюзорной, уже давно не существующей России, от-

носились к нам, мягко выражаясь, недоброжелательно. Мы были непосредственными свидетелями происходящего в стране, испытавшими на собственной шкуре прелести режима, знали аудиторию, к которой обращались, и поэтому представлялись им опасными конкурентами. Среди послевоенных эмигрантов, в том числе и воевавших на стороне немцев, были сильны националистические и антисемитские настроения. Ну и мы — в основном евреи, бежавшие от этого самого национализма. Да еще бывшие советские агенты-перебежчики. Все это вместе взятое составляло взрывоопасную смесь.

Дело усугублялось еще и принятой на “Радио Свобода” американской иерархической системой зарплат (очень высоких) и должностей. Существовало пятнадцать или больше должностных рангов (или разрядов), от коих зависели зарплаты и профессиональный престиж сотрудников. Такая система была, очевидно, естественной для американцев, работающих на своих традиционных предприятиях, но не для эмигрантов — людей неустроенных, в большинстве без определенных профессий, для которых работа на “Свободе” была единственным шансом сделать карьеру. И они карабкались по этой иерархической лестнице, толкаясь ногами, интригуя, подсиживая друг друга, сочиняя доносы начальству, устраивая склоки, скандалы...

Директор “Свободы” Френсис Рональдс справиться с этой стихией не мог. Это был человек высокой культуры, читавший наизусть стихи Мандельштама, а главное, он понимал ценность для работы на “Свободе” творческой интеллигенции, хлынувшей из Советского Союза. Именно Рональдс пригласил сюда на работу Галича. Как это ни печально, но его пребывание на станции только обострило и без того напряженную здесь атмосферу.

Когда я в первый раз приехал в Мюнхен замещать начальника отдела культурных программ, здесь существовала программа “Под звуки струн”, запускающая в эфир песни советских бардов и менестрелей, которую вела эмигрантка второй волны Галина Митина. Прослушав несколько пленок, я пришел в ужас: вместо Окуджавы, Галича, Высоцкого песни их исполнялись какими-то грубыми имитаторами. При наличии живого Галича программу эту было решено ликвидировать. И началась новая, затеянная старыми эмигрантами волна склок с привкусом антисемитизма и запашком “русского духа”, направленная в основном против Галича.

Тут я должен оговориться. При всех наших несогласиях и стычках я далек от того, чтобы осуждать старую эмиграцию. Мне довелось встречаться с людьми высокой культуры, еще в двадцатых годах бежавших или высланных из России, но понимающих наши проблемы. Одним из таких был Борис Литвинов, которого я замещал в качестве начальника отдела культурных программ. Кажется, он родился уже во Франции, получил хорошее образование, свободно говорил на нескольких языках и в то же время был активным членом НТС. У меня с ним сложились самые добрые деловые и личные отношения. Он жаловался, что наша эмиграция принесла с собой советский дух подозрительности и недоброжелательства, и был отчасти прав. Но он понимал также, что в “третьей волне” карьеристов и прохиндеев было не больше, чем в первых двух — дураков и антисемитов.

И все же единственно, с кем у меня завязались здесь дружеские отношения, была Юлия Вишневская (я был с ней знаком еще в Москве). Чистая душа с грязным диссидентским языком, она была ученицей, почитательницей и пассией Алика Есенина-Вольпина, со школьных лет при-

нимала участие в диссидентских тусовках, вышла на площадь Пушкина с демонстрацией, требующей гласности процесса Синявского и Даниэля, вступила в стычку с милицией. Попала в тюрьму, потом в психушку. На “Свободе” она тихо сидела в исследовательском отделе, где в основном работали западные ученые-советологи, и была в стороне от радиовещательных склок. Наверное, мы с Юлей были здесь наиболее близкими Галичу людьми, хотя дома у него за столом часто собирались большие компании. Мы были его почитателями, благодарными слушателями, т.е. осколками московской аудитории, которой ему так не хватало в эмиграции.

Иногда Галича приглашали петь в богатые дома старой эмиграции (не вся русская аристократия такси в Париже водила; была эмиграция Набокова и эмиграция Газданова). Приглашенная публика чинно сидела в креслах, держа в руках тексты песен, у некоторых — в немецких переводах. Галич смущался, пропускал слова и фразы, которые считал неприличными или непонятными для аудитории, и только дома за столом в компании расслаблялся и пел как бог на душу положит.

Его аудитория оставалась в Москве и была рассеяна по всему миру. Когда Галич в первый раз поехал на гастроли в Израиль, он вернулся в Мюнхен окрыленный: его выступления в разных городах там проходили на ура, в переполненных залах, при больших кассовых сборах. Он даже носился с идеей навсегда перебраться в Израиль. Но его вторая поездка туда большого успеха ему не принесла: импресарио заломили высокие цены на билеты, а у российских эмигрантов не было денег, чтобы еще раз послушать любимого барда.

Мне была не совсем понятна высокая должность Галича, специально для него созданная тогдашним умным на-

чалством: Александр Аркадьевич как бы возглавлял отдел культурных программ при наличии его начальника Литвинова. Галич стал приглашать меня поработать на “Свободе” не только во время моих летних каникул, но и в зимнее время, как я понимаю, просто для компании и чтобы дать мне подработать.

Главной чертой характера Александра Аркадьевича, как я вижу его сейчас, была доброта. Он органически никому ни в чем не мог отказать. Попав в эмиграцию, он на первых порах оказался в среде старых эмигрантов. Его попросили вступить в НТС — он вступил. Ему предложили креститься — он крестился. Когда я приходил в его кабинет с программами, которые в силу разных причин считал невозможным пускать в эфир, он, не читая, махал рукой и произносил: “В корзину, в корзину” (имея в виду корзину мусорную). Для него все это было второстепенно; он был Поэт *par excellence*. И эта мягкость характера, неумение никому ни в чем отказать в конце концов привели Александра Аркадьевича на грань катастрофы.

В один прекрасный день появилась на станции некая Мирра Мирник. Единственно, что я могу про нее сказать: это была декоративная женщина. Но тут уместнее предоставить слова Юлии Вишневской, которая, проработав на “Свободе” 25 лет, лучше меня знает эту историю:

“Где Галич откопал эту девушку Мирру, я не знаю. Говорили, что она подрабатывала на “Русской службе” машинисткой, но я сильно сомневаюсь, что она была способна напечатать на машинке хотя бы одно слово, не сделав при этом как минимум пяти ошибок на каждые шесть букв. Как бы то ни было, Мирра ушла от своего мужа Толика к Галичу, прихватив с собой заодно их общего с Толиком сына Робика. Толик же в результа-

те разбушевался, как Фантомас. Он бегал по станции, потрясая газовым пистолетом, и громко жаловался, что Галич “разбил его семью” и что он, Толик, этого так не оставит. Он ворвался в кабинет нашего интеллигентного директора Рони и, размахивая тем же газовым пистолетом, кричал, что будет сражаться всеми доступными ему средствами против столь грубого нарушения его священных прав. Для начала он убьет Галича, а потом будет жаловаться во все авторитетные инстанции. А именно: в “Правду”, в “Известия”, академику Сахарову, писателю Солженицыну. В “Правде” и в “Известиях” Толиковы жалобы якобы прочли внимательно и даже как-то в своих пропагандистских целях использовали. История умалчивает также, удалось ли Толику достучаться до Сахарова, но в Вермонт к Солженицыну он, если верить его словам, все-таки дозвонился и был выслушан там со всем вниманием и пониманием. А несчастный Галич откликнулся на появление в его жизни Мирры и ее сына песенкой:

*Робик, Робик,
Введешь ты меня в гробик”.*

Реакция на станции на эти события была предсказуемой. Прибегала не в меру активная Ирина Хенкина и сообщала Галичу пикантные подробности о его постельных делах, широко обсуждаемые здоровым коллективом сотрудников “Свободы”. После чего Галич ложился на диван с сердечным приступом. В конце концов я пошел к Рональдсу и убедил его отобрать пропуск на станцию у Хенкиной (она тогда еще не была в штате).

У меня нет сомнений в том, что атмосфера на “Свободе” в значительной степени подогрелась нашим родным

КГБ. Вполне возможно, что и девушка Мирра была подсунута Галичу не без помощи этой организации. Как я уже писал, здесь в качестве сотрудников работали и перебежчики из советской разведки. Американцы, выпотрошив их на предмет советских секретов, предоставляли им богатую синектуру на “Свободе”. Некоторые так и продолжали оставаться советскими агентами.

Бродил по нашему коридорчику мрачный человек по фамилии Морев. Он был советским разведчиком, сдавшимся американцам. Через некоторое время он перебрался в СССР и начал писать статьи в газетах, разоблачающие вражеские голоса. В одной из них, опубликованной в “Литературной газете”, он приводил список сотрудников “Свободы”, фашистов и предателей, сотрудничавших с гестапо во время войны. В числе перечисленных фигурировал и И. Голомшток.

Появился здесь некий Злотников, представившийся начальству как “журналист с копытом”, и был сразу же назначен на высокую должность. Через какое-то время прибежали из исследовательского отдела с кипой статей из советских центральных газет, в которых тов. Злотников приветствовал вторжение советских танков в Прагу. Но уволить его по немецким законам было невозможно. И только когда обнаружилось, что при поступлении он скрыл в анкете, что успел отсидеть в России по какой-то уголовщине, ему указали на дверь. После чего он работал, кажется, переводчиком при советской делегации в ООН.

Вроде бы я не страдаю шпиономанией, но, шатаюсь по коридорам “Радио Свобода”, трудно было не учуять хорошо нам знакомый запах гэбэшной конторы.

Работал тут на высокой должности Кирилл Хенкин — бывший чекист, участвовавший в гражданской войне в Ис-

пани. Свое чекистское прошлое он не скрывал; наоборот, ссылаясь на свое знание изнутри дел КГБ, в частности механизма прохождения документов в ОВИРе отъезжающих в эмиграцию, писал в статье “Русские пришли”, опубликованной в израильском журнале “22”, что в делах шестидесяти процентов уехавших лежит письменное обещание “честно сотрудничать с советскими органами разведки”. Следуя этой логике, сказал я как-то Максимову, из четырех сотрудников журнала “Континент” двое обязательно будут агентами КГБ. Хотел Хенкин этого или не хотел, но такие его откровения лишь накаляли атмосферу подозрительности, и без того достаточно напряженную в эмигрантской среде.

Кульминацией всей этой кагэбэшной деятельности явился взрыв в здании “Радио Свобода” 21 октября 1981 года, организованный гэдэеровским филиалом советской тайной полиции (СТАШИ) при помощи известного международного террориста Ильича Санчеса по прозвищу Шакал. Двадцатикилограммовая бомба разрушила часть помещения станции. Взрыв был настолько мощным, что в радиусе километра в домах вылетели стекла. К счастью, это произошло ночью, и пострадали только несколько человек. Но я к этому времени уже не работал на “Свободе”.

* * *

Положение Галича на станции становилось все более невозможным как для него самого, так и для начальства. К тому же его еще и обворовали: унесли из квартиры все деньги, заработанные в Израиле и сбереженные от зарплаты. Было принято решение о переводе его на работу в па-

рижское отделение “Свободы”. На мюнхенском вокзале, где мы провожали Галича, к нему, как он рассказывал, подходили какие-то типы с угрозами расправы.

Я бывал на его парижской квартире. Александр Аркадьевич вдали от мюнхенских склок, казалось, пришел в себя, успокоился, начал писать. К сожалению, этот период относительного благополучия продолжался недолго.

О его смерти мне рассказывала Ангелина Николаевна, его жена.

Галич купил какую-то новую американскую радио-аппаратуру и копался в ее внутренностях. Ангелина Николаевна вышла за покупками, а когда вернулась, увидела мужа лежащим на полу со странными ссадинами на голове. Срочно вызванный врач попал в автомобильную пробку, а когда добрался до места, Галич был уже мертв. Он умер от удара электрическим током. Люди понимающие говорили, что опытному электротехнику ничего не стоит, покопавшись в черном ящике на лестничной клетке, временно переключить напряжение на более высокое.

В конце моего очередного пребывания на “Свободе” меня вызвал Рональдс и предложил занять место Литвинова в качестве начальника отдела культурных программ. Одним из странных аргументов в пользу моего назначения было, как он считал, то обстоятельство, что в моем присутствии сотрудники меньше будут ругаться матом (думаю, в этом он ошибался). Я отказался по трем причинам. Во-первых, я считал Литвинова более компетентным для

этой должности, чем я, и не хотел занять место человека, под которого и так велись подкопы справа и слева. Во-вторых, у меня не было никакого желания навсегда погрузиться в атмосферу склок и скандалов, процветающих на “Свободе”. И, в-третьих, мне было жалко менять в качестве постоянного проживания столь любимую мною Англию на Мюнхен.

Глава 8

Би-би-си

Есть обычай на Руси —
Ночью слушать Би-би-си.
Фольклор

В 1979 году прошло четыре года моей работы в Оксфорде — максимальный срок, установленный здесь для так называемых “носителей языка”, после которого на эту должность принимался более свеженький иностранец. Однако профессор Фенелл, глава оксфордской славистики, взял на эту работу Нину, хотя она была уже, так сказать, “второй свежести”. Я же оказался в подвешенном состоянии.

На “Радио Свобода” двери для меня были закрыты. В результате долгих и сложных интриг был свергнут наш доброжелатель Рональдс. Все большее влияние на политику “Свободы” стали оказывать Максимов и Солженицын, и путь сюда нам — плюралистам и “образованцам” — был заказан. Оставалось Би-би-си. Я начал делать программы,

потом меня приняли в штат Русской службы, где я и поработал до самой своей пенсии.

Мое ощущение от первого после “Свободы” посещения Би-би-си: я снова попал в знакомую атмосферу традиционного английского учреждения. Очень многое отличало работу этих двух станций. Никакой многоступенчатой иерархии должностей и окладов на Би-би-си не существовало. Все сотрудники, ведущие программы, получали одинаковые зарплаты, кроме заведующих отделами (которых было немного), а если начальство хотело кого-то поощрить путем прибавки к окладу, то делалось это приватно, чтобы не вызывать нехорошего чувства у других. Поощренный мог сам, если хотел, сообщить об этом коллегам.

Очень важным мне представлялся здешний принцип отбора кадров. Приоритетами для принятия на работу кандидатов были хороший русский язык, общий культурный уровень и профессионализм в любой области. На несовершенство английского смотрели снисходительно по мудрому правилу: “поработает — подучится”. Люди разных профессий вели здесь каждый программу по своей тематике: Сева Новгородцев — по музыке, врач Эдик Сеговия — по медицине, инженер Валерий Лapidус — по технике, писатель Зиновий Зиник — по театру и литературе... Политическим комментатором был легендарный Анатолий Максимович Гольдберг. Существовал при отборе и строгий политический контроль: при установлении факта работы кандидата в советской официальной прессе его отвергали, не говоря уже о его связи с разведкой. Я не могу сейчас припомнить среди наших старых сотрудников ни одного бывшего советского журналиста. Хотя попытки проникнуть на станцию были, и об одной из них я хочу упомянуть.

В 1983 году видный журналист из “Литературной газеты” и, как говорили, крупный гэбэшный чин Олег Битов

был послан в Европу по делам, как-то связанным с покушением на Папу Римского; здесь он, как говорится, “выбрал свободу” и объявился в Лондоне. То ли он провалил задание и испугался, то ли надеялся сделать здесь блестящую карьеру. Приняли его с доверием; Би-би-си даже собиралось предложить маститому журналисту хорошую должность на станции.

В это время у нас гостил Юз Алешковский (к этому времени у Нины закончилась работа в Оксфорде, а Вениамин поступил в Вестминстерскую школу прямо при Вестминстерском аббатстве, и мы купили большой дом на юге Лондона в районе Кембервелл). В Москве Юз был близким другом писателя Андрея Битова, бывал в его доме и, конечно, знал его брата Олега. Как-то Олег позвонил Юзу, чтобы договориться о встрече, и я предложил пригласить его к нам. Олег пришел уже сильно поддатый. За столом он говорил главным образом о том, сколько долларов платят ему здесь за строчку, а потом, по мере выпитого, начал рассказывать о своем побеге. И тут у меня глаза на лоб полезли. Битов повествовал о том, как его похитили белогвардейцы (он упорно повторял это слово, очевидно, имея в виду энтээсовцев), как ему сделали укол и в бессознательном состоянии переправили в Лондон. Утром я спросил у Нины, привиделось ли мне это с пьяных глаз, или Битов действительно говорил такое. Трезвая Нина подтвердила, что действительно такое было. На Би-би-си я пошел к начальству и сказал, что, по моему мнению, Битов собирается в Москву. Что и произошло через какое-то время. В Москве Битов описывал свои приключения теми же словами, которые я слышал из его уст у нас за столом. Похвалюсь: я спас Би-би-си от крупных неприятностей.

Было и еще одно различие в работе двух станций. На “Свободе” тексты передач зачитывались дикторами с хоро-

шо поставленными радиоголосами. На Би-би-си мы сами читали свои тексты и при отсутствии дикторских навыков говорили как обычно, как за столом среди друзей. У Анатолия Максимовича Гольдберга был несколько скрипучий, носовой голос, что составляло резкий контраст с усредненными интонациями советских радиовещателей. Я думаю, что это и было одной из причин необычайной популярности Гольдберга у советских слушателей. В советский эфир врывались человеческие голоса, они были узнаваемы, и им верили. Приезжал к нам из Эстонии композитор Арво Пярт. Он был постоянный слушатель Би-би-си и попросил меня “дать ему пощупать” А.М. Гольдберга. Мы шли по коридору, из-за открытых дверей кабинетов слышались разговоры, и Арво своим удивительным слухом сразу же узнавал голоса: “А, это Зиник, это Бен, это Новгородцев...”

Начальники наши были в основном слависты, выпускники Оксфорда, Кембриджа, Сент-Эндрюса, прекрасно говорящие по-русски и хорошо понимающие ситуацию в Советском Союзе. Политика радиовещания на Би-би-си предполагала прежде всего всестороннее освещение английской жизни — ее культуры, быта, общественных институтов... Но понятие жизни трактовалось здесь очень широко.

Так, большое впечатление произвела на меня опубликованная в Англии по-русски книга Александра Зиновьева “Зияющие высоты”, и я хотел осветить ее содержание в серии программ. Но возникли сомнения: насколько такие передачи отвечали бы установке на освещение по преимуществу английской жизни? Я пошел проконсультироваться к высшему начальству — к барону Ливену, заведующему сектором, если не ошибаюсь, всей Восточной Европы, куда входила и Русская служба. “Книга попала в английские библиотеки? — спросил барон. — Если да, то это и есть ан-

глийская жизнь”. Все ограничения таким образом снимались, а политические соображения отступали на задний план.

Помню и такой случай. В 1984 году к очередной годовщине окончания Второй мировой войны было решено пустить в эфир две программы: война в России и война в Англии. Первую делал я, вторую — наша сотрудница Таня Бен. Я, конечно, начал с пакта Молотова—Риббентропа и кончил людскими потерями в войне. Прочитав мой текст, начальник Русской службы Барри Холланд задумался. “Как-то неудобно, — сказал он, — День Победы, люди, участники войны, будут сидеть за столами, выпивать, закусывать, а тут Риббентроп, Гитлер...” — “Барри, ну давайте первой пустим программу Тани об Англии, а мою через неделю”. На том и порешили. Но 9 мая по телефону меня срочно вызвали к Холланду. “Сегодня же пускаем вашу программу!” — возмущенно прокричал он. Оказывается, Горбачев, выступая на Красной площади по старой советской традиции, заявил, что войну развязали Англия и Франция. Этого англичане стерпеть не могли.

Все это вместе взятое, с одной стороны, обеспечивало нормальную атмосферу внутри станции, а с другой — способствовало высокой популярности Би-би-си среди российских слушателей. Бюджет Би-би-си был в сто раз меньше, чем американской объединенной станции “Радио Свобода / Свободная Европа”. Но, по подсчетам всех международных исследовательских центров, в том числе и самой “Свободы”, Би-би-си занимала первое место по количеству слушателей среди всех зарубежных “голосов”. Это было золотое время Би-би-си.

Глава 9

Америка

Еще в Москве, когда я работал в Государственном музее изобразительных искусств, мне в руки попался один из номеров нацистского журнала “Искусство Третьего рейха” за 1938 год. Наш ученый секретарь Михаил Яковлевич Либман когда-то обнаружил его в куче конфискованной из немецких библиотек и еще не разобранный литературы и засунул его подалеже от глаз многочисленных цензорских комиссий. Разительное сходство художественной продукции гитлеровской Германии и сталинской России меня поразило. Я вел тогда занятия с членами нашего Клуба юных искусствоведов и как-то, прикрывая рукой готические названия, предложил им определить авторов этих работ. Перед глазами старшеклассников проходили хорошо знакомые картины: мускулистые юноши, героические воины, рабочий энтузиазм в заводских цехах, всенародное процветание, единое одобрение... Задание показалось им несложным.

— Налбандян! Герасимов! Мухина! — наперебой выкрикивали они имена сталинских лауреатов.

На одной из репродукций рабочая семья с благоговением внимала звукам нарисованного приемника.

— Лактионов!

— Смотрите внимательно.

И тут на физиономиях юных искусствоведов появилось выражение крайнего недоумения: на портрете над головами слушателей вместо скрывающих ухмылку усов вождя топорщились чаплинские усики фюрера.

Я думал, что за рубежом о тоталитарном искусстве написаны десятки книг, но, приехав на Запад, ничего, кроме двух-трех очень осторожных работ, на эту тему не обнаружил. Сам термин “тоталитаризм” означал политические режимы нацистской Германии, фашистской Италии, но его применение к сталинской России считалось тогда, во времена детанта, политически некорректным. И я решил заняться этой проблемой.

Я получил небольшой грант от Кеннановского института в Вашингтоне и месяц просидел в Библиотеке Конгресса за изучением нацистских журналов по искусству. Потом в Мюнхене, в период работы на “Радио Свобода”, мне удалось ознакомиться с подлинными произведениями искусства Третьего рейха в Немецком финансовом управлении, а потом — в американской Военной коллекции под Вашингтоном, они пылились в подвалах этих учреждений. Наконец, получив стипендию от Гуверовского исследовательского центра при Стэнфордском университете в Калифорнии, я смог в течение года пользоваться богатейшими архивами Гуверовского центра и университетскими библиотеками.

Стэнфорд представился мне соединением двух противоположных начал — природы и цивилизации. С одной стороны, огромный университетский кампус, похожий на ботанический сад, и на этом пространстве диаметром в пять

миль разбросаны колледжи, административные здания, библиотеки, особнячки преподавателей и общежития студентов. Посетители и студенты передвигались по этой территории на бесплатных микроавтобусах.

С другой — из мира пишущих машинок, магнитофонов и музыки на костях (т.е. записей на рентгеновских снимках) я попал в сферу высокой технической цивилизации. Даже у нас на Би-би-си в то время не было технических излишеств в виде компьютеров и ксероксов; корытце с чернилами, валик, ручка... вставляешь страницу, крутишь ручку и получаешь свой текст лиловыми буквами. Просто и удобно. Здесь же — копировальные машины с пультами управления: нажмешь на кнопку — получаешь микроскопический текст, нажмешь другую — выходит фрагмент, отпечатанный плакатным шрифтом. Поди разберись! В один из первых дней я долго бродил по кампусу в поисках библиотеки, потом зашел в какой-то колледж, чтобы спросить дорогу. Секретарша посмотрела на меня с удивлением и пальцем показала в угол, где стоял компьютер. У меня создалось впечатление, что американцы разговаривают только с компьютером, через компьютер и посредством компьютера.

В техническом отношении я был полный недоумок: электрооборудования боялся, машины никогда не водил, да и на велосипеде катался, кажется, два или три раза в жизни. Чтобы уйти от прелестей цивилизации, я воспользовался девятичасовой разницей во времени между Лондоном и Калифорнией. В своей полуподвальной, опоясанной трубами отопления комнатке в старом — XIX века — шикарном доме в самом центре кампуса я ложился спать в четыре часа дня, вставал в час ночи по местному или в девять утра по лондонскому времени и чувствовал себя как на необитаемом острове. Читал, стучал на своей привезенной

из Лондона пишущей машинке, хотя в башне Гуверовского центра мне был предоставлен обширный кабинет с компьютером, телефоном и всем прочим нужным для работы оборудованием. Никто мной не интересовался, да и соблазнов особенных не было: на кампусе царил сухой закон, до ближайшего паба в городке Пало-Альто было больше километра, до Сан-Франциско — час езды на автобусе. Так плодотворно я не работал никогда.

Правда, такой режим я выдержал не больше месяца: постепенно обрастал знакомствами, какие-то собрания, встречи... Университетская жизнь в Стэнфорде резко отличалась от оксфордской своей деловитой целенаправленностью. Стипендиаты Гуверовского центра занимались проблемами разоружения, вооружения, глобальной экономикой, международными связями... Я же был единственным, кто занимался искусством. На гуверовских многочисленных конференциях и симпозиумах, куда академическая публика съезжалась со всей Америки, после докладов и прений обычно устраивались приемы на открытом воздухе. Подбегали ко мне знакомиться, представлялись — я политолог... социолог... экономист из... а когда узнавали, что я искусствовед, желали мне всего хорошего и мчались искать собратьев по профессии. Здесь завязывались деловые отношения, полезные знакомства, решались профессиональные вопросы. По всем четырем сторонам обширной лужайки стояли столы, богато оснащенные дарами моря, природы и напитками разных стран и континентов. Когда я в третий раз попросил виски, официант посмотрел на меня удивленно — все пили только фруктовые соки. Кажется, только Роберт Конквест да я употребляли спиртное.

Год прошел в работе, и к концу моего пребывания в Стэнфорде книга была вчерне закончена. Соблюдая пра-

во первой ночи на публикацию, я отнес рукопись директору центра и через несколько дней получил ее обратно без комментариев, чистую и, кажется, непрочитанную. В этом отстойнике всяческих политологий вопросы художественной культуры не интересовали никого, кроме разве Роберта Конквеста, которому, как понимаю, я и был обязан получением гранта в Гуверовском исследовательском центре.

После необъятной и в общем-то чужой Америки Англия показалась мне родной и уютной. Но заниматься в библиотеках, копаться в архивах, стучать на машинке в своей берлоге казалось мне интереснее, чем делать программы для Би-би-си. И я решил еще раз попытать счастья.

Еще в Калифорнии я сблизился с Джоном Болтом. Мы были знакомы и раньше. Джон окончил отделение славистики в университете Сент-Эндрюс, занялся русским искусством, стал одним из крупнейших специалистов в этой области и получил место профессора в университете Южной Калифорнии. Мы с ним решили написать книгу “Сталинская художественная политика в документах и комментариях”. По этой теме я подал заявку на грант в Русский исследовательский центр при Гарвардском университете. У меня были серьезные рефери (поручители), в том числе Исая Берлин, и годичную стипендию от Гарварда я получил.

* * *

Старейший университет Америки Гарвард расположен в городке Кембридж. Русский исследовательский центр был тут скромнее, чем гуверовская башня в Стэнфорде. Он ютился в двухэтажном корпусе на территории универ-

ситета, и в нем работали историки, музыковеды, политологи, экономисты... в основном эмигранты — ученые из России. Из моих знакомых здесь обитали только А. Некрич и Е. Эткинд.

Кембридж, который можно считать пригородом Бостона — столицы штата Массачусетс, — отделяет от Бостона только река Чарлз. Недалеко, часах в двух езды на автобусе, находится городок Амхерст с его богатейшим университетом, где жили тогда наши старые друзья Вика Швейцер и Миша Николаев. Вика преподавала в университете, Миша занимал здесь должность, торжественно именуемую “комендант студенческого общежития”, которая на самом деле сводилась к уборке помещений. Но Миша в Америке был счастлив. Этот бывший детдомовец, простой рабочий, отсидевший 15 лет в советских лагерях, общался с университетской профессурой, подружился с Иосифом Бродским, который тогда преподавал в Амхерсте. Но в эту идиллию американской жизни иногда врвалось его лагерное прошлое.

Однажды Миша, сильно подвыпив, возвращался пешком домой из соседнего городка после встречи с друзьями. Было довольно поздно, и вид человека без машины, идущего по дороге, вызывал естественное недоумение у американской полиции. Около Миши остановилась полицейская машина, и тогда он, по лагерному инстинкту, бросился в кусты. Его скрутили, надели наручники и отвезли в участок. Проснувшись утром, он увидел себя за решеткой, и ему показалось, что он снова попал в советскую тюрьму. Для него это был тяжелый стресс. Миша стал орать, ломиться в дверь, бросаться на стены... Может быть, этот случай и ускорил его смерть — отказало сердце.

И еще с одним интересным человеком я познакомился в Амхерсте. Стэнли Рабинович был здесь профессором

славистики. Он был блестящий рассказчик, обладающий тонким чувством юмора. Один из его рассказов я запомнил.

Где-то в шестидесятых годах, еще будучи студентом, он проходил стажировку в Москве и жил в гостинице “Метрополь”. Однажды к нему пришли его друзья-американцы, а после их ухода Стэнли тоже отправился по делам. В вестибюле его остановили с традиционным обращением “Пройдемте!” и доставили беднягу в милицию. Милицейский чин за столом начал на него орать:

— Почему вы принимаете у себя иностранцев?! Паспорт!

Дрожащей рукой Стэнли предъявил свой американский документ. У чина глаза полезли на лоб.

— Так вы не наш Рабинович? — промурлыкал чин.

— Нет, нет, я не ваш Рабинович, — с облегчением выпалил Стэнли.

* * *

Год в Гарварде прошел для меня неплодотворно. В Советском Союзе началась перестройка, стали доступны многие архивы, появлялись новые публикации, и работа над темой “политика в документах” в Гарварде потеряла всякий смысл. Я дорабатывал книгу о тоталитарном искусстве, делал программы для Би-би-си, участвовал в каких-то конференциях и — главное — разъезжал с лекциями по американским университетам.

В тот год я много поездил по Америке: Бостон, Провиденс, Нью-Йорк, Вашингтон, Колорадо... университеты, музеи, пейзажи... Из этого калейдоскопа впечатлений ярко запечатлелась в памяти капелла Ротко в городе Хью-

стон штата Техас: небольшой восьмигранник, на каждой стене — по две абстрактные картины художника, и, когда находишься в центре этого помещения, ощущаешь себя как бы в пространстве его работ, где дышит и наливаются плотью сама экзистенциальная пустота бытия. В 1970 году, за несколько месяцев до открытия капеллы, спроектированной им самим, Марк Ротко покончил с собой. И еще запомнился эпизод, как в Нью-Йорке меня в течение ночи ограбили четыре раза. Эпизод этот с какой-то стороны проливает свет на специфику нью-йоркского преступного мира, поэтому стоит занести его на бумагу.

Мне надо было выступить на радио “Голос Америки”, и утром я на автобусе из Бостона отправился в Нью-Йорк. Отговорив свое, зашел в кабинет ведущего программы, и по обычаю этого заведения мы отпраздновали завершение деловой части распитием энного количества виски. Оттуда я отправился к Эрнсту Неизвестному, с которым тоже выпил чего-то горячительного. Потом мы поехали в Гринич Виллидж к Комару и Меламиду, где опять выпили, на этот раз, очевидно, изрядно. А дальше... часов в двенадцать ночи я обнаружил себя на центральной автобусной станции города Нью-Йорка. Как я сюда попал — черный провал в памяти. В жизни мне приходилось напиваться до потери сознания, но, очевидно, во мне сидит какой-то внутренний навигатор, и по утрам я всегда находил себя в собственной постели, правда, часто в полном дневном обмундировании.

Довлатов где-то написал, что диссидент Голомшток облевал его машину. Не помню, чтобы я когда-нибудь ездил с Довлатовым на его машине, но если бы на этот раз так случилось, то не Довлатов же вынул из моего кармана бумажник и изъял оттуда деньги и обратный билет на автобус! Но когда я оказался на автобусном вокзале, денег

и билета я в бумажнике не обнаружил. Паспорт и документы были на месте, а денег и билета не было.

Гигантский автобусный вокзал уже прекратил работу, было открыто только довольно большое помещение ночных междугородных рейсов с небольшим закутком полицейского участка. Я подошел к полицейскому закутку, чтобы объяснить свою ситуацию.

— Пьяный? — спросила здоровенная баба в полицейской форме.

— Есть немножко.

— В тюрьму захотел?

Я отошел и в недоумении остановился посреди зала. Через пару минут подошел ко мне молодой парень латиноамериканской наружности и осведомился, в чем проблема. Разговаривая с ним, я машинально залез в наружный карман своего пиджака и вытащил несколько долларов — очевидно, сдачу с какой-то купюры. Парень моментально выхватил у меня деньги и убежал. Так меня ограбили во второй раз. Подошел другой парень, похожий на первого, и задал тот же вопрос. Я заметил его раньше: он стоял у стены и наблюдал за нашим предыдущим разговором.

— Это твой приятель? — спросил я.

— Нет, я его не знаю. А в чем проблема?

Я сказал о потере денег и билета, что обратился к полиции...

— Да ты не туда обратился. Полицейский участок тут недалеко. Пойдем, я тебя провожу.

Мы вышли из вокзала. Шли долго. Окрестности нью-йоркской центральной автобусной станции тогда представляли собой зрелище устрашающее: полная темнота, огромные захламленные пустыри, где-то далеко — ветхие дома, очевидно, предназначенные на слом. Спустились

в подземный переход, и тут парень начал хватать меня за грудки.

— Снимай ботинки!

— Зачем тебе ботинки? — спросил я, отталкивая его.

Тут он начал ныть: он из Пуэрто-Рико, семья, дети, нет работы...

— Слушай, — сказал я, — давай я дам тебе часы (часы у меня были хорошие), но с условием, что ты проводишь меня обратно до автобусной станции.

Он радостно согласился. И пошли мы обратно, дружески беседуя, раскуривая мои сигареты, и у вокзала расстались, пожав друг другу руки. Но на этом мои приключения не закончились.

Все это происходило 31 октября, в Хэллоуин — праздник ведьм и прочей нечистой силы. Мимо вокзала двигалась большая толпа ряженных, и меня втянуло в нее, как в воронку, завертело, а потом выбросило наружу. Осмотрелся: карман пиджака был оторван и последняя мелочь исчезла. Но тут же ко мне подошли и вручили бумажник, футляр от очков и носовой платок. Не думаю, что, случись такое где-нибудь в Лондоне или в Париже, я отделался бы лишь материальными потерями.

Было три или четыре часа ночи. По телефону-автомату я позвонил Боре Шрагину с оплатой за счет получателя (тогда была еще такая форма связи), но Борис, ничего не поняв, повесил трубку. Что было делать? Я подошел к стоянке такси, объяснил шоферу ситуацию и попросил 25 центов, чтобы позвонить друзьям, а потом отправиться к ним в Бронкс. Очевидно, для шофера подобная ситуация не была уникальной. Монету он дал, и часам к пяти утра я оказался у Шрагиных. Слава богу, свой портфель я забыл у Комара и Меламида, а то бы не видать мне своих книг и бумаг, которые в нем находились.

* * *

В Гарварде я доделывал книгу о тоталитарном искусстве: вставлял новые куски, шлифовал стиль... Надо было ее куда-то пристраивать, что оказалось не так-то просто. Во времена, когда я работал над книгой, само применение термина “тоталитаризм” к Советскому Союзу воспринималось как идеологический рецидив холодной войны. Наконец в Лондоне появился (не помню откуда) некий итальянец, представился представителем какого-то итальянского издательства и выразил готовность напечатать книгу. Рукопись он прочитал: “Беллссимо! Бравссимо!.. аванс?” Он раскрыл чековую книжку, достал ручку, подержал ее над пустым бланком, потом спрятал ее в карман и сказал, что мы встретимся завтра и он вручит мне чек. На следующий день он не появился; не появился и через два, и через три дня, и через месяц... Еще одна издательская контора высказала интерес, но дальше предварительных переговоров дело не пошло. Как оказалось впоследствии, консультантом там был тот же итальянец, который очень не советовал печатать книгу. Загадка природы!

Возможно, рукопись так и пролежала бы у меня на полке, если бы не Эндрю Нюрнберг. Эндрю окончил отделение славистики Лондонского университета, во время прохождения практики в Москве подружился с друзьями Маши Климовой, которые вились вокруг “дядюшки” Ростислава Борисовича, и Эндрю разыскал меня вскоре после нашего приезда в Лондон. Тогда он работал клерком в маленьком литературном агентстве, которое перешло к нему после смерти хозяина (сейчас это одно из крупнейших литературных агентств Великобритании с отделениями в России, Китае, странах Восточной Европы и Прибалтики). Его стараниями в 1990 году книга вышла в английском изда-

тельстве “Коллинз Харвилл” в блестящем переводе Роберта Чандлера, одновременно отдельным изданием в США и в переводах во Франции и Италии. Любопытная деталь: судя по рецензиям, в Италии и во Франции книга была встречена тепло, но получила довольно холодный прием в Англии и США. Очевидно, для людей, не переживших на собственном опыте идеологического пресса тоталитарного режима, само это понятие воспринималось не более чем некая научная абстракция. В России книга была опубликована в 1995 году и, кроме парочки довольно злобных рецензий, широкого обсуждения в прессе не нашла.

Глава 10 Встречи (штрихи к портретам)

Моя работа в Оксфорде, а потом на радиостанциях давала возможность встречаться со многими интересными людьми.

Культурная жизнь в Оксфорде была ключом. Давал концерты Герберт фон Караян, Нуриев ставил в университетском театре “Ромео и Джульетту” Прокофьева, приезжали с лекциями звезды мировой науки и наши известные эмигранты: Синявский, Коржавин, Войнович, Бродский, Зиновьев, Ростропович... Завязывались отношения, продолжавшиеся много лет.

Приезжал с выступлениями и Иосиф Бродский, уже нобелевский лауреат. Мы с Ниной решили устроить в его честь обед в нашем доме и пригласить преподавателей-славистов. Уже с утра раздавались звонки от поклонниц Бродского с указаниями, каким луком заправлять и каким перцем посыпать (что-то в этом роде) котлеты для Иосифа. Народу собралось довольно много. Бродский пришел раз-

драженный и мрачный — у него были неполадки с сердцем. Пришлось вызывать врача.

Я посадил его за стол рядом с Анной Пеннингтон, преподавательницей в женском колледже Санкт-Маргарет. Маленькая, незаметная, похожая на серенькую мышку, преданная своим коллежским девочкам, Анна была известна как переводчица, автор солидных монографий и специалист по русской церковной музыке. Бродский сидел мрачный, еще не оправившись от приступа. И вдруг его осенило: “Так вы Анна Пеннингтон, — обернулся он к Анне, — это вы перевели Васко Попа?” Как считал Бродский, эти переводы стихов югославского поэта повлияли на ход европейской поэзии. Он сразу ожил, обнял Анну, и настроение за столом поднялось. На следующее утро мы уже сидели в ресторанчике, где Иосиф обсуждал с Анной стихотворные дела.

У Вики Швейцер я в последний раз виделся с Иосифом Бродским. Только недавно он перенес вторую операцию на сердце, ему было категорически запрещено курить, но он стрелял у меня сигареты и говорил, что без курева работать не может. Иосиф прочитал нам свое новое стихотворение “Представление”, которое он посвятил Михаилу Николаеву. Он читал в своей обычной манере, растягивая интонации, подчеркивая музыкально-ритмическое течение строф, так что понять содержание было трудно (как-то в Оксфорде, когда Бродский читал свои стихи перед большой аудиторией, одна английская славистка спросила у меня: “Это как литургия?”). Когда я прочитал “Представление” глазами, мне показалось, что это предсмертное стихотворение Бродского, хотя ему суждено было прожить еще несколько лет: прошлое и настоящее возникали здесь, освещенные не земным, а каким-то надмирным светом. Я считаю это стихотворение одним из его шедевров.



В начале 1960-х годов друзья привезли меня в поселок Семхоз, где находился приход о. Александра Меня, и с тех пор я стал бывать у него.



Слава Климов работал главным научным редактором в издательстве "Искусство", его жена Мура была редактором моего альбома картин Поля Сезанна. Фото И. Пальмина.



*Вверху: Синявский и Даниэль на свободе. В 1970 году заканчивался срок заключения Юлия, и мы с нетерпением ждали его освобождения. В июне 1971-го в Москве появился и Андрей.
Внизу: Андрей и Марья.*





Чтобы оформить документы на выезд, надо было получить согласие родителей, и я полетел к отцу. Мы не виделись почти тридцать лет.
Н. Я. Коджак со второй женой. Свердловск, 1972 г.

Нина Казаровец-Голомшток
с сыном Вениамином. 1968 г.

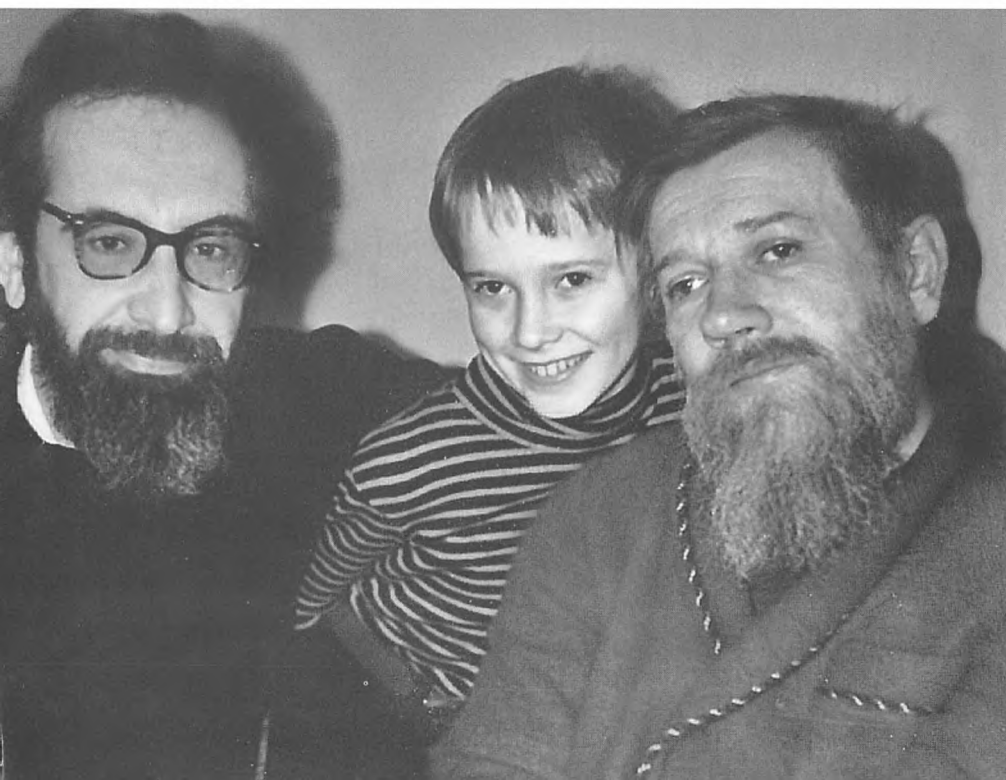




С Александром Пятигорским я был знаком ровно пятьдесят лет. Востоковед и философ, он парил в высоких, недоступных мне сферах буддийской метафизики и европейской рациональной философии.



*Вверху: С А. Сиявским, М. Розановой и А. Меньшутиним. 1970 г.
Внизу: С Андреем и Егором Сиявскими. Начало 1970-х гг.*





С Ниной перед отъездом в эмиграцию
возле нашего дома на Молодежной. 1972 г.



“Следующая станция — английская!”



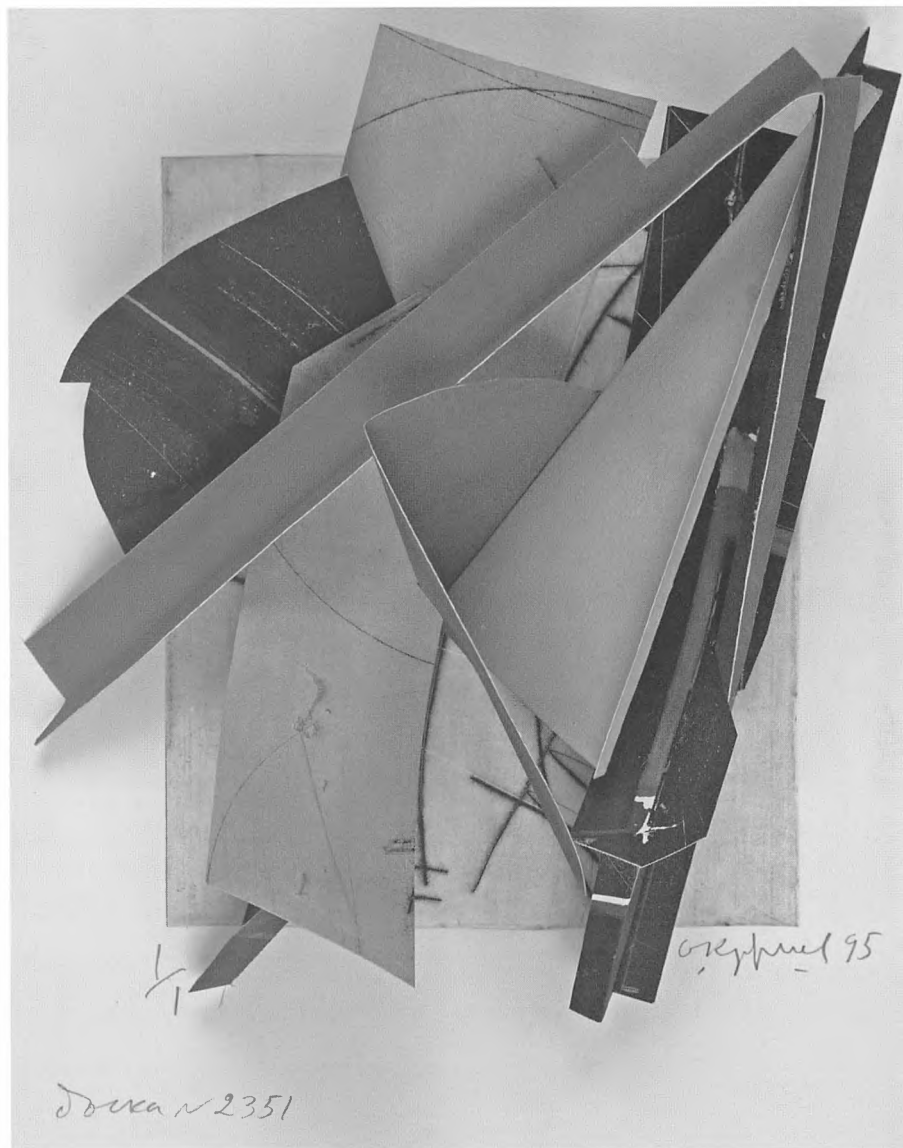
Мой приятель по университету Алик Дольберг (вверху) стал собирать для нас деньги. Помог добыть такую сумму его друг Байард Осборн-Лафайетт (внизу).



С А. Пятигорским. Лондон, 1980-е гг.







Слева: Олег Кудряшов — московский художник-график; его работы выставлялись в Лондоне, Кембридже, Вашингтоне, Бостоне, Дрездене. В 1974 году вместе с женой и сыном эмигрировал.

О. Кудряшов. Бумажная скульптура. 1995 г.



Мои университеты.
Сент-Эндрюс и Оксфорд. Я должен был разговаривать со студентами
на любые темы по-русски...



В 1988 году Гуверовский центр при Стэнфордском университете дал мне стипендию. К концу моего пребывания там я вчерне закончил книгу о тоталитарном искусстве.
В 1989 году решил еще раз попытать счастья и получил годовичную стипендию от Русского центра при Гарварде.



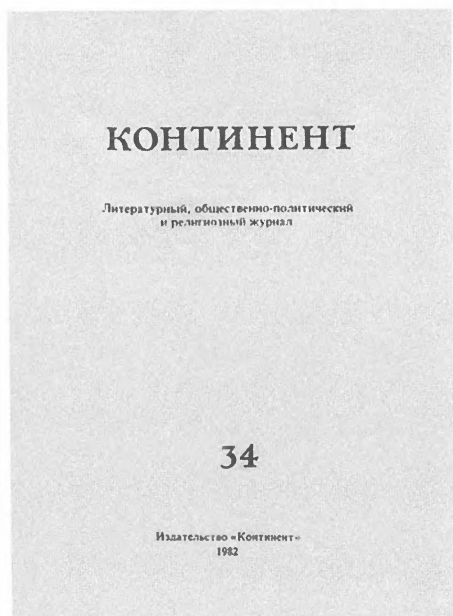
Вверху: С Ю. М. Овсянниковым, моим другом и прирожденным издателем, у нас дома в Лондоне.

Внизу: Роберт Чандлер (в центре), переводчик В. Шаламова и А. Платонова, и Френсис Грин (слева) — в его лондонской квартире мы прожили первые два года.

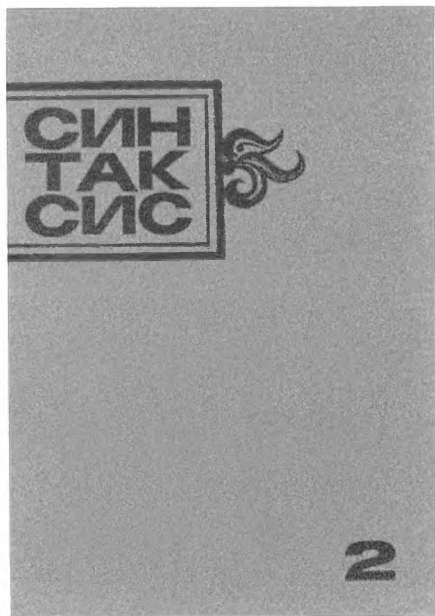




Собственный журнал — настоящая идея фикс у многих из писательской эмиграции. Владимиру Максиму удалось создать “Континент”. Фото Н. Аловерт.

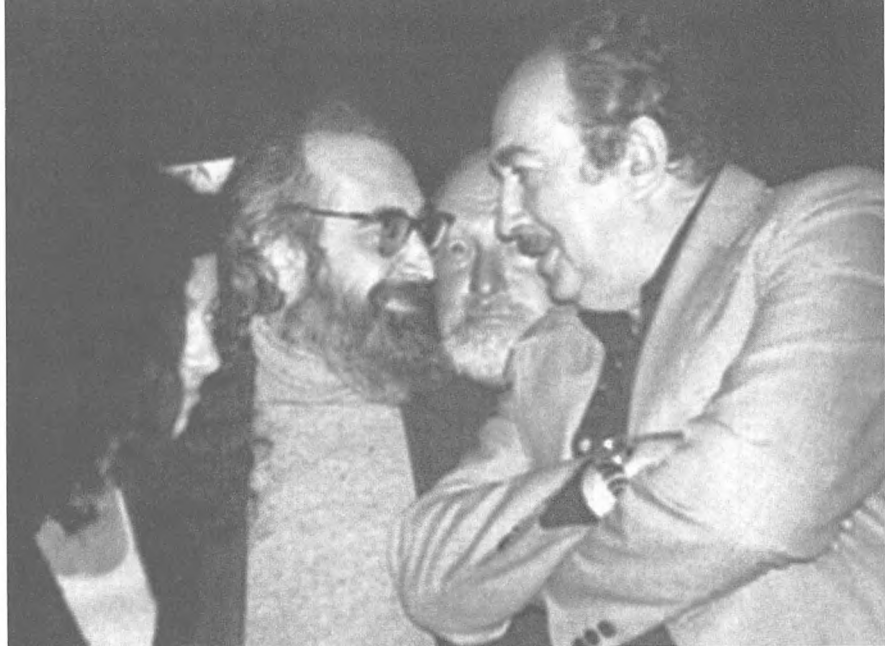


Журнал “Континент”.



Журнал “Синтаксис”, созданный ему в противовес.

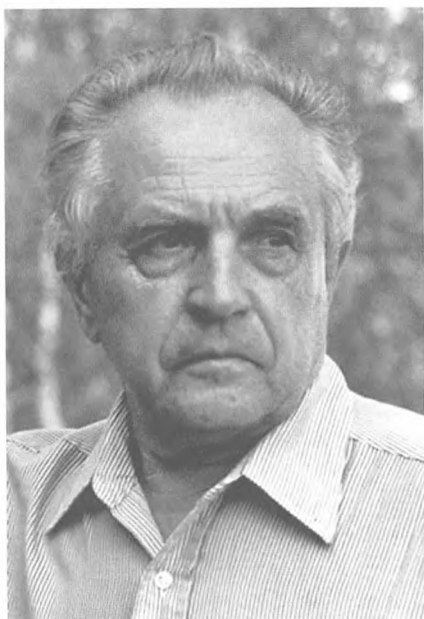




Александр Галич приглашал меня на “Свободу” не только во время моих летних каникул, но и зимой — для компании и чтобы дать мне подработать. Мюнхен. 1970-е гг.

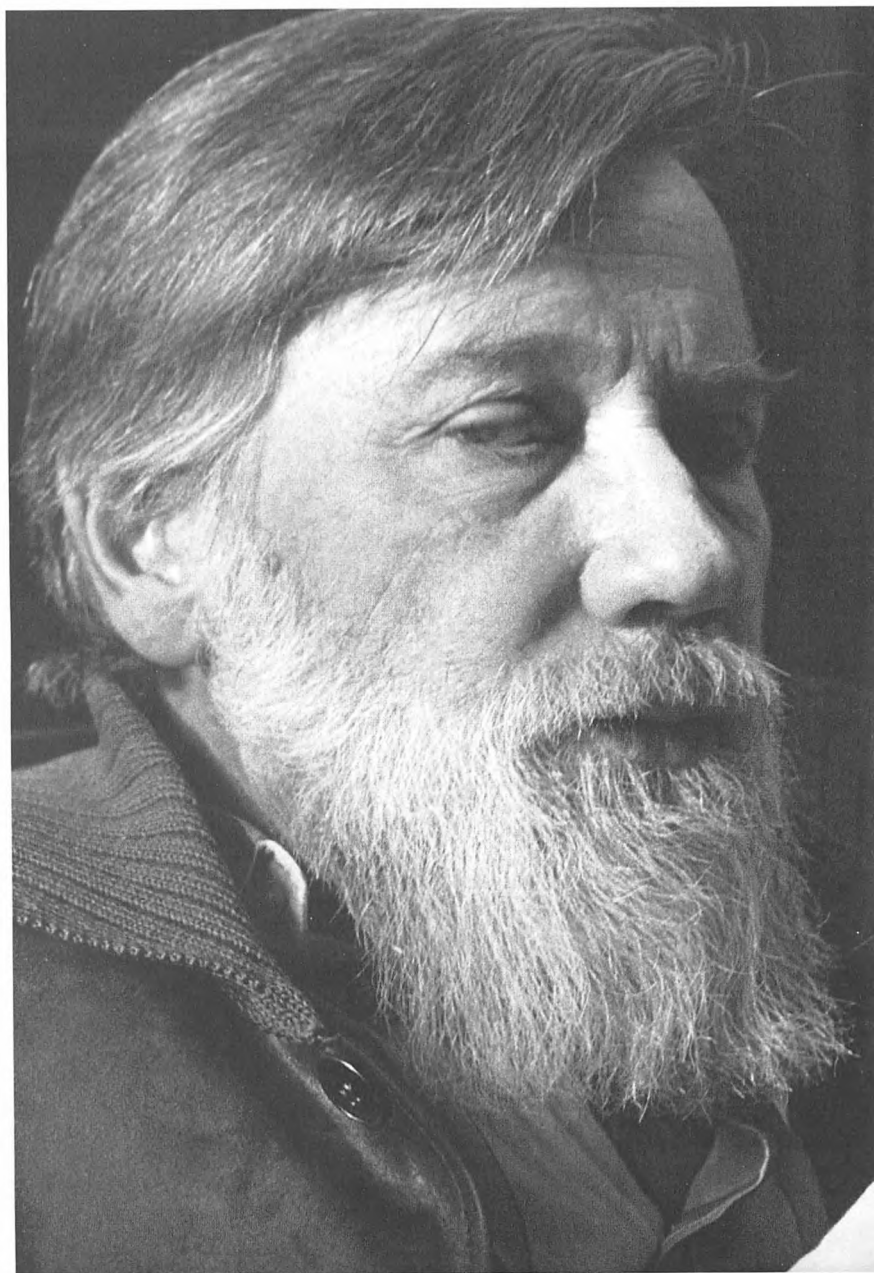


В нас с Юлей Вишневской Галич видел ту московскую аудиторию, которой ему так не хватало в эмиграции.



Александр Зиновьев всегда шел против течения. Я не знаю более острой критики коммунистического режима, чем в его “Зияющих высотах”.





Слева: Андрей и Марья у своего дома в Фонтене-о-Роз. Фото Н. Аловерт.

Андрей Синявский. Фото Н. Аловерт.



Вверху: С Марьей и моим двоюродным братом Львом Голомштоком уже после смерти Андрея. Фонтене-о-Роз, 2000 г.

Внизу: Презентацию составленного мною альбома “Лагерные рисунки Бориса Свешникова” посетили близкие мне люди — Флора Гольдштейн, М. Розанова, Ю. Герчук, Л. Голомшток. Москва, 2000 г.





Когда я уже стал пенсионером, мы с Флорой — моей второй женой — часто приезжали к Марье в Фонтене-о-Роз. 2010-е гг.

С Флорой. Генуя, 2000 г.



Александр Александрович Зиновьев приезжал с лекцией о математической лингвистике для английских специалистов в этой области. Английского он не знал, а когда я спросил, как же он собирается ее читать, он сказал, что ночью просмотрит правила грамматики и выберет из словаря нужные слова. Говорили потом, что прочитал он лекцию вполне внятно. Возможно, матлингвистика не нуждается в диалектах, кроме своего собственного, но за ночь подготовить лекцию на незнакомом языке, а потом прочитать ее — для этого надо обладать компьютерными мозгами.

Зиновьев приходил к нам, потом я бывал у него в Мюнхене, встречался в Лондоне, брал у него интервью. Он всегда шел против течения. Я не знаю более острой критики коммунистического режима, чем в его “Зияющих высотах”, и в то же время в других своих книгах он утверждал, например, что при Сталине было подлинное народовластие, что чистка армии перед войной имела свой смысл, потому что она избавила армию от малограмотных командиров с опытом еще Гражданской войны и посадила на их места молодых лейтенантов, закончивших военные училища, что навлекало на него гнев известных советологов. Мне он рассказывал, что и с крестьянством при Сталине было не так просто. Сам он родился в беднейшей многодетной крестьянской семье, первый раз в жизни спал на простынях в тюрьме на Дзержинке, куда попал за какие-то неортодоксальные высказывания после того, как в 13 или 14 лет за выдающиеся способности был послан учиться в Москву. Благодаря советской власти он и его братья достигли положения, которого не смогли бы добиться в старой России. Во всем это был, конечно, 1 % розановской правды, которую Зиновьев отстаивал вопреки принятому мнению. И я не удивился, когда узнал, что во время перестройки Зиновьев вернулся в Россию

и примкнул к коммунистической партии. Он и тут шел против течения.

Помимо текущих программ о лондонских выставках, юбилеях и прочих культурных событиях, я делал еще и большие серии тематических передач — о масонстве, анархизме, об английской истории, тоталитарном искусстве и о многом другом. Когда мы готовили большую серию программ о сталинизме, я вместе с нашей сотрудницей Лиз Робсон совершил турне по американским университетам — Гарвард, Принстон, Беркли, Стэнфорд, Колумбийский университет в Нью-Йорке — с целью взять интервью у крупнейших ученых-советологов. Такие поездки и интервью давали возможность знакомства с интересными людьми.

Фридриха Горенштейна я бы отнес к пятерке самых значительных российских современных писателей. Когда на Западе был опубликован его роман “Псалом”, я поехал интервьюировать его в Берлин. Он жил в маленькой муниципальной квартирке на окраине Берлина с женой и кошкой, кажется, единственным живым существом, с которым он находил общий язык. По его роману я представлял себе Горенштейна таким знатоком талмудической литературы и иудаистики. Нет, по его словам, он ничего подобного не читал, кроме Библии и еще одной книжки, вышедшей в начале прошлого века, о Христе (автора и названия я не помню), которой, кстати, пользовался и М. Булгаков при создании образа Га-Ноцри в “Мастере и Маргарите”. Это было удивительно!

Одно такое мое бибисишное интервью закончилось самым неожиданным образом.

В 1983 году в лондонском театре Алмейда ставилась инсценировка по роману Достоевского “Преступление и наказание” в постановке Юрия Любимова. После окон-

чания спектакля к режиссеру подошли чины из советского посольства и начали давать ему какие-то указания. Любимов взбесился и заявил, что больше он в Советский Союз не вернется. Сенсация получилась грандиозная. Чтобы спасти Любимова от толпы настырных журналистов, мы, по его просьбе, вышли из театра через черный ход и я увез его к себе. У нас Любимов с женой и маленьким сыном прожили недолго. Но на нашей же улице он снял для репетиций большое помещение бывшего склада. Я иногда присутствовал на его репетициях, а он в перерывах приходил к нам обедать. Английским актерам работать с ним было непросто. Они не привыкли, чтобы режиссер давал им указания, какое место — с точностью до сантиметров — занять на сцене, куда поставить ногу, как прореагировать на реплику партнера. Это была другая театральная традиция.

Я не был горячим поклонником современных постановок Любимова. Но когда я приехал в Болонью, где Любимов ставил оперу Вагнера “Тристан и Изольда”, то понял огромный новаторский талант этого режиссера. Любимов обрядил персонажей оперы в условные костюмы XIX века, связал драматический любовный треугольник из древней легенды (Тристан — Изольда — король Марк) с таким же драматизмом из жизни самого Вагнера (Вагнер — его последняя жена Козима — фон Бюлов, ее бывший муж), убрал весь обычный для постановок оперы археологический антураж, заменив его меняющимся светом, льющимся из цветных витражей. Это была одна из лучших оперных постановок, которые мне довелось увидеть.

До перестройки мне редко приходилось встречаться с официальными лицами из Советского Союза. Но однажды мне позвонила моя оксфордская знакомая и сказала, что со мной хочет встретиться Юрий Темирканов, который сегодня дирижирует оркестром Лондонской филармонии

в Роял-Фестивал-Холл — самом большом концертном зале Лондона. С чего бы? Я его не знал и даже не слышал о его существовании. То, что я увидел и услышал на концерте, сильно поколебало мое нежелание общаться с официальными гастролерами из СССР. Легкий, свободный, раскованный, Темирканов по дирижерской манере напоминал Вилли Ферреро, которого я слышал еще в Москве где-то в пятидесятых годах. После концерта мы встретились, и я повез его к нам. В начале восьмидесятых он часто приезжал на гастроли в Англию и всякий раз приходил к нам домой. За столом он почти ничего не ел, изрядно выпивал, после чего отправлялся в спальню, всю ночь читал сам и тамиздат, а утром шел на репетицию. К советскому режиму он относился как все нормальные люди. Мне запомнился один его рассказ.

Каждый год Юра ездил к себе на родину — в Кабардино-Балкарскую АССР, чтобы посетить могилу своих родителей. Естественно, что в этой маленькой республике он почитался национальным героем. Когда он приезжал, его встречало все партийное и республиканское начальство, везли на банкет, где по восточному обычаю пили из рога за его здоровье. Как-то на таком банкете Темирканов напился и начал ругать присутствующее там коммунистическое руководство. “Вы, — кричал он, — убийцы, у вас руки по локоть в крови!..” После чего первый секретарь компартии республики проводил его к машине, пожал руку и сказал: “Юра! Я тебя всегда уважал, а теперь еще больше уважаю!” Очевидно, этим маленьким начальникам тоже было неуютно ощущать себя под большим сапогом Кремля.

“В Ленинграде я боюсь выходить на улицу с собакой — они ее укусят”, — говорил он про население Северной столицы. Я спрашивал, почему бы ему не остаться на Западе. Юра отвечал, что не может бросить находящийся

в полной нищете коллектив Мариинского театра, где он был главным дирижером, а так, пользуясь своей международной репутацией, он имеет возможность дать подработать людям на зарубежных гастролях. Юрий Темирканов был одним из самых удивительных людей, с которыми мне довелось общаться.

Несколько раз приезжала в Лондон Белла Ахмадулина и однажды остановилась у нас. По утрам она с восьмилетним Венькой удалялась в наш садик и о чем-то беседовала. Позже, уже из Москвы, она присылала нам свои стихотворные сборники с длинными любовными посвящениями не нам, а Вениамину. Очевидно, Белла первый раз встретилась с ребенком уже с иной — не российской ментальностью.

* * *

Через профессора Джона Фенелла, который был тогда главой оксфордской славистики, мне удалось пригласить с лекцией для наших студентов Наума Коржавина. Он преподавал тогда в каком-то американском университете и жаловался: студенты приходят на лекции только чтобы набирать баллы и ровно через 45 минут встают и уходят. Он явно нервничал перед незнакомой аудиторией. Тема его лекции была о современной русской литературе и поэзии. Я представил его аудитории. “Прежде чем перейти к литературе, я хочу...” — заявил Коржавин и начал говорить о чем-то не по теме. Прошло полчаса, я дернул его за рукав. “А, — сказал Коржавин, — но прежде я хочу...” И опять не по теме. Прошел час, надо было освобождать помещение. Я показал ему на часы. “Ну ладно, давайте я стихи читаю”. Я боялся посмотреть на аудиторию, но студенты слушали

и улыбались. Очевидно, англичане привыкли к эксцентрикам и хорошо понимали таких людей. Наум почувствовал себя в другой атмосфере и расслабился.

Был приглашен в Оксфорд (не без моей подачи) в качестве гостя-писателя Владимир Войнович. Ему была предоставлена месячная стипендия, жилье в колледже и полная свобода действий; никаких обязанностей такое приглашение не накладывало. Я не был знаком с ним в Москве, но изо всех молодых писателей я больше всего ценил Войновича. В Оксфорде он оказался удивительно похожим на собственных персонажей: такой же открыто бесхитростный взгляд на окружающее, тот же простодушный здравый смысл безо всякой политической запутанности. Как-то у нас дома собралась большая компания, и речь зашла о морали, о честности. “Что же, вы и жене своей не врете?” — спросил у Войновича один из присутствующих. “Нет, и жене тоже”, — с удивлением ответил Володя.

Стиль — это человек, говорят французы.

Приезжали в Оксфорд и деятели из Страны Советов. Как-то позвонил мне Джон Фенелл и поинтересовался, кто такой писатель Солоухин, чей визит ожидается в Оксфорде. “Ну, это вроде вашего Национального фронта, только хуже”, — сказал я. Дальнейших комментариев не потребовалось. Солоухина пригласили на обед, после чего проводили в его комнату и пожелали спокойной ночи. Говорили, что он очень обиделся.

Условия научной и преподавательской работы в Америке были несравнимы с таковыми в Англии, и цвет английской славистики постепенно перебирался сюда. Разъезжая с лекциями, я имел приятную возможность встречаться со своими старыми английскими друзьями.

Алекс Де Йонг, бывший в мое время преподавателем в Оксфорде, теперь возглавлял славистику в университете

штата Колорадо. О Колорадо я слышал только как о родине колорадского жука, который, согласно сталинской пропаганде, был подброшен американской разведкой в СССР и опустошал колхозные поля, о чем я и сообщил аудитории в начале своей лекции о тоталитарном искусстве. Когда-то Алекс написал книгу о Сталине, и мы с Пятигорским снабжали его байками из наших биографий. В начале книги Алекс выражал благодарность за помощь разным лицам, в том числе и нам, но особенно благодарил “Джека Даниэла”, без которого эта книга не была бы написана”. В его просторном доме на вершине одного из холмов мы и распили бутылку этого замечательного американского виски. Утром, когда мы вышли на свежий воздух, он показал на соседний холм: “Видите, это мое, а вот та речка, которая внизу, это тоже мое”. Ну совсем как Ноздрев, только в отличие от гоголевского персонажа и холм, и речка действительно принадлежали ему.

В жизни Алекса Де Йонга был один примечательный момент. Его мать была русская эмигрантка первой волны, отец — голландский еврей. В тридцатые годы мать открыла в Берлине модную пошивочную мастерскую, обшивала нацистскую элиту и прятала мужа от гестапо. О том, что он наполовину еврей, Алексу сообщил его умирающий отец; Алекс тогда уже преподавал в Оксфорде. Очевидно, мать по инерции тех страшных времен до конца сохраняла эту тайну даже от собственного сына.

Майкл Скеммел (Миша Скамейкин, как переводили его имя наши диссиденты), будучи в Лондоне главным редактором журнала “Индекс цензуры” и председателем Общества помощи писателям и ученым в недемократических странах, лет двадцать писал толстенную монографию о Солженицыне, которая после опубликования вызвала резкое неудовольствие ее персонажа. Потом, перебравшись

в Америку, став профессором Корнуэльского университета и директором Исследовательского института при нем, кажется, им же и основанного, еще лет двадцать писал столь же толстую биографию Артура Кестлера (опубликована в 2009 году). Пригласив меня с лекцией в Корнуэлл, Майкл с гордостью показывал свои владения: большой дом, обширный участок с двумя или тремя огромными сараями, которые Майкл намеревался переоборудовать под театр и выставочные помещения. В Англии он жил в небольшом домике где-то в далеких предместьях Лондона.

Глава 11

Второй процесс над А.Д. Синявским

Четыре года мне пришлось мотаться между Лондоном и Оксфордом, где продолжала работать Нина. В 1982 году ее работа закончилась, и мы переехали в Лондон. Купили просторный дом, и жизнь постепенно входила в обычную колею. Все было бы хорошо, если бы в спокойную атмосферу Лондона не начал проникать ветерок эмигрантских склок с континента.

Здесь я позволю себе некоторое отступление, в свете которого яснее проступала бы подоплека событий, о которых пойдет речь в дальнейшем.

С начала двадцатых годов главным центром русской эмиграции стал Париж. Здесь издавались русские газеты, работали издательства, раскинулась сеть русских ресторанов, была даже консерватория им. Рахманинова... Париж притягивал политических беженцев из красной России самых разных политических установок — от монархистов до социалистов. Ничего подобного не было в Лондоне.

Существовало в России (а может быть, существует и сейчас) странное представление о закрытости английского общества в противоположность открытому французскому. Как раз наоборот! Правда, русская эмиграция в Англии была гораздо малочисленнее, чем в Париже, но со временем она почти целиком растворилась в английской среде. С самого начала моей жизни в Лондоне я поражаюсь: здесь действовали клубы разных стран и наций, находившихся под властью Советской России, с ресторанами, читальнями, залами для собраний — польские, литовские, чешские, украинские, грузинские... У русской эмиграции, кроме православной церкви на Эннисмор Гарденс, никаких объединяющих центров не было. Правда, существовал здесь Пушкинский клуб, основанный старыми эмигрантами: две небольшие соединенные комнатки, где раз в неделю устраивались лекции для желающих. Меня, как нового эмигранта, пригласили сюда выступить перед аудиторией. Пришло пять человек: два поляка, чех, англичанка... Они просто хотели послушать русский язык.

В Париже доступ эмиграции во французское общество был сильно затруднен, и она варилась в собственном соку (все это подробно описано в воспоминаниях и рассказах Берберовой, Тэффи, Газданова и многих других русских писателей, живших тогда в Париже). Такое положение создавало благоприятную почву для произрастания политических склоков и подозрений. Со временем объектом таких настроений стал Синявский. Нарастающая волна травли писателя превращалась, как определила это Розанова, во “второй процесс над А.Д. Синявским”. Этот процесс, вопреки моей воле и желанию, втягивал и меня. Но что делать — надо было обороняться.

Этот второй — после первого, московского — процесс осуждения писателя всплыл на поверхность эмигрантской

жизни еще во время нашего общего сотрудничества с журналом “Континент”.

В статье Синявского “Литературный процесс в России”, опубликованной в первом номере журнала, содержался следующий пассаж: “Россия-мать, Россия-сука, ты еще ответишь за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку с позором, дитя”. Это было написано в связи с эмиграцией третьей волны, не только еврейской, но и людей всякой национальности, бегущих из России. Этот пассаж вызвал бурное возмущение патриотов, националистов и антисемитов: как, русский писатель Россию сукой обозвал?! И. Шафаревич, друг и ближайший сотрудник Солженицына, человек крайних националистических убеждений, автор резко антисемитской книги “Русофобия”, вообще отлучил от русской литературы писателей, покинувших Россию. На спину Синявского уже тогда был наклеен бубновый туз жида и русофоба. К отечественному негодованию присоединили голоса те представители старой эмиграции, которые считали себя распорядителями судеб русской литературы и с недоверием относились к нам — вновь приехавшим. Журнал “Вестник РСХД” и газета “Русская мысль” в Париже, “Новый журнал” в Америке, не говоря уже о желтой прессе, щедро предоставляли свои страницы негодующим. Синявскому, как и его защитникам, доступ в эти печатные органы был закрыт.

Чтобы дать возможность печататься людям иных взглядов, у Синявских в 1978 году возникла идея создания собственного журнала. Розанова купила печатный станок и устроила дома собственное издательство и типографию. Журнал “Синтаксис” печатался исключительно на деньги Синявских; иногда, чтобы хоть частично возместить расходы, Розанова принимала заказы на печать от разных ор-

ганизаций и частных лиц. Я с самого начала ругался с Розановой, доказывая, что появление еще одного журнала лишь подольет горючего в разгорающийся костер эмигрантских склок. Отчасти так оно и было, но это не главное. Розановой удалось привлечь к участию в журнале выдающихся авторов, проживавших как в Советском Союзе, так и за рубежом. В редколлегию “Синтаксиса” (или в лигу саппортеров, как она здесь именовалась) вошли А. Есенин-Вольпин, Ю. Вишневская, Е. Эткинд, Ю. Меклер, В. Турчин, А. Пятигорский, проф. Сорбонны М. Окутюрье и я грешный. В тридцати семи его вышедших номерах печатались А. Зиновьев, Л. Копелев, Л. Пинский, Г. Померанц, Д. Фурман, Е. Эткинд, С. Липкин, З. Зиник, Луи Мартинес, Генрих Бёлль и многие другие известные писатели, поэты, ученые. Среди русских журналов, издающихся за рубежом, “Синтаксис” стал самым независимым от какой бы то ни было политической организации или группы, противостоящим как советской идеологии, так и националистическому мракобесию.

* * *

Волна негодования, вызванная антипатриотической “Россией-сухой” Синявского, поднялась на новую высоту, когда в 1986 году в израильском журнале “22” была опубликована статья бывшего сексота С. Хмельницкого “Во чреве китовом”. В ней Хмельницкий, посадивший по своему доносу двух своих друзей, не отрицая своего сотрудничества с КГБ, утверждал, что друг его юности Андрей Синявский был таким же стукачом, как и он сам. В 1986 году Хмельницкий приехал в Вену с израильской визой, и случилось так, что, когда он пришел в ХИАС, за-

нимающийся приемом еврейских беженцев, за столом сидел наш общий знакомый Вадим Менекер, хорошо осведомленный о московских делах. Увидев его, Хмельницкий убежал и вскоре объявился в Западном Берлине. Говорили, что он привез с собой рукопись для публикации, но солидные западные издательства отказались ее печатать. Очевидно, из этой рукописи и произошла его статья “Во чреве китовом”.

Историю отношений Андрея с КГБ я знал давно — со слов Синявских и невольной участницы этих событий Элен Пельтье. Дочь военно-морского атташе при французском посольстве в Москве, Элен училась на одном курсе филологического факультета МГУ с Синявским, и они дружили. В один прекрасный день Андрея вызвали в ограны и предложили ему жениться на француженке. До него та же роль была предложена Хмельницкому, но добиться взаимности он не смог и дело разладилось. Посредством брака дочери французского атташе с советским подданным КГБ надеялся поймать в свои сети ее отца. Синявский был вынужден согласиться, но тут же предупредил Элен, и они разыграли разрыв отношений. Позже Элен Пельтье (по мужу Замойская) писала в газете *Le Monde* от 24 октября 1984 года, что Синявский “обманул дьявола вместо того, чтобы вступить с ним в соглашение, и тем попросту рисковал жизнью”. Писала она и в другие органы, и личные письма и прямо говорила, что Андрей спас ей жизнь. Историю эту Синявский описал в романе “Спокойной ночи” в своем стиле фантастического реализма, что недоброжелателями было воспринято как дымовая завеса, затемняющая подлинную картину событий.

И теперь Александр Воронель в своем предисловии к опусу Хмельницкого по сути ставил на одну доску штат-

ного стукача, доносившего на своих друзей, и человека, спасшего от сетей КГБ свою близкую приятельницу. “К сожалению, мы живем в такое время, — писал в своем предисловии Воронель, — когда деление людей на праведников и грешников кажется уж очень неадекватным. Речь, по-видимому, может идти только о мерах и степенях порочности”.

Сейчас, перечитывая сохранившуюся у меня кучу погромных статей в русской прессе и свою переписку с разными редакциями и лицами, причастными к раздуванию этой позорной кампании, я задаюсь вопросом и ответить на него не могу: зачем понадобилось нашему бывшему другу, крупному московскому физическому, а теперь главному редактору “22” Александру Воронелю, когда-то порвавшему все отношения с Хмельницким, печатать его статью, в которой грязная клевета сочеталась со всхлипами больной совести разоблаченного стукача?

Этот вопрос я задал самому Воронелю в своем письме к нему и получил от него пространное послание с рассуждениями об относительности моральных критериев и о неправомерности в таких вопросах руководствоваться “групповыми интересами” (это он дружеские отношения назвал групповыми интересами!). Возмущенные письма в редакцию журнала “22” и лично Воронелю писали Лев Копелев, профессор Е. Эткинд, отсидевший по доносу Хмельницкого Ю. Брегель, его близкие друзья Юлий Даниэль, Лариса Богораз и многие другие. По поводу отождествления Хмельницкого и Синявского (“они вылупились из одного яйца” — сообщал мне Воронель) Лариса писала: “Ты хотел, чтобы твой читатель в полутонах, в равномерном размазывании черного по белому вообще утратил понятие об этой цветовой оппозиции. Но вспомни Галича:

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!

Похоже, что в вашем высокоцивилизованном мире отказались от простецкого говномера, а нового прибора того же назначения не придумали. Так и живите пока”.

Но на человека, принявшего на себя функцию морального лидера, никакие аргументы не действуют.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья... —

пел тот же Галич. И это — главная боль моей старости.

Лесков писал об одном из героев своего рассказа “Административная грация”, что тому “выпала высшая радость, доступная передовому интеллигенту: он узнал гадость про своего ближнего”. Радость в определенных кругах русской эмиграции от пасквиля Хмельницкого была великая; поднялась вторая волна “разоблачений” Синявского.

Максимов, как с цепи сорвавшись в своей ненависти к Синявским, рассылал ксерокопию статьи Хмельницкого по всем редакциям и просил у журнала “22” разрешения перепечатать ее в своем “Континенте”. Когда Н. Горбаневская, ставшая теперь ответственным секретарем “Континента”, как-то появилась в нашей комнате на Би-би-си и на нее напали сотрудники с прямым вопросом, собирается ли журнал печатать эту вонючку, она ответила дипломатически: “Не печатать, а перепечатывать”. Еще один моральный авторитет Феликс Светов вещал из Москвы, имея в виду Синявского: “Нет более омерзительного “запаха”, чем любое сотрудничество с ГБ в любой форме...”

Меня эта травля больно задела не только из-за сочувствия к Андрею; я никогда раньше не видел его в таком удрученном состоянии. В памяти моей прочно отпечата-лась, а теперь всплыла история друга моей юности Юрки Артемьева, вынужденного пойти на связь с ГБ и спасшего меня от верной тюрьмы. И, очевидно, не только меня: по крайней мере, никто из наших общих друзей и знакомых не оказался за решеткой по его “доносам”. И, всплыви история Юрки в те дни, никакие мои свидетельства и показания не смогли бы убедить эту компанию в том, что не любое сотрудничество, не в любой форме пахнет омерзительно. Сами они не ощущали запаха того, что, участвуя в травле Синявского, они вольно или невольно работали на КГБ. Что, надеюсь, будет ясно из дальнейшего моего изложения хода событий.

* * *

Собственно, меня вся эта грязь прямо не марала, но все равно чувствовал я себя оплеванным. Копаться в этой по-мойке противно, писать об этом трудно. Но что подела-ешь — надо было обороняться.

“11 марта 1993

Дорогой Володя (Буковский)!

Я не стал бы продолжать эту не нужную Вам переписку, если бы вся эта история не продолжала ходить кругами, как говно в проруби (по Вашему точному определению). Вас защищают, и Вы защищаетесь от обвинений в краже и подделке архивного документа...”

В моем письме к Буковскому, как и в предыдущей нашей переписке, речь шла о документе, который Буковский вынес из Президентского архива и который потом был

опубликован в фальсифицированном виде. В самой сжатой форме эта история такова.

Будучи в Москве, Буковский получил доступ в Президентский архив и вынес оттуда письмо Андропова в ЦК от 26 февраля 1972 года, в котором председатель КГБ согласовывал вопрос о разрешении Синявским отъезда во Францию по частному приглашению. Здесь, в частности, говорилось, что органам удалось через Розанову воздействовать на Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не принимают участия в демократическом движении. Буковский передал этот документ Максимову, он широко пошел по рукам и впервые был опубликован в израильском журнале "Вести". Но, как оказалось, опубликован в искаженном виде. Из подлинного документа исчезли целые абзацы, такие как: "Синявский по существу остается на прежних идеалистических позициях, не принимая марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства, вследствие чего его новые произведения не могут быть изданы в Советском Союзе"; фраза о том, что "положительное решение этого вопроса снизило бы вероятность вовлечения Синявского в новую антисоветскую компанию" и убийственно откровенный абзац: "Принятыми нами мерами имя Синявского в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах ранее сочувствовавшей ему части творческой интеллигенции. Некоторые из них, по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ".

Дотошная Розанова обратилась в специальную комиссию по архивам при Президенте Российской Федерации с просьбой определить аутентичность опубликованного документа и получила официальное уведомление, что "указанный документ является подделкой, выполненной с помощью ксерокса... из копии подлинного текста выреза-

ны... первый, второй, третий, шестой, седьмой, девятый абзацы, вырезки склеены и отсняты на ксероксе”.

Первым на эту липу откликнулся, естественно, Максимов. В редакционной статье первого номера “Континента” за 1992 год он писал, что в свете этих документов предстают отныне и льготные (?!) условия пребывания Синявского в лагере, и его досрочное освобождение по помилованию (что есть ложь — см. главу 13 первой части этих воспоминаний), и даже сам суд над Синявским.

А через несколько месяцев в руки Розановой попал еще один документ, просочившийся из того же Президентского архива. На этот раз это была выписка из журнала планов 5-го управления КГБ СССР на 1976 год, и документ этот гласил: “...продолжить мероприятия по компрометации объекта (т.е. Синявского. — *Примеч. автора*) и его жены перед окружением и оставшимися в Советском Союзе связями как лиц, поддерживающих негласные отношения с КГБ... Срок исполнения — в течение года. Ответственный — тов. Иванов Е.Ф.”.

Но в промежуток времени между этими двумя документами разыгралась целая вакханалия по “разоблачению” Синявского.

В мою задачу не входит подробное расследование этой кампании. Не буду перечислять всех статей с бранью, оскорблениями и прямой клеветой, направленных против Синявских. Остановлюсь только на одном эпизоде, наглядно показывающем как механизмы ее продвижения, так и нравственный уровень этой “полемики”.

Вдохновителем этой кампании вместе с журналом “Континент” была парижская газета “Русская мысль”. В номере этой газеты от 5 февраля 1993 года появилась очередная статья ее главного редактора Иловойской-Альберти под названием “Нравственные сумерки”, где в очередной

раз прокручивалась байка о связях Синявских с КГБ, об их — якобы — претензии стоять в начале истории инакомыслия в России и о многом другом. Я написал в “Русскую мысль” ответ Иловойской и, чтобы не утруждать читателя цитированием ее инвектив, приведу отрывки из этого ответа:

“Нравственные сумерки и переписывание истории, о чем Вы пишете в вашей статье, — процесс, мне кажется, характерный не столько для современной России, сколько для развернутой на страницах вашей газеты широкой компании против А.Д. и М.В. Синявских, частью которой и является Ваша статья.

Вы пишете о людях, которые “еще и сегодня претендуют на то, что были отцами-основателями инакомыслия или сопротивления в России”, имея в виду тех же Синявских. Но ведь Синявским совершенно незачем на что-то претендовать. О том, что из процесса Синявского—Даниэля много чего вышло в России, написано во всех серьезных исследованиях авторами, стоящими в стороне от эмигрантских склок. Вам почему-то хочется вычеркнуть этот факт со страниц истории; даже сам титул “Процесс Синявского — Даниэля” Вас не устраивает, и Вы добавляете к нему уничижительное “как его принято и по сей день называть” (а как же его прикажете называть?)...

Производя эту операцию по переписыванию истории, Вы пользуетесь старым испытанным методом, заключающимся в том, чтобы превратить нравственного героя в морального урод. Для этого на страницах Вашей газеты цитируются и комментируются выдержки из гэбэшных документов, неизвестные вашим читателям в их первоизданном виде. И по понятным причинам никто из этих разоблачителей не приводит убийственную для всей кон-

цепции фразу из тех же документов самого Андропова: “Принятыми нами мерами имя Синявского в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах ранее сочувствующей ему творческой интеллигенции. Некоторые из них, по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ”. Если есть в этих документах доля истины, то она заключается именно в данных словах. Еще в Москве во время процесса и после него ко мне (и не только ко мне) подкатывались некие личности в штатском, пытаюсь всучить эту кагэбэшную липу. Тем не менее, для авторов “РМ” Андропов стал вдруг первоисточником и носителем истины. Для Вас же лично, оказывается, существует и еще один моральный авторитет — С. Хмельницкий...

В том же номере “РМ ” рядом с Вашей статьей напечатано литературософское (иначе не назовешь) эссе некой Инны Рогачий, где она пытается вышелушить неприглядный образ автора “Толоса из хора” из самого текста этой лагерной книги. Она цитирует Терца: “Кашу опять получаю и заметно поправился”. И с пронизательностью Эркюля Пуаро добавляет: “Со времени секретной записки Андропова прошло ровно два месяца”. В сознании неискушенного читателя неизбежно возникает идея (на то и рассчитано), что кашу Синявскому давали за какие-то заслуги перед КГБ. Или она цитирует из моего послесловия к этой книге: “Полноте, уж не перепутал ли уважаемый автор послесловия времена, уж не о царской ли каторге он живописует? Какие 15–20-ти страничные письма с советской политзоны? Да еще регулярные? Да еще о литературе..?” Выходит, что и письма писал Синявский с особого соизволения начальства, а остальным они были запрещены? Да Вы спросили бы своего сотрудника Алика Гинзбурга, сколько писем в месяц он посылал своей жене, когда

в то же время сидел в соседней с Синявским зоне того же лагеря?..

Но все годится в этот суп, из которого, глядишь, что-нибудь да сварится, все подходит для того, чтобы если не доказать невозможное, то хотя бы поставить под сомнение очевидное. Вот это и называется — “нравственные сумерки”.

Чтобы сохранить видимость объективности, “РМ” напечатала только маленький кусочек из моего письма (двадцать строк из четырехстраничного текста), где я советую Иловайской спросить у А. Гинзбурга, сколько писем в месяц он писал своей жене. Честный Алик в том же номере газеты подтвердил — да, разрешенные два письма в месяц. Но никаких извинений за дезинформацию от редакции не последовало. Более того.

В апрельском номере той же “РМ”, к моему великому изумлению, появился ответ на мое неопубликованное письмо моего друга-приятеля Игоря Шелковского, где он раскручивал обычную версию о борьбе Синявских не только против Солженицына, но и против Сахарова: “Агитация и пропаганда велись тонко и исподволь: вот приедет Сахаров и наскрет всем на голову”. Это уже выходило за все рамки неправдоподобия! А контекст, из которого была вырвана эта фраза, был таков.

Как-то в Париже на кухне у Синявских шел обычный разговор о том о сем, о Максимове, о Сахарове... (Шелковский и я присутствовали). Егор (сын) слушал, слушал и вдруг изрек: “А вот вы говорите: Сахаров, Сахаров, — а приедет Сахаров и накакает вам на голову” (у ребенка был, очевидно, свой эмигрантский опыт). Узреть тут агитацию, направленную против Сахарова, можно было лишь очень предвзятыми глазами. Но примерно на таком уровне и велись все подобные дискуссии.

* * *

Меня всегда поражало, как борцы с советской властью борются с ней ее же методами. Навешивание ярлыков, очернительство, доносы среди русской политической эмиграции процветали не только в Париже, и случай Синявского был не единственным. В аналогичной ситуации оказался и наш старый друг Алик Дольберг.

В отличие от многих из нас Дольберг по семейному положению был вполне обеспеченным: его отец — майор НКВД — строил мосты где-то в системе Дальстроя, и с детства Алика учили иностранным языкам и хорошим манерам. Алик окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ с великолепным знанием древних и многих современных языков. В 1956 году ему удалось записаться в туристическую группу в ГДР, в Берлине он сел в метро, вышел на первой станции Западного Берлина (тогда еще не было Берлинской стены), миновал контроль и попросил политическое убежище у американцев. Перед отъездом он сообщил мне о своем намерении и советовал последовать его примеру, на что я ответил, что слишком стар для таких авантур (я был старше его на пять лет). В СССР Дольберга заочно судили за измену Родине и дали 15 лет лагерей. Но и в эмиграции он попал как кур в ощиц.

У американцев он сразу же вызвал подозрения: помимо его совершенного английского, их удивило то, как во время обеда Алик накладывал зеленый горошек на выпуклую сторону вилки. Ну откуда, кроме как из шпионских спецшкол, советский студент мог набраться западных манер и получить столь высокий уровень языка? Ответом на эту загадку явился некий документ, попавший в руки американцев, из которого явствовало, что Александр Дольберг не кто иной, как племянник разоблаченного советского

шпиона Абея, выменянного в свое время на американского летчика Пауэрса. Откуда взялся этот документ, догадаться было нетрудно. Тем не менее Алик попал в лагерь для перемещенных лиц вместе с настоящими разведчиками и шпионами, из которого ему удалось вырваться с большим трудом. Для него это был шок.

Я был первым, кто по приезде в Лондон мог подтвердить, что Александр Дольберг — это не шпионская кличка, а его настоящие имя и фамилия. Но в течение семнадцати лет сомнительность его репутации подогревалась в котле эмигрантских слухов. Как всегда, гадость про ближнего — радость для русской эмиграции. Приехал в 1974 году А. Глезер устраивать выставку советского неофициального искусства и, подхватив краем уха приятные новости про Алика, на квартире которого жил, тут же начал предостерегать окружение от общения с ним.

Положение, в котором оказался Дольберг, было отчасти результатом его собственной глупости: с его знанием с десятков европейских языков, как и русской и зарубежной литературы, он мог бы сделать в Англии солидную академическую карьеру, но бедолагу тянуло к политической журналистике, где антисоветчиков “второй свежести” было предостаточно. В соавторстве с одним английским журналистом он написал биографию Солженицына — первую на английском языке. Прочитав сразу же по приезде этот опус, я удивился апологетически подобострастному тону всего, что касалось великого писателя. Ответ из Москвы не заставил себя ждать: персонаж расценил свою биографию как грязную стряпню и собрание подзаборных слухов. Раб Божий Александр Исаевич и тут руку приложил.

Солженицын иностранных языков не знал. Его советником по иностранным делам был Жорес Медведев, кото-

рый и информировал шефа обо всем написанном о нем за рубежом. Вскоре пронесся слух, что Жорес приезжает в Лондон. Пришел ко мне Дольберг и попросил уточнить эту информацию. Я позвонил Эмилю Любошицу, который сидел в отъезде в Москве и был в курсе диссидентских дел. Эмиль подтвердил: да, Жорес получил визу и приезжает, скажем (точных дат я не помню), 30 марта. Алик сразу же передал эту информацию в английские газеты. Жорес прибыл, скажем, 4 апреля и сразу же печатно выразил свое недоумение, кому и зачем понадобилась такая дезинформация, якобы затруднившая ему отъезд. Я позвонил Ж. Медведеву, извинился за неточность полученных мною сведений и попросил высказаться об ошибках и искажениях фактов в книге Дольберга, так как готовится второе издание и его замечания были бы очень полезны. Да, начал перечислять Медведев, он пишет, что это случилось в феврале, на самом деле в марте, что дата происходящего в апреле неверна... и все в таком роде. А буквально через несколько дней вышла книга Ж. Медведева “10 лет после «Одного дня Ивана Денисовича»”, где значительная часть была посвящена махинациям западных издательств с гонорарами Солженицына, критике позиции Сахарова и нападкам на Максимова. У меня создалось впечатление, что он просто расчищал дорогу для собственной книги.

* * *

Позицию Иловайской, да и Воронеля, я мог отчасти понять: печатным органам требовались прежде всего сенсации, споры, дискуссии, у них были свои патроны, своя аудитория. Но Гинзбург, создавший “Белую книгу” о про-

цессе Синявского—Даниэля? Буковский, вышедший на митинг с требованием гласности этого процесса, Кузнецов, Чуковская, Лившиц — диссиденты, борцы, герои, теперь объединившиеся в травле Синявского? Чем можно было бы объяснить такой феномен?

Глава 12

Политика против эстетики

В 1988 году я работал в Гуверовском исследовательском центре при Стэнфордском университете в Калифорнии. Я писал тут свою книгу о тоталитарном искусстве, а Буковский, после окончания Кембриджа по специальности “нейрофизиология” получивший в этом же университете грант на научную работу, резал своих кроликов. Время от времени мы общались.

Однажды всю ночь сидели мы у него на квартире, пили и спорили. Максимов тогда развернул кампанию против Синявского, и я хотел выяснить точку зрения Буковского на этот вопрос. То, что где-то в середине ночи я услышал, меня потрясло. Максимов, сказал Буковский, меня не интересует; мне надо только выбить из американского Конгресса или Сената четверть миллиарда долларов, и тогда советской власти не будет. Ни больше ни меньше! Где-то под утро мы выкатились из его квартиры, продолжая ругаться вплоть до того, что Буковский, чуть не разорвав на себе рубашку, закричал: “И имею право! Я сколько там лет

отсидел!” На что я ему ответил: “Володя, я вас уважаю не за то, что вы сидели, а за то, что вы Кембридж окончили”.

Мне пришлось в Оксфорде сидеть за столом с кембриджским преподавателем Буковского — крупным биологом (кажется, нобелевским лауреатом; имени не помню), и он удивлялся: как человек, отсидевший столько лет в тюрьме, мог освоить новую, основанную на математике, совершенно неизвестную ему биологическую науку. Место в Стэнфорде Буковский получил отнюдь не за свое диссидентство, но вместо того чтобы резать кроликов, Володя обивал пороги газет, сенатов, конгрессов...

Естественно, перед лицом великой политической цели, сколь бы иллюзорна она ни была, все остальное отходило на задний план, в том числе и соображения элементарной морали; все, что стояло на этом пути, должно было быть сметено любыми средствами. Эстетика при этом должна была подчиниться политике.

Будучи уже в эмиграции, Синявский как-то иронически заметил, что у него с советской властью только эстетические разногласия, чем вызвал бурное возмущение бывших диссидентов, испортившее ему много крови. Для них приоритет политики над эстетикой был безусловным. Синявскому эстетическая позиция представлялась гораздо шире и серьезнее политической. К понятию истины она добавляла еще и традиционные категории добра и красоты. То есть она включала в себя представление о моральных и этических нормах, о добре и зле, о справедливости и бесправии — все то, чем человек политической ориентации легко может пренебречь ради высших (с его точки зрения) целей.

Политическая оппозиция всегда нуждается в лидере. Когда еще в самом начале этой истории Алик Гинзбург приехал в Оксфорд, я задавал ему те же вопросы, что и Бу-

ковскому, и получил от него честный прямой ответ: “Я играю в другой команде”. О том, кто является капитаном этой команды, спрашивать не было необходимости.

Лейтмотивом кампании по “разоблачению” Синявского была его якобы ненависть к Солженицыну, утверждение, что именно Синявский положил начало травле великого русского писателя. Это была, мягко говоря, неправда.

Я все-таки был многолетним свидетелем отношений Синявских с семьей Солженицыных. В Москве Розанова дружила с Натальей Светловой — женой Александра Исаевича, они вместе пасли своих детей в одном садике, когда для лечения детей Солженицыных понадобился врач, Майя привела в их дом нашего друга Эмиля Любошица, известного на всю Москву педиатра — единственного врача, которому Солженицын доверял. Незадолго до эмиграции Синявский и Солженицын, по инициативе последнего, встретились, кажется, единственный раз, где-то в подмосковном лесу, и Александр Исаевич убеждал Андрея Донатовича начать писать исторический роман о России. Предложение было сделано явно не по адресу. В день, когда арестовали Солженицына, я был в парижской квартире Синявских и видел, как Розанова сидела на телефоне, обзванивала друзей и организации, советовалась с Натальей, готовя кампанию в защиту арестованного; а когда Солженицына переправили на Запад, предлагала ему и его семье свой дом для проживания.

Когда в “Новом мире” был опубликован “Один день Ивана Денисовича”, мы все читали рассказ взахлеб. Синявский тогда высоко оценил художественные достоинства этого произведения, но сказал, что это шедевр Солженицына и что лучше он уже не создаст: он может писать только о том, что видел сам, — ему не хватает творческого

воображения. С этого и начались “стилистические расхождения” Синявского с Солженицыным.

Миша Николаев в своих воспоминаниях пишет: когда, вернувшись из лагеря, он впервые пришел в наш дом, то увидел сидящих на полу людей, которые по цепочке передавали из рук в руки машинописные страницы — это был то ли “Раковый корпус”, то ли “В круге первом”. Наше общее отношение к этим романам было восторженным.

Потом в самиздате появился “Август четырнадцатого”. Борис Шрагин устроил у себя на квартире обсуждение романа. Пришли С. Аверинцев, В. Турчин, еще несколько человек (не помню, кто именно). Мнение присутствовавших о романе было прохладным. События Первой мировой войны лежали за пределами солженицыновского опыта, и яркость жизненных образов, точность деталей сменились здесь, за исключением нескольких удачных страниц, расплывчатыми характеристиками и односторонним освещением событий войны. Синявский был прав: это было начало спада (последующие 17 томов “Красного колеса” стало уже читать невозможно).

Вскоре после нашего приезда в Лондон Никита Струве пригласил меня на обед, и за столом разговор, естественно, зашел о недавно опубликованном в издательстве “Вестник РСХД” “Августе четырнадцатого”. Я рассказал Струве о собрании у Шрагина, на котором высказывались критические суждения о романе. Как обнаружилось позднее, мои рассуждения были восприняты как категорическое мнение Синявского, и мы сразу же были зачислены в “хулители” великого писателя.

Не Синявский начал спор с Солженицыным, а Солженицын развернул травлю Синявского. Об этом, в частности, свидетельствовал Е.Г. Эткинд, бывший в Москве в самых близких отношениях с Солженицыным (“Русская

мысль” от 5 марта 1993 года). В самом начале 1975 года Ефим Григорьевич, будучи уже в эмиграции, получил из Москвы рукопись, подписанную инициалами “С.О.”, с просьбой передать ее в “Русскую мысль” со ссылкой на заинтересованность Солженицына. Написана была статья из рук вон плохо: автор не просто спорил с Синявским, а клеймил его, обличал, поносил. Эту статью Эткиндр переслал Солженицыну в Цюрих со своим заключением, что печатать ее невозможно. В ответ он получил письмо, “которое выражало одобрение и требование — немедленно передать ее в “РМ””.

Свидетельство Эткиндр так и осталось голосом вопиющего в пустыне. “РМ” не только продолжала раскручивать тему враждебного отношения Синявского к Солженицыну, но и нашла этому рациональное объяснение в высказываниях некоего Виктора Лупана (впоследствии главного редактора “РМ), опубликованных в еженедельнике “Московские новости” от 24 января 1993 года, по мнению которого, Синявские были “сломаны КГБ и посланы на Запад — главным образом с целью ведения кампании против Солженицына”. И после публикации в “Вестях” фальсифицированного письма Андропова эмигрантским кругам стало ясно — с подачи Солженицына: Синявский — “агент влияния”. Обдумывая сейчас эту ситуацию, я все более убеждаюсь в том, что все было как раз наоборот — “агентом влияния” был Солженицын.

Упаси Боже! — я не собираюсь обвинять Солженицына в сотрудничестве с КГБ. То, что я собираюсь написать, это лишь гипотеза, может быть, слишком смелая, но в качестве таковой имеющая право на существование.

Андропов, будучи председателем КГБ, сумел создать в своей конторе мозговой трест. В отличие от прежних костоломов, сюда набирали профессионалов — психологов,

социологов, политологов... Г.П. Щедровицкий говорил мне, что самые способные студенты с его курса философского факультета после окончания МГУ шли в КГБ, где им открывались широкие возможности исследовательской работы на основании засекреченных источников, недоступных для простых смертных. В случае с Солженицыным эти люди должны были прекрасно понимать, с кем они имеют дело. Его антизападничество, национализм под маской патриотизма, его презрение к плюрализму, к либеральному диссидентству (“образованцам”), “демдвижу” (как сам Солженицын уничижительно называл демократическое движение) — все это было близко мировоззрению самого КГБ и в эмигрантских кругах не могло не вызвать, с одной стороны, сопротивление либеральной интеллигенции, а с другой — восторженную поддержку патриотов и националистов. Его арест в Москве и последующая переброска на самолете в наручниках на Запад послужили блестящей рекламой для утверждения его авторитета как мученика и врага номер один советской власти. За такового он и был принят политизированной эмиграцией. Это было мудрое решение Андропова: Солженицына запустили на Запад как лиса в курятник, и он произвел тут большой переполох.

Вермонтский отшельник из своего уединения пристально следил за эмигрантскими делами в Европе и подталкивал их в нужном ему направлении. В результате все главные эмигрантские органы печати — и православно-патриотический “Вестник РСХД”, и распоясавшаяся на свободе “Русская мысль”, и носорожистый “Континент”, и трудовой рабоче-крестьянский “Посев” — оказались под сильным влиянием Солженицына. Иловайская афишировала на страницах прессы свою дружбу с Солженицыным и его тесную связь с газетой, Никита Струве в своем

УМКА-press печатал его произведения, Солженицын присматривался к Максиму, а Максимов прислушивался к Солженицыну, и не без их совместных усилий директором “Радио Свобода” был назначен изначальный куратор “Континента” Джордж Бейли. А тут еще в издательстве “Синтаксис” вышли написанные в лагере “Прогулки с Пушкиным” Абрама Терца, что окончательно убедило Солженицына в злостном намерении Синявского смешать с грязью самое святое и подорвать основы русской культуры. И началась новая вакханалия разоблачений Синявского.

Я не знаю, какие отношения во время этой травли были у Воронеля с Солженицыным. Очевидно, какие-то были. Солженицын следил за израильским журналом “22” и использовал публиковавшиеся там материалы в своих сочинениях. После возвращения писателя на родину чета Воронелей ездила к нему на поклон в Москву и публиковала восторженные статьи об этом обаятельном, мудром человеке. Гаденькие намеки Солженицына на якобы привилегированные условия пребывания Синявского в лагере и на его досрочное освобождение дополнила Нинель Воронель в своих воспоминаниях и в статье “Юлик и Андрей” (“Вопросы литературы”, 2002, № 5), выдвинув “маловероятную, но интересную” (по ее словам) гипотезу, что даже сам суд над Синявским и Даниэлем был лишь инсценировкой с целью создать Синявскому репутацию лидера диссидентского движения и заслать его на Запад как агента влияния. (А сам Александр Воронель не успокоился и до сих пор: в альманахе “Еврейская старина” за 2011 год он опубликовал статью “Судебный процесс”, где в пользу таких “гипотез” повторял старые и выдвигал новые аргументы, которые ни в какие ворота не лезут.)

Тогда все это приводило Синявского в состояние глубокой депрессии. Я много раз говорил ему: да плюньте вы

на эту мелкотравчатую русскую прессу, послушайте лучше, что о вас говорят и пишут крупнейшие западные литературоведы, писатели, ученые... На Андрея это не действовало. Его высокая репутация на Западе как писателя, человека и даже как борца с режимом Синявского мало радовала. Зато каждая шпилька в свой адрес на русском языке вызывала у него печальное недоумение своей оскорбительной нелепостью. При всем своем уважении к Западу Синявский жил в русской культуре, которой и посвятил все свое творчество. Преподавание в Сорбонне его не удовлетворяло. Он читал большие курсы — о Кузмине, Маяковском, о советской цивилизации, о Розанове... Из этих лекций рождались книги. Но на лекции эти приходили только несколько деловых аспирантов да кучка русских старушек, чтобы послушать родную речь. Синявский начал пить по-серьезному.

У Максимова, когда он ознакомился со вторым кагэбэшным документом, хватило совести публично — на страницах своего “Континента” — извиниться перед Синявскими: “На протяжении многих лет заинтересованными кругами и на Западе, и на Востоке распространялись сведения о связях А. и М. Синявских с органами КГБ... Запущенная “Галиной Борисовной” дезинформация ложилась на благоприятную почву и повлекла за собой последствия, о которых сегодня можно только сожалеть... Поэтому сегодня я считаю своей обязанностью принести свои извинения А. и М. Синявским за публично высказываемые мною в их адрес подозрения в вольных или невольных связях с КГБ”. У Иловайской хватило бесстыдства в своем интервью газете “Корьерре делла Серра” по поводу смерти Синявского утверждать, что он, будучи завербованным КГБ, умер чуть ли не от угрызений совести, осознав *теа сифра* (свою вину).

Напоследок хотел бы я спросить у прежних поклонников Солженицына: как бы они отнеслись сейчас к его пребыванию после возвращения в путинско-гэбэшной России, в которой вертухаево семя дало пышные всходы во всех уголках страны? Ведь его национализм, антидемократизм, православие, антизападничество — все то, против чего выступали Синявские вместе с либеральной интеллигенцией — вошли составной частью, если не легли в фундамент идеологии теперешнего Кремля, и его награждали новыми высокими орденами, Путин ездил к нему на поклон, отрывки из его “Архипелага ГУЛАГ” собирались ввести в школьные учебники (или уже ввели?), и сам Путин вместе с Медведевым зажигали свечи, а потомки вертухаев того же ГУЛАГа хором пели “Со святыми упокой” над его гробом. К сожалению, эти поклонники почти все уже пребывают на том свете вместе со своим кумиром, так что и спросить не у кого.

Глава 13

Вопрос языка

С публикацией книги “Прогулки с Пушкиным” Абрама Терца негодование старой эмиграции достигло своего апогея. В ней усмотрели надругательство не только над великим поэтом, но и над великим и могучим русским языком путем внедрения в текст вульгаризмов и прямых непристойностей. Общее настроение подытожил главный редактор американского “Нового журнала” Роман Гуль в № 124 за 1976 год в статье “Прогулки хама с Пушкиным”. О чем в ней шла речь, я забыл; помню только свое тогдашнее удивление тупой злобностью ее общего тона. Решил перечитать и с помощью своей старой приятельницы Юлии Вишневской извлек из таинственных (для меня) глубин компьютера эту статью.

Господи, чего только не приписал автору “Прогулок с Пушкиным” этот охранник русской словесности! Первое и основное — Синявский был одержим “потребностью предать надругательству наши традиции и святыни”. А отсюда и все остальное: якобы созданные для него в лаге-

ре особые условия для творчества (чтобы он надругался над Пушкиным?), досрочное освобождение, разрешение на выезд во Францию, искажения русского языка (перед обычными словами и выражениями сам Гуль ставит знаки вопроса), грубости, вульгаризмы... — словом, полный солженицынский набор. И заканчивает Гуль общей характеристикой: в этой смрадной книге “пердит интриган в рот”. Он имел в виду один пассаж из романа Синявского “Город Любимов” — встречу Лени Тихомирова с американским корреспондентом: “Имею честь познакомиться, хер Тихомиров... Их бин Гарри Джексон, по кличке Старый Гангстер, корреспондент буржуазной газеты «Пердит интриган в рот ох Америка»”. Г-н Гуль думал, что пародирует язык Синявского, но легкая акустическая скабрёзность иностранной речи у Терца обращается здесь тяжелой смысловой похабщиной.

Не стоило бы цитировать эту смесь похабели с бессмыслицей, если бы такое непонимание современного языка не было причиной многих наших разногласий со старой эмиграцией, испортившей много крови Синявскому, да и нам тоже. О политических мотивах таких разногласий уже говорилось. Но не менее важную роль играл здесь и вопрос языка.

Как-то пришел ко мне на “Свободу” Юрий Павлович Иваск — поэт, известный в России, в числе прочего, своей перепиской с Мариной Цветаевой — с “Прогулками с Пушкиным” в руках и сокрушался, что, чувствуя значительность этой книги, не может понять смыслового значения некоторых ее пассажей. Это было естественно. Язык — производное от жизни, и с изменением таковой, с появлением в ней новых форм, понятий, реалий меняется и язык. (Помню, как в Москве где-то в конце 1950-х, во время работы большой американской выставки, открытой в Парке

культуры, молодой американец, явно потомок первой русской эмиграции, перед макетом типичной для Америки жилой квартиры давал объяснения посетителям. Вдруг кто-то из толпы задал вопрос: “А сколько у вас квадратных метров на душу?” Экскурсовод растерялся. “Душа..? метры..? — пытался он вслух соединить в смысловое целое несовместимые с его точки зрения понятия. Конечно, откуда он мог знать ставшее привычным для советского человека выражение: столько-то квадратных метров на душу населения.) Аллюзии на реалии нового быта, их пародирование, ирония, стилизация, гротеск — все то, чем столь богата проза Синявского, во многом оставалось за пределами понимания людей, десятилетиями оторванных от российской действительности. Я сам, после почти сорока лет эмиграции, когда мне в руки попадает русская газета, чего-то не понимаю, а многое в языке представляется искажениями и вульгаризмами.

Например, когда встал вопрос об издании на английском “Голоса из хора”, Макс Хейворд — крупнейший оксфордский литературовед, издавший в свое время “Доктора Живаго” Пастернака, — поручил перевод Кириллу Фицлайну — потомку русских эмигрантов еще первой, после-революционной, волны.

Как-то я пришел к нему уточнить какие-то детали и услышал с ужасом: “Голос я перевел, а хор выбросил. Это непереводаемо”. В панике я побежал к Хейворду. “Ничего, я допереведу”, — сказал Макс. Этот английский славист знал современный русский язык лучше, чем многие русские.

Примеры можно продолжить.

В Оксфорде у нас сложились хорошие отношения с Николаем Михайловичем и Милицей Владимировной Зерновыми. Николай Михайлович происходил из древнего дворянского рода, а в мое время был профессором православ-

ного богословия в Кербель-колледже, Милица занималась церковными делами. Однажды они пригласили меня к себе на встречу с Великим князем Владимиром Кирилловичем — первым претендентом на русский престол — и его женой княжной Леонидой Георгиевной Багратион-Мухранской. Несколько лет назад их дочь Мария поступила в Оксфордский университет на отделение славистики, и на время ее учения родители переехали в Оксфорд, где они и подружились с Зерновыми. Мария говорила на нескольких языках, но ни один из них не был ее родным; особых лингвистических способностей она не проявила и после первого курса была отчислена из университета (это было еще до меня, и пишу со слов ее учителя профессора Джона Фенелла).

Поезд из Парижа опаздывал, и я сидел в напряженном ожидании.

— Как мне к нему обращаться? — спросил я у хозяев дома.

— Мы обращаемся “Ваше Величество”, ну а вы... лучше никак.

Наконец раздался звонок, из прихожей послышался разговор, из которого явствовало, что княжеская чета побывала недавно в музее советского неофициального искусства в Монжероне, что на них это произвело впечатление... Я почувствовал себя в своей тарелке.

Очевидно, Владимиру Кирилловичу было интересно, что думают его потенциальные подданные. Он задавал вопросы, внимательно слушал, а я вещал о подпольном искусстве, о художниках, о преследованиях, о лагерях...

— Простите, — время от времени перебивал он меня, — а что такое блатной?.. Что такое блат?

Зерновы принадлежали к старой русской интеллигенции, для которой вопросы религии, морали, культуры

были важнее политических предпочтений. При их участии был основан приют для оставшихся бездомными после войны детей в Монжероне под Парижем, Пушкинский клуб в Лондоне, открыт православный храм в Оксфорде, где настоятелем был англичанин и служба велась на английском. В своем отношении к людям они руководствовались мудрым принципом: если человек хороший, значит — христианин. Они предложили крестить моего сына Вениамина, но я сказал, что, не будучи христианином, не могу взять на себя ответственность; вот подрастет и сам выберет себе вероисповедание. Они отнеслись к этому с полным пониманием.

Николай Михайлович долго болел — отказывало сердце. Прикованный к постели, он продолжал писать, как я понимаю, пытаясь осмыслить собственное умирание. Перед смертью он позвал меня к себе. Его интересовало, что я думаю: сохраняется ли индивидуальность после смерти человека?

— Николай Михайлович, — в отчаянии выпалил я умирающему, — но, если существует Бог, какое значение имеет индивидуальность какого-то Голомштока!

Николай Михайлович задумался.

Мне посчастливилось встречаться со сливками старой интеллектуальной эмиграции: Зерновы, Владимир Васильевич Вейдле — искусствовед, ученый, писатель, Юрий Павлович Иваск, Татьяна Семеновна Франк — дочь философа Семена Людвиговича Франка... Эти люди говорили на идеальном русском — с московским или петербургским произношением — языке, уже исчезнувшем из обихода в советской России. Наша речь казалась им полной искажений и вульгаризмов. Например, их шокировали такие обычные для нас словечки, как “пока” (прощание) или “пара” (можно сказать “супружеская пара” или “пара но-

сков”, но не “пара часов или рубашек”, не пребывающих в зависимости друг от друга). Такого рода разночтения касались не только разговорного и литературного языка, но и языка культуры в ее широком понимании.

Как-то посадили меня и Вейдле перед микрофоном, чтобы мы порассуждали о современном искусстве. Поговорили о Врубеле, о Добужинском, и вдруг этот подлинный аристократ духа начал ругать авангард. Для него Малевич и Маяковский были не больше, чем большевистскими хулиганами и разрушителями культуры. Для Вейдле, как и для многих уехавших из России после революции, время русской культуры остановилось где-то на “Мире искусства”, на акмеистах, Гумилеве, Цветаевой... после чего следовал черный провал бескультурья, а то, что последовало за этим, уже сильно отклонялось от классического русского языка, как литературного, так и языка культуры.

В самом начале нашей эмиграции я решил написать книгу об истории русского искусства XX века. На английском языке таких книг не существовало. Заручившись согласием одного лондонского литературного агентства, где работал мой новый приятель Эндрю Нюрнберг, я сочинил и передал в агентство общий план и обширное предисловие к книге. Как водится, агентство, прежде чем предлагать проект издательствам, послало мое сочинение на рецензию и вскоре получило резко отрицательный отзыв. Согласно правилам, имя рецензента автору не сообщалось. Но это был явно кто-то из старой русской эмиграции, потому что среди англичан специалистов в этой области еще не существовало. И, естественно, моя высокая оценка революционного авангарда в противовес традиционному реализму не могла не шокировать человека, для которого высшим достижением русского искусства оставалось творчество

передвижников. Провал моей затеи по-другому я объяснить не могу.

Многие использовали собственное непонимание как аргумент в политическом споре. Хулители Синявского не поняли или не захотели понять факт совершенно ясный: Синявский боролся не с Пушкиным, а с его официальным советским образом. Пушкин как революционер, прогрессивный деятель, властитель умов — этим образом советская власть прикрывала многие свои злодеяния.

1937 год — столетие со дня смерти Пушкина и пик сталинского террора. В Москве — вакханалия торжеств: все главные музеи столицы отведены под посвященные Пушкину выставки, переименовываются улицы, открываются памятники, конфетные коробки, флаконы духов, мыльные обертки выходят с портретами Пушкина и эпизодами его трудовой жизни... А очередной номер посвященного Пушкину журнала “Искусство” идет под нож, потому что многие авторы восторженных статей уже сидят по тюрьмам. На одном из музейных капустников я разыгрывал следующую сцену. На вопрос, как пройти к нашему музею, я отвечал: вы пройдете по бульвару Пушкина, мимо памятника Пушкину, выйдете на площадь Пушкина, потом прямо по проспекту Пушкина, свернете на переулок Пушкина и выйдете к Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (за топографическую точность не ручаюсь). Публика смеялась, и никто не воспринимал это как неуважение к великому поэту.

Такие мраморно-бронзово-чугунные мантии и срывал Синявский с тела поэта. А без них Роману Гулю Пушкин почему-то представился голым, Синявский же — библейским Хамом, насмехающимся над наготой отца. Едва ли это было естественным.

Последствия такого культурного разрыва были печальными не только для Синявского. “Колымские рассказы” Шаламова, попавшие на Запад в семидесятых, печатались в русских журналах в отрывках, с сокращениями и изъятиями абзацев, представляющихся издателям грубыми и непристойными. На Западе они прошли почти не замеченными. Для Шаламова это был удар: он надеялся, что его показания прозвучат здесь набатом. И даже “Чонкин” Войновича представлялся некоторым критикам только как собрание грубых и малоправдоподобных анекдотов.

Глава 14

А.Д. Синявский — последние годы

Последние годы жизни Андрея Донатовича не принесли ему успокоения. Хотя уже был опубликован гэбэшный документ, из которого явно следовало, что информация о якобы сотрудничестве Синявского с КГБ поступила прямо из этой конторы, уже Максимов печатно извинился за прежние нападки на Синявских, эмигрантская общественность не успокоилась и травля писателя продолжалась. Не радовала и ситуация в России, где с крахом коммунизма начинался полный беспредел.

Незадолго до своей смерти Максимов приходил к Синявским, они вместе писали статьи, изобличающие издержки ельцинской перестройки, он советовался с Розановой и покорно соглашался со всем, что она говорила. Автора “Саги о носорогах” словно подменили. Вскоре после обстрела Ельциным Белого дома Синявский, В. Максимов и П. Егидес собрались под одной крышей и написали в “Независимую газету” статью “Под сень надежную За-

кона”, в которой расценивали это событие как нарушение президентом главного принципа демократии — законности. И опять: определенными кругами эта статья была воспринята как подтверждение прокоммунистических убеждений Синявских. Недоумение вызывал и вопрос: как ранее непримиримые враги — плюралист Синявский, неистовый гонитель всяческой левизны Максимов и социалист с человеческим лицом Петр Егидес — могли сесть за один стол? Это типичное для советской ментальности недоумение остроумно прокомментировала Марья Васильевна: когда в лесу пожар, бежит рядом всякая живая тварь и никто никого не ест — не до того. А разве 21 сентября не загорелось в нашем лесу?.. Может быть, давние враги потому и сели за один стол, чтобы самой невероятностью сочетания своих имен показать, как серьезно происходящее?*

Примерно за год до смерти Андрея на очередном эмигрантском сборище в Париже в присутствии неизменной г-жи Иловайской и некоторых эмигрантских писателей снова раздали обвинения Синявского в смертных грехах. Андрей вышел из зала и упал. В больнице у него диагностировали инфаркт. Ему категорически запретили курить, а через полгода у него обнаружился рак легких и вскоре метастазы перешли в мозг.**

В эти годы, когда я уже стал пенсионером, мы с Флорой — моей второй женой — часто приезжали из Лондона в Фонтене-о-Роз под Парижем, где жили Синявские. На-

* Синтаксис. 1994. № 34. С. 200–202, 206.

** Не могу удержаться, чтобы не высказать своего отношения к распространившемуся сейчас по всему миру антикурительному психозу. Случай с Синявским не единственный на моей памяти. То же произошло с Борисом Шрагиным: инфаркт — запрет курения — рак легких, и еще с одним моим знакомым. У меня тоже лет девять назад был тяжелый инфаркт. Выписываясь из больницы, я спросил у лечащего врача, что относительно курения. “Одна сигарета вас убьет”, — мрачно ответил он. Дома я решил попробовать и зажег сигарету. С тех пор курю, и вот — живу.

строение Андрея, как правило, было подавленным. У меня создавалось впечатление, что ото всех этих нападков, обвинений, оскорблений, от докучливых гостей, ненужных разговоров, ото всей этой давящей реальности он все глубже погружается в себя. Он уходил в работу, писал свой последний роман “Кошкин дом”, перечитывал любимые книжки. Отношениям с людьми он предпочитал общение со своим котом Каспархаузером и с пернатыми: “...Устроился на заветной скамеечке кормить сдобными крошками голубей и воробьев... А я-то знал их уже в лицо, пофамильно. Журил, когда дрались из-за моей корки. Воспитывал. Читал стихи... И они меня тоже знали в лицо, птицы”, — писал Синявский в последнем своем блестящем эссе “Путешествие на Черную речку”.

Розанова называла все это “игрой на понижение”. Но это была не игра, это была натура. Синявский, например, органически не мог первым войти в чужую дверь, а в последнее время начинал раздражаться, когда его упорно пропускали вперед.

За столом, когда приходили гости, он большей частью молчал и тянулся к рюмке. Как тогда, в Москве, алкоголь помогал Андрею снять напряжение от постоянного ожидания ареста, так теперь он служил верным средством выбросить из головы тягучие мысли и уйти от реальности в светлый мир воображения (я и сам в последнее время прибегаю к этому средству). К этому прибавилась еще и болезнь.

Майя возила его по врачам и целителям. Иногда следовал короткий период улучшения, за которым наступал провал. В последние месяцы жизни Синявский почти не вставал с постели. Его кормили с ложечки, не давали пить, и он страдал от жажды. Иногда я тайком приносил ему стакан воды — чего уж там!

Синявский умер 25 февраля 1997 года. Его последние слова были: “Идите все на ...!” Такое нестандартное обращение относилось не только к близким — ко всем нам, суетящимся у его постели и отвлекающим от каких-то последних, очевидно, важных мыслей. “Грустное чувство свободы и светлого одиночества — то, что и нужно художнику, — написал он когда-то в своем эссе о Борисе Свешникове. Это то, в чем больше всего нуждался сам Синявский и в чем ему всегда отказывала судьба. Его преследовали в России, его травили в эмиграции, и, как я понимаю, при последнем дыхании он послал на этот неприличный предмет всю ту реальность, которая давила на него в течение всей его жизни.

Синявского хоронили на местном кладбище в Фонтене-о-Роз, отпевал его московский священник Владимир Вигилянский (падре, как называла его Розанова). На похороны приезжали из Москвы друзья Синявских — Андрей Вознесенский, Виталий Третьяков (тогдашний главный редактор “Независимой газеты”). Андрей Вознесенский бросил в могилу горстку российской земли.

Собралось довольно много народу: французские соседи, знакомые, хозяйка кафе недалеко от дома, куда Андрей частенько заглядывал, мэр Фонтене-о-Роз, сказавший в надгробной речи, что его город гордился своим знаменитым согражданином. Из Москвы никаких официальных соболезнований не поступило.

Глава 15

Перестройка

Начало горбачевской оттепели застало меня в Гарварде. В радикальное изменение советской системы я не верил. Произойдет то же, думал я, что и в 1966 году: после временного послабления все вернется на круги своя. Я ошибался — произошло нечто худшее. Российская история сделала скачок, но не вперед, а в сторону: началась эпоха беспредела.

Первый раз я приехал в Москву в 1988 году и остановился в квартире наших друзей Ады и Олега Горбачевых на Ленинском проспекте. Москва бурлила. С одной стороны, люди испытывали эйфорию от надежд на грядущие перемены, с другой — депрессию из-за страха надвигающегося голода вследствие полного отсутствия продуктов в магазинах и обесценивания денег. Улицы были запружены рынками, где люди продавали последние манатки, чтобы купить хотя бы хлеба, станции метро и уличные подземные переходы были заполнены нищими. Первые мои впечатления от Москвы были двойственными.

Как-то среди бела дня выходил я из метро “Университет” и увидел никогда прежде не виданное. У колонны стоял прижатый к ней человек с поднятыми руками, другой держал у его затылка пистолет, третий обшаривал его с ног до головы, четвертый стоял на шухере... Из выхода валила густая толпа, и никто не обращал никакого внимания на это безобразие. Очевидно, для москвичей все это было привычным.

В другой раз я стоял в толпе на платформе станции “Библиотека имени Ленина”. Экстрасенсорными способностями я не обладаю, но тут вдруг почувствовал направленную на меня волну какой-то злобной недоброжелательности. Чтобы оторваться от этой волны, я даже перешел к другому вагону. Вслед за мной в вагон зашел человек лет тридцати в спортивной курточке со среднестатистическим лицом русского футболиста-любителя (фаната?), встал около двери и уставился на меня. На станции “Университет” мы вышли. Народу было немного, и он сразу же подошел ко мне.

— А хочешь, я сейчас тебя прирежу?

И сделал жест рукой, как бы вскрывая консервную банку.

— Иди на ...

— Но ты же еврей?

— Иди на ...

Он несколько опешил, помолчал, плюнул в меня и убежал. Вот такой диалог.

С другой стороны, когда я встретился с Леонидом Бажановым, то на короткий момент поверил в положительные возможности перестройки.

В мое время Леня работал в нашем музее подсобным рабочим, потом окончил искусствоведческое отделение МГУ, работал у Юрия Максимилиановича Овсянникова в редакции “Вопросов искусствознания”. Я плохо его по-

мнил, но он всегда передавал мне через Юру приветы, а позже сам приезжал в Англию, где мы с ним окончательно познакомились. Леня был одержим идеей создать в Москве Центр современного искусства и уже сделал первые шаги на этом поприще. И он показывал мне свои владения.

Улочка где-то в Замоскворечье. Поперек, выступая из стены жилого дома, вывеска — “Галерея Эрмитаж”. Двухкомнатная обшарпанная московская квартирка, где происходит вернисаж какого-то художника-абстракциониста: радостные лица, речи, тосты, атмосфера дружбы и энтузиазма. Фотовыставки в двух бывших районных Дворцах культуры... Свежие ростки, пробивающиеся сквозь засохшую корку официальной культуры.

Через год, когда я во второй раз приехал в Москву, Центр Бажанова значительно расширился. Теперь ему принадлежало целое каре домов с огромным двором где-то на Пятницкой. Уже действовали три выставочных зала, в одном из которых проходила выставка Злотникова, стучали молотки, отделялись помещения для издательства, библиотеки, комнаты для приезжих гостей... Потом все это рухнуло. Леня не говорил мне о причинах краха. Думаю, что по обычаю того времени все это приватизировали его сотрудники. После чего Бажанов поступил на работу в Министерство культуры России в качестве начальника отдела искусств с единственной целью — выбить государственный бюджет для Центра современного искусства. Он рассчитывал на три года, понадобилось пять. Но в результате центр получил бывшее имение художника Поленова недалеко от Московского зоопарка с тремя зданиями, которые со временем были переоборудованы под выставочные помещения, лекционные залы, научные лаборатории, библиотеку, архив... Сейчас это самый крупный в России некоммерческий культурный центр с филиалами в Екатеринин-

бурге, Калининграде и ряде других городов. Для меня в течение многих лет это был единственный в Москве культурный очаг, где можно было встретиться со старыми друзьями, знакомыми и молодыми энтузиастами, бескорыстно преданными искусству.

Все эти мои впечатления шли от поверхностных явлений перестроечной России. То, что лежало в ее глубине, я увидел воочию, когда осенью 1989 года друзья пригласили меня участвовать в демонстрации, посвященной открытию привезенного с Соловков камня на площади Дзержинского.

Часов в шесть вечера мы собрались у Красных Ворот, и огромная толпа потекла по Кировской к Дзержинке. Демонстранты несли в руках плакаты и лозунги — “У КПСС руки в крови!”, “Долой КГБ!”, “Да здравствует демократия!” и т.п. Мы шли мимо учреждений и жилых домов, и везде открывались окна, женщины махали платочками, выкрикивали приветствия демонстрантам, из дверей выбегали люди и присоединялись к нам. Площадь Дзержинского была буквально забита толпой. Около большого валуна рядом с бронзовым изваянием основоположника концлагерей и советской тайной полиции была сооружена трибуна, с которой старые соловчане и лидеры перестройки произносили грозные речи, размахивали кулаками, посылая проклятия кровавому режиму КПСС-КГБ. Темнело, и по мере сгущения сумерек в здании напротив зажигались огни. К концу митинга все огромное здание КГБ сияло, как рождественская елка. Это было похоже на кадры из фильма Феллини, но в моем сознании запечатлелось как символ того, что происходило со страной. КГБ работал. Твердокаменные чекисты делали свое дело, готовя смену режиму, когда вместо КПСС будут управлять они. Так и произошло.

* * *

В эмиграции мне часто снился один и тот же сон. Я приехал в Москву и иду с толпой (по аэродрому?) мимо стеклянной стены. Сквозь стекло вижу лица оставшихся в России своих друзей, они улыбаются мне, а я боюсь взглядом или жестом выдать свое знакомство с ними. Подобная, только психологическая, преграда встала на первых порах между нами после моего семнадцатилетнего отсутствия.

Сразу же после моего приезда собрались в квартире Горбачевых. Вилля Хаславская, Галя Демосфенова, Наташа Разгон были собачницы, и разговор сразу же сосредоточился на собаках. Один за другим следовали занимательные истории из жизни этих четвероногих.

— Братцы, — наконец взмолился я, — хватит о собаках! Ведь семнадцать лет не виделись.

Помолчали, и опять о собаках. Тогда это меня поразило. Потом я понял: моя жизнь в эмиграции для них была окутана густым туманом, пробиться сквозь который до важных вопросов бытия было непросто. Да и у меня были смутные представления об их реальном существовании за все эти годы. Я привез в полуголодную Москву какие-то продукты, и за столом торжественно достал из сумки продолговатый длинный предмет, завернутый в бумагу.

— Колбаса! — радостно закричали присутствующие.

— Огурец, — раздался разочарованный голос, когда я убрал бумагу.

В мое время свежий огурец зимой в Москве почитался как редкий деликатес, теперь для них этот парниковый овощ был не в новинку. К счастью, колбасу я тоже привез. Между нами стоял барьер, и понадобилось время, чтобы он распался.

После восьмидесятих годов я редко бывал в Москве. То, что происходило в России во времена правления Ельцина и потом, отбивало всякую охоту дышать воздухом криминала, коррупции и самодовольства, восхваляющего Родину как великую державу, окруженную кольцом врагов, — все это мы уже видели. Оставались друзья, но теперь многие из них получили возможность приезжать на Запад. И это было одной из немногих приятных сторон перестройки.

Глава 16

Дела семейные

В 1989 году мне исполнилось шестьдесят лет — предельный для пенсии возраст по условиям Би-би-си. С уходом на пенсию для меня мало что изменилось. Я продолжал работать по контрактам, делал обзоры английской художественной жизни, программы о современном искусстве, о знаменитых людях старой и новой истории и т.п. Однако Русская служба Би-би-си стала уже не той.

С началом перестройки в СССР перестройка началась и на Би-би-си. Тогда многие поверили, что с крушением коммунистического режима в России наступила эпоха подлинной демократии и что КПСС и КГБ — это лишь реликты тяжелого прошлого. Со временем такие иллюзии рассеивались, но они прочно внедрились в руководство Всемирной службы Би-би-си. Для Русской службы последствия этого оказались разрушительными.

С середины восьмидесятых годов организация, стратегия, характер передач изменились здесь самым существенным образом. Практически была отменена полити-

ческая проверка поступающих на работу. Главным принципом отбора стал высокий уровень английского языка (очевидно, для того чтобы новому начальству, плохо знающему русский, было бы проще общаться с подчиненными). Спрашивается: кто и где тогда в России мог получить высокий уровень иностранного языка? За ответом не надо было далеко ходить: выходцы из номенклатуры, работники пропагандистского аппарата, радиокомментаторы на границу, журналисты-международники, проходившие обучение в разных спецшколах, не говоря уже о прямых агентах разведки. Вот такой контингент с началом перестройки стал проникать на Русскую службу. Дело даже не столько в связи этих людей с их бывшими профессиями, сколько в воспитанной этими профессиями общей ментальности, при которой интересы сегодняшней России ставятся выше традиционного для Би-би-си объективного освещения событий. Некоторые из таких профессионалов заняли высокие посты в руководстве Би-би-си, именно через этих людей проводилась новая стратегия ее преобразований.

Единственным осколком старого Би-би-си оставался наш отдел тематических передач, который много лет возглавляла талантливая переводчица английской литературы Маша Карп, придерживающаяся прежних принципов организации передач. Так, вскоре после скандала с подозрением на отравление российскими спецслужбами бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, выступавшего в Лондоне с острой критикой режима Путина, Маша подготовила о нем большую программу. Английская пресса широко освещала эту скандальную историю. Для Русской же службы эта тема оказалась под запретом. Передача была снята с эфира, Маша получила выговор, вскоре отдел тематических передач по повелению высо-

кого начальства был ликвидирован, а Маша Карп и почти все старые сотрудники уволены с работы. Как мог, например, глава Всемирной службы Би-би-си мистер Чапмен, не знающий ни слова по-русски, обосновать свое решение о ликвидации отдела тематических передач их низким качеством, если бы при нем не состоял г-н Сологубенко — бывший глава иностранного вещания на еще советском киевском радио? Или начальник Русской службы Сара Гибсон, с трудом говорящая на малопонятном ей языке, если бы рядом с ней не сидел главный редактор г-н Остальский — бывший международный корреспондент в арабских странах? (Правда, после грандиозного скандала, дошедшего до английского парламента, Остальского вынудили подать в отставку.) Сокращая штаты Русской службы, руководство Би-би-си увеличивало состав ее московской конторы. Российские журналисты, вещающие от имени Би-би-си из Москвы о российских делах под надзором российских властей, — такое раньше могло представиться лишь в страшном сне. В Москве говорили тогда, что по направленности, голосам, интонациям передачи Би-би-си невозможно отличить от десятков российских радиостанций. А их содержание беспристрастными наблюдателями определяется как “прокремлевская направленность” передач Русской службы. И это самое печальное: Би-би-си потеряло свое лицо.

Со мной контракт тоже был порван. Впрочем, меня это не очень огорчило, хотя работа была интересная. Из передач рождались мои книги: “Лагерные рисунки Бориса Свешникова”, “Искусство авангарда в лице его представителей в Европе и Америке”, “Английское искусство от Ганса Гольбейна до Демиена Херста”. Но работать при новых порядках на Би-би-си я бы не мог.

* * *

В эмиграции моя семейная жизнь пошла наперекосяк. Как, очевидно, ясно из предыдущего, до сорока лет у меня, по сути, не было ни дома, ни семьи; я представлял собой довольно редкий случай еврея без родственников. Работа, дружеские связи, культурные интересы у меня явно преобладали над заботами о семье и быте. Я влюблялся, но мои пассии явно полагали, что муж я никакой, и взаимностью не отвечали.

“Конечно, женщина — это человек, — говорил мой друг Саша Пятигорский, а потом, наклонившись к уху собеседника, добавлял: — Но мы-то с вами знаем, что это не так”. Очевидно, я любил женщин, как любил музыку, ничего в них не понимая. Так, прошло пятнадцать лет моей влюбленности в Нину, пока мы не стали жить вместе. О женитьбе я не думал: сама процедура в советском Дворце бракосочетаний представлялась мне уродливой и бессмысленной. То, что для женщины брак есть фундамент устойчивого быта, я не понимал.

Ностальгией Нина, слава богу, не страдала, но напряженность московской жизни не прошла для нее бесследно. К тому же Вениамин родился у нас, когда Нине было уже сорок три года, и, возможно, она пережила родовую травму. Я этого не заметил. Когда мы пришли в ЗАГС для регистрации рождения ребенка, Нина вдруг решила записать его на свою фамилию. Как она объясняла потом, она боялась, что мое имя может ему повредить, а из России она решила не уезжать. Для меня это был удар. Потом все обошлось, мы уехали, но хвост взаимных обид потянулся за нами и в эмиграцию. В последние годы мы фактически находились в разводе. По приезде из Америки я снял комнату в Лондоне, Нина осталась в нашем

доме в Оксфорде. А тут появилась Флора, и я влюбился. И, как и с Ниной, прошло восемь лет сомнений и колебаний со стороны Флоры, прежде чем мы окончательно соединились.

С Флорой я познакомился незадолго перед эмиграцией в Музее изобразительных искусств, где она после окончания университета работала сначала экскурсоводом, а потом научным сотрудником отдела археологии. Знакомство было шапочным, но, кажется, мы симпатизировали друг другу. Когда мужская часть сотрудников выбирала “мисс Музей”, я отдавал свой голос Флоре, хотя красоток в музее был целый цветник.

В 1981 году я получил письмо из Вены: Флора сообщала, что ее муж, московский дирижер и скрипач, получил приглашение на работу в Голландию и они эмигрировали из СССР. Вскоре после приезда они расстались. Флора оказалась одна, в чужой стране, без языка, и только упорство и сила характера помогли ей освоить голландский и устроиться на работу в туристическое бюро. Возила туристов по Голландии, Франции (она хорошо владела французским), Бельгии, приезжала в Лондон (где и начался наш роман), читала лекции в Амстердамском университете, много лет преподавала на летних курсах Сахаровского университета в Баварии, писала статьи в русские газеты, словом, занималась всем тем, чем зарабатывали на жизнь образованные эмигранты-гуманитарии, оказавшиеся в чужих странах.

Ее семейная история типична для многих еврейских семей, приехавших в СССР с окраин бывшей Российской империи. Ее отец, Михаил Хацкелевич Гольдштейн, происходил из местечка Лошиц под Варшавой, мать, Берта Иосифовна, из такого же местечка недалеко от Пинска в Белоруссии. В начале прошлого века их семьи бежали от

еврейских погромов в Аргентину, где и познакомились будущие родители Флоры. Как и многие евреи с российских окраин, они сочувствовали социализму: мать в молодости была как-то связана с Бундом, отец писал статьи для газет социалистического направления. В конце двадцатых годов они из Аргентины приехали в СССР, чтобы помогать строить тут вожденный социализм. В Ленинграде их принимали как почетных гостей, но вскоре отправили строить этот самый социализм в Биробиджан. Условия тут были суровыми и социализмом не пахло. Умерла их маленькая дочка — просто замерзла в неотопливаемом бараке. Спустя два года семья перебралась в Москву — Михаила Гольдштейна приняли в Литературный институт. Здесь в 1933 году родилась их старшая дочь Карма, а в 1937-м — Флора. И в том же году отца арестовали как шпиона какого-то иностранного государства. В тюрьме он просидел два года, но после падения Ежова был освобожден вместе с небольшим числом ранее осужденных. Потом он на коленях просил прощения у жены за то, что привез ее в эту страну. В 1941 году Михаил Гольдштейн добровольцем пошел на фронт в качестве военного переводчика с немецкого. В 1943-м он погиб под Смоленском.

Берта Иосифовна осталась одна — без языка, без помощи, с двумя дочерьми на руках. Очевидно, только сила характера позволила ей не только выжить, но и воспитать детей. Девочки ходили в музыкальную школу учиться играть на скрипке. Потом Карма играла в оркестре и преподавала, Флора окончила отделение археологии исторического факультета МГУ.

Нина в силу каких-то непонятных мне идей, крутящихся в ее голове, на развод не согласилась. Так мы с Флорой и живем во грехе.

Вместо заключения.
О пользе пессимизма

В наши нелегкие времена достаточно быть пессимистом, чтобы прослыть пророком. Пророком, правда, я не прослыл, но в политическом отношении мои самые пессимистичные предчувствия и предположения всегда оправдывались. Я не был ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лицом, ни в демократию как панацею от всех социальных зол и несправедливостей мира сего, я не был очарован политизированным демократическим движением, не верил в оттепель шестидесятых и в перестройку восьмидесятых, понимая, что в России всё и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой пессимизм оберегал меня от очарований. И на старости лет бессонницей я не страдаю, сплю спокойно, и совесть меня не мучает, как многих моих современников, переживающих ошибки своей молодости.

Пессимистам жить трудно, зато умирать легко.

Лондон — Амстердам

2009—2012

Литературно-художественное издание

Голомшток Игорь Наумович

Занятие для старого городского

Мемуары пессимиста

Издательство просит фотографов или их наследников,
чьи фотографии не атрибутированы в книге, связаться с редакцией
по телефону (499) 951 60 00 (доб. 102)

Заведующая редакцией Е.Д. ШУБИНА

Ответственный редактор П.Л. ПОТЕХИНА

Корректоры И.П. ВОЛОХОВА, Н.П. ВЛАСЕНКО

Компьютерная верстка Е.М. ИЛЮШИНОЙ

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60х90 /16.

Усл. печ. л. 22. Тираж 2500 экз. Заказ №8231

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

ISBN 978-5-17-087111-7



9 785170 871117 >



Александр Подрабинек

ДИССИДЕНТЫ



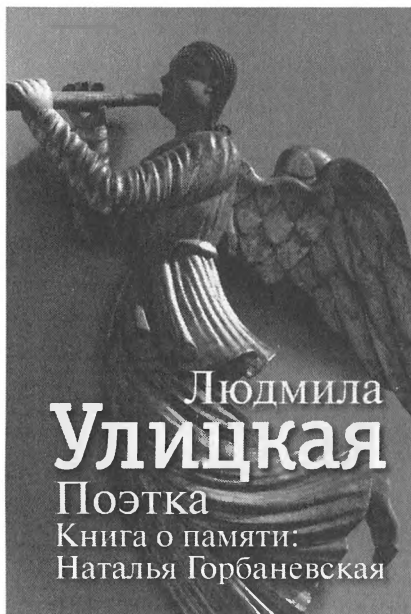
Это книга воспоминаний о диссидентской Москве 1970-1980-х годов. Ее автор — Александр Подрабинек — активный участник правозащитного движения. В 1978-м был арестован по обвинению в клевете на советский строй и сослан на 5 лет в Северо-Восточную Сибирь. В 1979-м в США вышла его книга "Карательная медицина". В 1980-м вновь арестован и приговорен к 3,5 годам лагерей.

"Эмиграция или лагерь? Верность или слабость? Преданность или предательство? Достойный выбор в СССР был невелик: сначала свобода, потом тюрьма".

Людмила Улицкая

ПОЭТКА

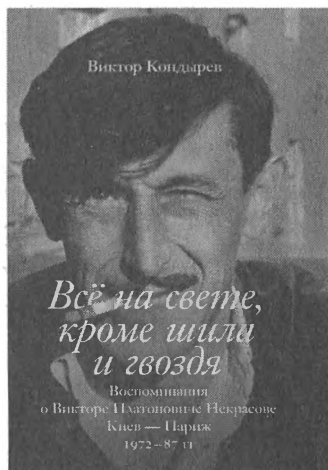
Книга о памяти: Наталья Горбаневская



"Биография Наташи уже написана... Но эта книга о другом — о том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в частном пространстве каждого из знавших ее лично, и о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим — о чем знают немногие. И этот подвиг далеко не исчерпывается тем общеизвестным фактом, что она вышла на Красную площадь в августе 1968 года, протестуя против введения советских войск в Чехословакию. Маленькая ростом, в каких-то измерениях навсегда оставшаяся девочкой, в течение жизни она выросла в человека огромного масштаба, сохранив радостную детскость до смертного часа".

Людмила Улицкая

Виктор Кондырев
ВСЁ НА СВЕТЕ, КРОМЕ ШИЛА И ГВОЗДЯ
Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове
Киев—Париж
1972–87 гг



Виктор Некрасов (1911–1987), автор повести «В окопах Сталинграда», ещё при жизни стал легендарной фигурой.

Боевой офицер, замечательный писатель, дворянин, преданный друг, гуляка, мушкетер, наконец, просто свободный человек; «его шарм стал притчей во языцех, а добропорядочность вошла в поговорку» – именно такой портрет Виктора Некрасова рисует в своей книге Виктор Кондырев, пасынок писателя, очень близкий ему человек.

Лиляанна и Семен Лунгины, Гелий Снегирев, Геннадий Шпаликов, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Владимир Максимов, эмигранты первой волны, известные и не очень люди – ближний круг Некрасова в Киеве, Москве, Париже. Все они герои этой книги, иллюстрированной уникальными фотографиями из личного архива автора.

Бенедикт Сарнов
КРАСНЫЕ БОКАЛЫ.

Булат Окуджава и другие



Книга Бенедикта Сарнова «Красные бокалы. Булат Окуджава и другие» была задумана автором как одна из глав третьего тома воспоминаний («Скуки не было»), над которым он сейчас работает. Но по ходу дела так разрослась, что превратилась в отдельную книгу.

«Красные бокалы» — картина Бориса Биргера, запечатлевшего своих близких друзей, многие из которых были участниками описанных событий.

Бенедикт Сарнов создает свой групповой портрет: центральный персонаж — Булат Окуджава, «другие» — Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Владимир Максимов. Люди, сыгравшие важную роль в жизни автора. С некоторыми из них отношения складывались не просто, что придает сюжету особый драматизм.

Игорь Голомшток — известный советский и английский искусствовед, автор множества публикаций, самая знаменитая его книга “Тоталитарное искусство”. Близкий друг Андрея Синявского и его соавтор по первой советской монографии о Пикассо.

Со всеми знакомый, со многими друживший и многим помогавший, Голомшток сумел в течение всей жизни сохранить позицию “углового жильца”, человека, не участвующего в забеге, не поющего в хоре. Этот опыт человеческой отдельности — главная ценность этих воспоминаний.

Михаил Майков. “Лежачим”



На процессе Синявского — Даниэля за отказ от дачи показаний был приговорен к полугоду принудительных работ.

В 1972-м эмигрировал в Великобританию. Долгое время был сотрудником “Би-би-си” и “Радио Свобода”, преподавал в университетах Сент-Эндрюса, Эссекса, Оксфорда. Живет в Лондоне.